ЮРИЙ ОРЛОВ

Опасные мысли

МЕМУАРЫ ИЗ РУССКОЙ ЖИЗНИ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

«Трудно представить себе более щедрый источник для знакомства с русской флорой и фауной образца второй половины XX века, чем данное сочинение... Речь в книге идет, в конце концов, о том, что человек может сделать с человеком, и как человек может с этим справиться…».

Иосиф Бродский

- Юрий Орлов
  - Предисловие к русскому изданию
  - Предисловие к американскому изданию
  - Глава первая
  - Глава вторая
  - Глава третья
  - Глава четвертая
  - Глава пятая
  - Глава шестая
  - Глава седьмая
  - Глава восьмая
  - Глава девятая
  - Глава десятая
  - Глава одиннадцатая
  - Глава двенадцатая
  - Глава тринадцатая
  - Глава четырнадцатая
  - Глава пятнадцатая
  - Глава шестнадцатая
  - Глава семнадцатая
  - Глава восемнадцатая
  - Глава девятнадцатая
  - Глава двадцатая
  - Глава двадцать первая
  - Глава двадцать вторая
  - Глава двадцать третья
  - Глава двадцать четвертая
  - Эпилог
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5

- ○ 6
- ○ 7
- ○ 8
- ○ 9
- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23

Юрий Орлов
Опасные мысли
Мемуары из русской жизни

Памяти Анатолия Марченко

Родился 23 января 1938 в Барабинске.

Умер 8 декабря 1986 года в Чистопольской тюрьме.

Предисловие к русскому изданию

Книга была закончена в январские дни 1991, когда Горбачев вводил войска в Москву. Его поведение соответствовало портрету, обрисованному в книге, — принципиально ограниченный реформатор, твердо взявшийся за невыполнимую и внутренне противоречивую задачу: соединение коммунизма с современностью. Я считал, что Россия политически готова к демократии самого обычного типа, какую можно наблюдать и в Японии, и в Индии, и в Германии, и в Коста-Рике, тогда как коммунизм любого типа в России начинают ненавидеть. Но ни Запад, ни многие даже московские интеллектуалы, ни, конечно, Горбачев, в такую возможность не верили. Именно это неверие в развитость российского народа больше всего другого питало и всемирную «горбоманию», оправдывавшую любые действия Горбачева, и недоверие к Ельцину.

В 1991 году я несколько раз приезжал в Москву по правозащитным и другим делам. Вначале к неспокойные январские дни, когда я выступал на семинаре Ларисы Богораз по принципам правозащитного движения; встретился с Хасбулатовым, Станкевичем и с близкими друзьями. Затем — на майский Сахаровский конгресс, где, в частности напомнил убежденным коммунистам, что их поезд ушел (Горбачев слушал) и что пора уходить с честью и мирно; предупредил также Горбачева, что если на народ попытаются надеть прежний хомут силой, то он разнесет всю телегу, — что в точности и произошло с коммунистической телегой в августе. Еще раз я приехал уже после путча — на Московскую конференцию по «человеческому измерению». В дни путча мне в визе отказали. На конференции я получил, между прочим, официальное приглашение на встречу президента Горбачева с бывшими диссидентами. Люди пошли, но мы с женою отказались. Шел сентябрь 1991, борьба еще не закончилась. Я не мог пожимать руку человеку, которого и в книге, изданной на Западе, и в февральском меморандуме госсекретарю Бейкеру, и на встречах в госдепартаменте и Белом Доме, и везде описывал как человека, возглавившего в конце 1990 команду сталинистов Крючкова, Язова, Пуго и других для подготовки реакционного переворота. Кроме того, как раз в тот день я встречался с Б. Н. Ельциным, которого в февральском меморандуме Бейкеру противопоставил Горбачеву как единственного после смерти Сахарова реального лидера демократических реформ[1] Встретиться в тот же день с Горбачевым, да еще в торжественной обстановке как бы

взаимного признания между ним и диссидентами, было мне неприлично.

Теперь я езжу в Москву реже. В глубоком смысле ситуация и в стране и в мире прояснилась. Империя, начинавшая неудержимо расползаться отнюдь не вчера, а еще в 1917 или даже (если вспомнить о Польше) в 1916 году, распалась теперь почти что мирно — и в этом я опять вижу показатель политической зрелости России. Боровшийся за сохранение СССР Горбачев, начинавший реформы, а затем тормозивший их, стал уже фигурой не политической, а исторической; в истории его имя сохранится со знаком плюс — и на здоровье. Решающие реформы, которых он так не хотел, начались — хотя еще многое не ясно. (Каков, скажем, антидемократический потенциал, сохранивший свою структуру госбезопасности, этой чумы России в течение чуть не трех четвертей века?) На главный план вышла, наконец, задача вхождения России в мировую экономику, и эта задача выдвинет наверх политиков, связанных с деловым миром, с конкретными проблемами конкретных слоев населения, и постепенно отодвинет политиков абстрактного идеологического склада.

Жизнь мира радикально изменилась вслед за демократической революцией в России. Это не только падение коммунизма в десятках стран, от Монголии до Никарагуа, но и распад на той же волне ряда других экстремистских режимов, вроде апартеида в Южной Африке. Правда, в нескольких новых странах (показательно, что не в России) люди позволили себе втянуться в опустошительные гражданские войны, как это случалось раньше в некоторых африканских странах, освобождавшихся от колониализма. Но жизнь планеты в целом, по большой шкале, стала бесконечно безопасней. Не правы те, кто думает, что национальные конфликты на окраинах чреваты третьей мировой войной. Чреватым ею было апокалиптическое «сосуществование» двух непримиримо противоположных систем. А как только распалась неконтролируемая, ведомая безумной идеологией, милитаризованная коммунистическая система, так сама собой отпала причина конфронтации миров, запредельной гонки вооружений и подготовки к взаимным атакам. Никому из индустриальных демократий не требуется нападать на Россию демократическую, а демократической России незачем нападать на них. Те российские граждане, которые шокированы разоружением до уровня разумной достаточности (что означает пока лишь отказ от возможности уничтожить все живое на земле двадцать раз — вместо «разумного» одного), не учитывают, что производить и держать оружие имеет смысл только в той мере, в какой существует перспектива его применения; если такой перспективы

нет, то наше оружие убивает нас — нашу экономику. После десятилетий дезинформации и изоляции от внешнего мира они не знают также, что как рынок сбыта Россия нужна современному Западу лишь настолько, насколько она платежеспособна и способна использовать западную высокотехнологическую продукцию, а это значит — настолько, насколько она сама развита как производитель. Это чепуха, что Западу нужна неразвитая, полуколониальная и даже нестабильная Россия. Я на Западе не слышал о таких желаниях. Требования современного рынка как раз обратные. Например, лучшим рынком сбыта для миллионов японских автомобилей и для электроники является не нищая и нестабильная Африка и пока что, увы, не нищая Россия, а развитые или хорошо развивающиеся страны. Замечу также, что проникновение на рынки не зависит сегодня от военной мощи. Не вооруженная до зубов Америка «колонизирует» Японию, а разоруженная до десен Япония экономически «колонизирует» США (что до некоторой степени беспокоит американцев); не военная сила, а производительность определяет взаимные экономические сферы влияния в современном демократическом мире. Это совсем не тот мир, который когда-то описывали Маркс и Ленин. В частности, экономические и прочие интересы народов индустриальных демократий сегодня настолько переплетены, по сравнению с довоенными временами, что им нет никакого смысла, да и невозможно при существующем общественном контроле, нападать друг на друга ни из-за сфер влияния, ни даже из-за природных ресурсов. Вхождение России в этот тесный клуб развитых демократий соответствует ее высшим национальным интересам во всех аспектах ее жизни.

В частности, и в таком аспекте: можно ли сохранить Россию в ее существующих границах? Думаю, что в основных чертах можно. Для этого надо прежде всего, конечно, не проливать кровь, которая никогда уже не забудется; и нужно сказать, что та политика, которую проводит Ельцин, в целом достаточно аккуратна. Затем нужно, чтобы Россия как можно быстрее интегрировалась в современную мировую экономику с ее такой мощной системой коммуникаций и взаимных деловых зависимостей во всех регионах равномерно, какая не снилась нашим коммунистам; в-третьих, чтобы в частный бизнес, и крупный и мелкий, оказались равномерно вовлеченными миллионы и миллионы людей, так, чтобы их основным мотивом деятельности была близкая экономическая выгода, а не дальняя политическая идея.

Всегда появляются, однако, люди, которых ничем не переубедишь, которые готовы ввергнуть страну в новые

катастрофы ради своих идей и пристрастий. Что означает, например, идея борьбы за новую «Евразию» или хотя бы за старый Советский Союз насильственными методами, на которые готовы сегодня некоторые оппозиционеры? Только войну против всего мира, так как речь фактически идет о присоединении к России независимых государств, уже признанных Организацией Объединенных Наций.

Коммунистическое полуподполье, к счастью, слабо, но надо помнить, что коммунистическая партия — преступная по своим методам организация, с огромным опытом политических манипуляций и перекрасок, смены лозунгов, временных объединений хоть с дьяволом, хоть с Гитлером, хоть с русскими патриотами, и использования демократических свобод для борьбы за власть с целью ликвидации демократии. Разрешая им агитацию и пропаганду, следует наказывать решительно и без промедлений за призывы к насилию и конспирацию.

Чтобы оценить идиотизм идеологических страстей, полезно понять, что ни одна из двух противоположных концепций цивилизации, назовем их условно «социалистической» и «капиталистической», не может быть обоснована логически. Обе они покоятся лишь на вере, и поэтому обе, увы, никогда не умрут. Так что где-нибудь через сотню-другую лет может снова возникнуть жутковатая проблема сосуществования двух непримиримых систем, скажем, капиталистической демократической России и социалистической тоталитарной Америки. Потому что сегодня в Америке можно встретить больше идеологических защитников социализма, чем в России, хотя и там их пока мало.

Рассмотрим эти две мировые концепции в их, так сказать, идеальном виде, позабыв на время об органически сопутствующих им эксцессах. В социалистической идее по существу предположено, хотя ясно не говорится, что природные ресурсы и возможности интеллекта ограничены. В таком случае на первый план выступает задача оптимального потребления и распределения ресурсов. Это надо делать на централизованной плановой основе, потому что при постоянстве ресурсов улучшение жизни одних связано с ухудшением жизни других и нельзя давать людям свободы улучшать свою жизнь самовольно, нарушая баланс. Изобретение новых потребностей, улучшающих жизнь за счет ресурсов, необходимо в такой системе ограничить. Заметьте, что система согласована сама с собой: когда изобретательство ограничено, то и ресурсы остаются ограниченными, потому что, чтобы найти существенно новый ресурс, скажем, энергетический, нужно пойти на риск может быть

огромных затрат — при не определенном заранее результате. Такая авантюра в системе, не рассчитанной на риск, может разбалансировать всю экономику. Но если ресурсы и в самом деле остаются ограниченными, то получается как бы, что исходная гипотеза была верной. Система автоматически сама поддерживает свою «правоту», хотя доказать принципиальную ограниченность наших ресурсов никак невозможно.

В капиталистической идее заложена (тоже в скрытом виде) прямо противоположная гипотеза, что возможности природы и интеллекта неограниченны. Поэтому улучшение жизни одних не обязательно означает ее ухудшение у других: может произойти просто открытие новых ресурсов и тогда выигрывают все. Это система не просто потребления, как ее часто представляют, а и творчества, без которого потребление не могло бы улучшаться качественно. Ясно, что индивидуальные свободы и стимулы всех видов играют здесь ключевую роль. Это, конечно, рискованная система, она кажется даже неэкономной, но — удивительное дело — результаты современных индустриальных демократий пока что превосходят все ожидания, в том числе и по экономичности. И так как продолжают открываться все новые и новые ресурсы, то эта система тоже автоматически поддерживает свою «правоту», хотя нельзя доказать, что такому везенью не будет конца.

Так что внутри обеих систем практика не является критерием истины. Критерием «истины» оказывается здесь лишь чувство удовлетворенности или неудовлетворенности граждан, которое, увы, подвержено изменениям. Объективным критерием может быть лишь сравнение двух систем, развивающихся одновременно при сходных исторических и прочих условиях. Это, скажем, Восточная и Западная Германии. Сравнение говорит, безусловно, в пользу западной демократии.

Трудности объединения ФРГ и ГДР показывают, кроме того, насколько принципиальны различия двух цивилизаций, насколько труден переход от одной к другой, если развитие обеих зашло слишком далеко. Возникает тогда вопрос: если трудно, то зачем?

Но это сегодня риторический вопрос, так как коммунистическая цивилизация двадцатого века развалилась, не выдержав конкуренции с демократической цивилизацией, которую, к несчастью для коммунизма, ему не удалось вовремя уничтожить силой.

Замечу для русских националистов (которые в мирном варианте имеют такое же право на существование, как и любые другие националисты), что западные демократии сохранили значительно лучше свои национальные традиции, культурные

различия, и даже — с помощью высших технологий, демократического давления и больших затрат — свою среду обитания, чем народы советские. Я видел это всюду, где бывал, — от Германии до Японии. России, лежащей как раз между Германией и Японией, отнюдь не стыдно воспользоваться их результатами и пойти по проторенной дороге, тем более что она уже шла по ней до 1917 года.

Сейчас для России, находящейся частично в реанимации, важен любой активный, не опустивший руки, живой человек, не преступного, конечно, типа. Исключая своих друзей правозащитников, я с наибольшей симпатией отношусь к тем людям, которые, не интересуясь тонкостями великих социальных идей, ни одна из которых не может быть верной, как это, надеюсь, ясно из моего изложения, переходят в современный производственный бизнес, кто в большой, кто в малый. Это требует, как я знаю из наблюдений западной жизни, круглосуточного напряжения всех сил и ума. На них, на этих людях, на их числе, силе и, среди прочего, на умении соблюдать правила игры и этику современного делового мира, покоится надежда сегодняшней России.

Меня иногда спрашивают, почему я сам не возвращаюсь в страну. Отвечаю. Я не эмигрировал добровольно, а был лишен гражданства и депортирован прямо из Лефортовской тюрьмы. Я жертвовал для страны своей научной карьерой, начиная с 1956 года, и личной свободой — с 1977 года, во времена, когда мое личное сопротивление режиму было наиболее эффективным и когда подавляющее большинство вполне эффективных сегодняшних политиков-антикоммунистов было еще встроено в коммунистическую систему. Мне 68 лет. У меня имеются научные идеи, которые в Пермских лагерях я не мог разрабатывать. Я исполнил свой долг и теперь занимаюсь почти исключительно наукой.

Я хотел было поблагодарить в связи с этой книгой множество людей, но их набирается слишком много. Поэтому я упомяну главных. Александра Солженицына, чья одобрительная реакция на первые главы очень вдохновила меня. Иосифа Бродского, который, по прочтении моих первых опытов дал несколько важных общих и технических советов; Владимира Войновича, чьи положительные замечания я помню до сих пор, а отрицательные забыл сразу. И, конечно, люто жену Сидни, которая очень помогла в организации материала. Она преподает в Корнелле writing — умение излагать мысли, а сейчас, когда я пишу предисловие, косит вместо меня траву вокруг дома, разгоняя

шумом трактора оленей, диких индюшек и бурундуков. Мы живем в лесу, в десяти минутах езды от университетских лабораторий.

Итака, 30 июня 1992

Предисловие к американскому изданию

К несчастью, моя жизнь не была скучной. По природе я человек кабинетный: люблю размышлять в одиночестве, проводить вычисления на доске и разглядывать, что я там написал, с расстояния. Вместо этого половина жизни прошла в шумных, порой мерзких местах, переполненных народом. После счастливого детства, прошедшего среди людей деревенских, я был рабочим, делая танки Т-34, армейским офицером, активным членом КПСС, профессором, диссидентом, заключенным, ссыльным. Получилось путешествие сквозь все почти слои советского общества.

Непросто описать такую жизнь. Многие скажут, что автор, кажется, человек достойный, но определенно пристрастный, потому что истории, какие он нам тут напредставил, абсурдны, невозможны. Остальные проворчат, что, мол, автор, определенно, человек достойный, но, кажется, тривиальный, потому что его истории банальны, ничего нового. А факт состоит в том, что абсурд есть норма и банальность в Советском Союзе. Такова просто суть дела и мой опыт по необходимости отражает ее. Это правда, что а был единственным в нашей семье арестантом; и верно, что мне необычно повезло с освобождением из Сибири. Но во всем остальном моя жизнь фактически не была экстраординарной. Мне бы хотелось, чтобы читатель увидел в этой книге картину миллионов и миллионов других жизней и получил общий взгляд на русскую трагедию двадцатого века, которая, на самом деле, есть величайшая трагедия интеллектуальной истории человечества.

Сегодня блестящая, в деталях разработанная идея справедливого, рационального общества — идея социализма — терпит унизительное поражение. Одна из главных причин, почему так получилось, состоит в том, что интеллектуалы, родившие идею, не учли природу самого интеллекта. Интеллект не чувствует любви. Он не чувствует физической боли. Он привержен порядку и окончательным решениям. Поэтому он способен порождать идеи сколь угодно беспощадного насилия, включая самоуничтожение и уничтожение всего живого. «Справедливое» и «рациональное» советское общество утопило само себя в океане крови, и затем ему потребовалось три десятилетия, чтобы снова выплыть на поверхность. Шестьдесят пять миллионов — мертвы. Шестьдесят пять миллионов. Любое

будущее общество, основанное на экстремальной концепции справедливости, рациональности и окончательного решения социальных проблем, придет к такому же концу.

Как русский диссидент, я участвовал в движении, которое помогло советскому обществу вынырнуть на поверхность. Сегодня, высланный из страны, я наблюдаю с оптимизмом, как она начинает плыть к берегам. У меня нет сомнений, что в двадцать первом столетии этот недоросток истории станет здоровым и нормальным народом. Может быть, другие народы чему-то научатся на опыте русской трагедии. Но величайшая проблема, проблема Беспощадного Интеллекта, останется неразрешимой.

22 июля 1991

Глава первая
Пелагея

Я помню все после волков.

Однажды бабушка запрягла нашу лошадь, уложила в розвальни мешки с картошкой и пристроила между ними меня, завернутого в огромную шубу. После этого ей надо было сказать: «Все знают, лучше Пелагеиной картошки нет между Москвой и Смоленском». И она это сказала. Уселась в сани, тряхнула вожжами, причмокнула: «Но, Воронок, но-о-о, голубок!» — и мы поехали на железнодорожную станцию Дровнино торговать.

Бабушка продавала картошку прямо с саней, не распрягая Вороного. Он погрузил морду в мешок с овсом, поводя ушами на паровозы, обдававшие его паром. Я сидел в санях, укутанный в шубу, и наблюдал, что происходит.

— Пелагея! Бабка! — кричали пассажиры.

— Ты что ль Пелагея? Сыпь живее рассыпчатую!

Она опрокидывала полные ведра в их облезлые сумки, принимала деньги, они спешили обратно к своим вагонам; случалось, не успевали заплатить или, наоборот, забрать картошку, и тогда рубли летели из уносящихся дверей или она бежала с полным ведром, догоняя протянутые руки и: «Наддай пару, бабка, наддай пару, деда не догонишь!» — неслось со всех сторон.

— Не догонишь! — передразнивала она, наполняя ведра к следующему поезду. — Догонишь. Как не догнать? Все там будем. Царствие ему небесное. Не замерз, Егорушка?

Я был Егор по крещению.

— Юрий — это от матери, — объясняла бабушка. — А по-настоящему ты Егор, Егорий.

Дед умер где-то в Москве еще до моего рожденья, я его никогда не видел. Теперь мне шел четвертый год.

Напившись горячего чаю в шумной, пропахшей махоркой и тулупами чайной, поехали мы домой. Уже потемнело. Никого, кроме нас, не было на лесной дороге. Лежа на спине, я смотрел на верхушки елей, на пушистые звезды. Вороной бежал себе трусцою. Звенел колокольчик на его дуге. Потом он превратился в станционный колокол — я был машинистом на паровозе. Мне улыбался чумазый кочегар…

И проснулся. Что-то изменилось: били копыта, подпрыгивали сани. Бабушка кричала — кричала и молилась:

— Пречистая Дева! Божия матерь. Помилуй и спаси!

Помилуй! Спаси!

Я поднял голову. Высоко и грозно вскидывал ноги конь. Пелагея правила стоя, в левой руке топор, в правой вожжи. Она пригнулась, как будто готовясь к прыжку. Я обернулся. В шаге от саней, слева-сзади, несся зверь. Он не смотрел на меня, он смотрел на топор, занесенный для удара. Топор поблескивал. Бабушкино лицо светилось. Я поглядел на луну… Она тоже неслась за нами, не отставая. Почему она никогда не отстает?

— Закройся! — крикнула бабушка. — Шубой, шубой закройся! Шубой! Матерь Божия! Дитя! Дитя спаси!

Уже зарываясь в шубу, я увидел других волков, мощными прыжками обходивших Вороного по целине.

— Дитя спаси! — кричала Пелагея. — Дитя! Егорушка…

Били копыта. Овчина лезла в нос, щекотала, хотелось чихнуть, я крепился. Бац! Меня перевернуло на бок: Вороной шарахнул сани о деревенские ворота, круто рванул вправо, поскакал вниз, забарабанили копыта, мост! Теперь круто вверх, налево, направо, дом! Вороной заржал. Бабушка подхватила меня и вбежала на крыльцо. Немного погодя я сидел за столом, ел пшенную кашу с молоком, весь день хранившую свое тепло в огромной русской печке. Бабушка стояла на коленях перед ликом Богородицы, шептала молитвы, крестилась, кланялась до полу, опять шептала. Теплилась лампадка. Потом она, как всегда в этот час, принесла кадушку с теплой, настоянной на травах водою, насыпала какой-то соли, поставила в воду мои ноги, начала растирать их, приговаривая что-то. Мои ноги отнялись, не знаю почему, еще два года назад.

Наконец бабушка забралась по лесенке на печь, перестелила там овчины и подняла меня. Мы улеглись на мягких шкурах. От печки приятно пахло теплой сухой глиной, которой были обмазаны кирпичи. Я присел на корточки на краю печки, раскинул руки и, оттолкнувшись ногами, со сладким наслаждением вытянув все теле, полетел к окну; перевернулся, оттолкнулся от стенки и полетел обратно к печке…

Назавтра возвратились из лесу с дровами мои дядья Митя и Петя.

— Что, мать, за вами волки гнались? — спросил Митя.

— И не говори. Вороной понес, я оглянулась, батюшки! Они по всему полю, что-те твоя конница.

— Зубы наголо! — засмеялся Митя. — Надо, Петь, посидеть, покараулить.

— Ищи ветра в поле, — возразил Петя.

— Я сразу за топор, — говорила бабушка. — Один догнал, клыки, супостат, скалит и все на Егорушку смотрит.

— На топор, — сказал я. — Он на топор смотрел.

— Не всегда, — сказал Митя. — Не всегда они уходят. Могут и здесь погулять сколько-нибудь. Надо, Петь, приманки набросать.

— Ха! Поймал.

— Что?

— А как ты раз на приманку-то волков ловил. Батя-то велел. Помнишь?

— А! Помню. Все помню, что пацаном делал. Помню, а как будто на том свете было. Отчего, мать?

— Убивал много, — ответила бабушка и ушла в кухоньку за печку.

Братья замолчали. Гремели противни на кухне.

— Митя, ты как волков ловил? На приманку?

Митя взял меня на колени.

— Деда помнишь?

— Да откуда ему помнить-то? — донеслось из-за печки.

— Ну вот, до Империалистической войны это было. Велел мне твой дедушка Павел, а мой папаша, подстрелить волка. Крутится у двора, подкоп начал, глядишь овец перережет. Корову, лошадь.

— Вороного?

— Не. Тогда у нас другой был. Мерин.

— Мерин?

— Мерин. А Вороной жеребец.

— Уж кто жеребец, так это ты, — заметила бабушка.

Митя с Петей засмеялись.

— Ну вот, привязал я накрепко к нашему дубу коровью голову, с Рождества лежала, засел вечером в куст, возле прудка, и дежурю. Ночь идет. Волка нет. А в марте. Не то, чтобы холодно, а зябко. Завернулся получше, ружье под шубу, да, черт, и заснул. Молодой еще совсем был.

— Как я?

— Как ты, чуть постарше может.

— Годков на ннадцать, — сказала бабушка.

— Как ты, — повторил Митя и поерошил мою голову. — Открываю глаза — волки, да не один, два. Тянут-потянут коровью голову, вытянуть не могут, а ружье-то под шубой, спросонья туда, сюда, вытаскиваю, стреляю, трах, дым рассеялся — волков и след простыл. Промахнулся. Ну что ж, иду к бате. Стыдно. Отец говорит: «Ложись на печку, тебе еще за мамкин подол держаться».

— На печку? Где мы с бабушкой старые кости греем?

— На ту самую. Проспался, выхожу на улицу, Зюзя, сосед, и спрашивает: «Не твоя ли, мол, волчица, по деревне в праздничек

гуляла?» — «Какая волчица?» — «А подраненная. Ты, — говорит, — ее подстрелил, ей по лесу не пройтить, пошла дорогой». — «Давно?» — «Да утрем». Опять я проспал! На лыжи, ружье за плечи — и побежал по следу, по крови.

— По крови-и?

— Ну да, она ж раненая. Долго бежал. Догнал, наконец. Смотрю, сидят на дороге, двое. Муж-волк, значит, сопровождает ее в госпиталь. Убью двоих! Да только он, как меня увидел, поднялся, за шиворот ее тянет, идем, мол, давай. Она поднялася, побежали, и опять я от них отстал. И так каждый раз. Только догоню, он ее за шиворот, и — айда. Ну, а все-таки она раненая. Уж я замотался, а ей как? Догоняю опять, смотрю, он ее тянет, тянет, а она лежит без движения. Ага! Загнал. Целюсь скорей в его. Двух волков теперь-то, думаю, папаше представлю. И что ж ты скажешь? Не уходит. Не уходит! Стоит и на меня смотрит: бей, мол, что делать, я ее на тебя не могу оставить. Не оставишь, думаю, не надо. Дело твое, и жизнь твоя — не моя. Целюсь, глядим в глаза друг другу. Что ж ты, говорю, не бежишь? Так — не охота, а расстрел. Неужто за нее жизнь отдашь? Да она ж уже не живая! И кто ты есть — зверь! Тут вдруг она вскочила; и опять они убежали».

— Догнал? — спросил я.

— Нет.

— Почему?

— Не пошел за ними. Помиловал.

— Зверей пожалел! — крикнула бабушка. — А людей? Жалел?

— Сравнила, мать. Людей и зверей. Звери лучше.

— Может и лучше. А сказано: не убий!

— Нету бога, мать.

— Дьякона убил, в церковь коней поставил! Детей расстрелял.

— Юнкера не дети. И революция не свадьба. Сегодня он юнкер, а завтра — офицер. Я пожалею утром, а меня расстреляют днем. Или — или. Да и — дворянская кровь, чего жалеть? Мне сказано: не выпускай кадет из училища. У меня пулемет. Они утречком все же выбегают. Выбегают — стреляю. Две сотни перестрелял. Для первого раза, верно, мать, многовато.

— Прихвастнул? — поинтересовался Петя.

* * *

К четырем годам бабушка подняла меня на ноги. Теперь

можно было носиться до упаду с другими детьми, играть в казаков-разбойников, прыгать с сеновала, ловить ленивых карасей корзинкой в длиннющей деревенской запруде. Но больше всего мне нравилось проводить время в одиночестве, на полной свободе, в лугах и болотах. Каждый день на рассвете я провожал нашу корову Машку на общее пастбище в стадо. Пастух наигрывал на своей дуде (еще существовали в те дни пастухи и дудки); от болот отлетал туман, носились ласточки. Счастье взрывало меня. Я скакал, прыгал — по кочкам, через можжевеловые кусты, кружился, падал. Потом брел домой по коровьей тропе; или убегал в лес.

Наши края, между Москвой и Смоленском, — леса да болота, мокрые места. Деревеньки вокруг — то Мокрое, то Киселеве, а то еще Гнилое, Гнильцы — это наша. Моха было так много вокруг, что его прокладывали меж бревен в домах и сараях; пушистые желто-зеленые полосы на новых строениях хотелось погладить. Но большинство домов, вроде нашего, были не новы и не велики, с крытыми дворами для живности, пристроенными тут же сзади, с огородами, картофельными рядами, рожью и льном дальше.

В нашем крытом дворе жили Машка, Вороной, свинья, куры, да несколько овец. Кот Васька предпочитал жизнь на воле и охоту на соседских цыплят, а противомышиную службу несла в подполе семья ежей.

В комнатах жили пернатые. Холодными зимами по всему дому порхали синицы и бабушка не почитала за труд убирать за ними, птицы ведь помечены особой Божьей милостью. Летами у нас были птенцы, приносимые Митей с охоты, вроде кулика, жившего в деревянном корыте. Когда он вырос, его выпустили в осоку. А раз ночью меня разбудили такие хлопоты: бабушка, Митя и Петя отпаивали молоком изо рта в клювики маленьких, чем-то обожравшихся совят.

Напротив, через улицу, на берегу деревенской запруды, у нас стоял сарай, в котором Митя и Петя наладили свое производство. После гражданской войны Митя работал милиционером, но работа была сильно неспокойная, да и платили чепуху, и он ушел. Мало-помалу братья нашли свое дело в деревне: ставили дома и крыли крыши дранкой, которую сами же и производили. Выпиливали иногда — лобзиками — затейливые рамочки для фотографий. Клеили альбомы; рисовали там горы Кавказа с красивыми конями и всадниками в черкесках, а на место лиц вделывали заподлицо фотографии наших деревенских.

Подзаработав, Митя с Петей купили баян, мандолину и гитару в придачу к своим балалайке и гармошке. Играть они умели на всем, а Митя знал и ноты. Видимо, по этой причине

деревенские девки их страшно любили, хотя Митя был весьма ряб, а Петя нельзя сказать чтобы вышел ростом.

Митя был отменный матерщинник, мастер многоэтажных построений с кружевными бордюрами по фасадам. Меня он, однако, отучил от богохульства, когда я достиг четырех лет. Котенок Васька царапался, и я с большою точностью воспроизвел Митины кружева. С размаху открылась дверь, из придела вышел Митя и отстегал меня ремнем легонько. Смеялись мужики, сидевшие в приделе, и было стыдно.

Бедный Васька кончил свой путь ужасно. Возможно он тоже по-своему подражал Мите: вырастая, все больше любил душить цыплят, был дерзок и никого не боялся. Исходя из своей воспитательной доктрины, братья решили его повесить; виселицей должна была служить наша старая ветла. Представление, однако, не удавалось, вцепившись в веревку, Васька подтягивался на лапах. Ему хотелось жить. Братья возились долго. Наконец, усмехнувшись, Митя отвязал веревку с сука и стал с размаху бить Васькой по воротам. Но и это не помогало. Петя вынес берданку и пристрелил кота.

— Вы ироды! — крикнула бабушка, схватив меня за руку.

Я вырвался и убежал в лес.

* * *

В последнее лето перед коллективизацией, когда мне было уже почти пять, в нашем деревенском доме собралась вся семья. Приехали мать с отцом и сестра отца, тетя Зина. Первые дни я немного дичился родителей: они жили и работали в Москве, а я почти все время с бабушкой в деревне. Как велели доктора, мать отвезла меня сюда, помиравшего от коклюша, в шестимесячном возрасте. Потом, когда я помирал от других болезней, бабушка возила меня в Москву, и мать давала мне там свою кровь. Но не осталось ранних воспоминаний ни о матери, ни об отце. Правда, об отце всегда много говорили в доме. Он начал учиться на рабфаке и Митя с Петей этим гордились очень, как и я, хотя я не понимал, что такое рабфак. Братья отца немного боялись. Мите было тогда 29, Пете 22, отцу 26. Он был хмур, у него открылось кровохарканье. Моя красивая мама казалась всегда веселой.

В тот июнь женщины целыми днями варили варенье, мужчины, конечно, обсуждали политику а я вертелся между ними.

— Мать, — сказал раз отец, — что-то мы заскучали. Пошли бы с бреднем. Ты у нас мастерица ловить рыбу.

— Сейчас, Феденька, сейчас и пойдем, — сказала бабушка, засуетилась, надела мужицкие брюки, сапоги, вытащила бредень, ведра, и мы двинулись на речку. Это была лесная, совсем маленькая спокойная речка с красивыми плесами.

— Тебе бы, Федя, лучше не лезть в воду, — заикнулась было Пелагея.

— Ма-ать!

Облипшие тиной и ряской отец и бабушка вели бредень. Митя, шумно бултыхаясь, загонял рыбу в сеть. Шагов пять-десять, и бредень выкидывали на берег; в тине барахтались щуки, красноглазые окуни. Пара ведер заполнилась за два часа. Отец повеселел.

Через две недели гости разъехались. Отпуска кончились.

Кончилась в июле и сельская идиллия.

Был 1929 год.

Митя сразу сообразил, куда гнут дело.

— Надо, Петя, ликвидироваться; дранки, крыши — к той и этой матери, и чем скорей, тем лучше. В деревне больше делать нечего. Частнику — крышка!

— Какие мы частники?

— Какие-никакие. На завод пойдем. Да и всем бы тут лучше смотаться, к той, и к этой, три бога, матери.

Но им не удалось смотаться быстро. Как участника гражданской войны, орденоносца, а, главное, работавшего когда-то в милиции, Митю поставили проводить коллективизацию в нашей деревне. Обещали отпустить на завод, когда он околхозит сто процентов односельчан. Петя ему помогал. У нас дома, в приделе он рисовал агитлистки «ЗА КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЮ!».

— Чем скорей дадим им те и эти, истребись они, сто процентов, — говорил Митя, — тем скорее, трам-тарарам, смоемся, туда и сюда.

Остальное я услышал, когда уже подрос, от бабушки.

Митя хорошо понимал, что значит «ликвидировать кулака как класс» — еще одна революция. Как делают революции, он тоже знал. Но юнкеров здесь в деревне не было, все свои. Идея колхоза почти всем у нас была противна; приписаться к колхозу, значило расстаться со своей свободой. Кто поумнее, тот предвидел побольше, бросал все и уезжал. Так что когда пришла разнарядка на общее число арестов «кулаков и подкулачников» (имена не назывались, эти мелочи доверялись Мите), в деревне остались одни бабы, и то не все: в двух-трех самых чистых домах с крашеными полами не осталось никого.

С Мити спросили.

— А чего вы сперва-то не предупредили! — заорал на них

Митя. — Кулаки-подкулачники драпали, и я считал, и вы считали, что так и надо. Зачем они здесь? Пусть идут на индустриализацию — пятилетку в четыре года. Колхоз я вам организовал? Организовал. Охвачены стопроцентно? Стопроцентно. Чего вам не живется?

Это была правда. Все, кроме моей старой умной бабушки, да безумного старого Зюзи, да некоторых пришлых, работавших в районе, — все были в колхозе. Бабушка избежала обобществления по возрасту и по Митиной протекции.

Небогатая, но и не бедная жизнь нашей деревни была разрушена за один год. Всех лошадей сдали в колхоз и они стали ничьи, их гоняли на работы, кормили как попало и извели быстро. Почти не осталось коров: еще при первых слухах о коллективизации мужики их перерезали. Нет коров — нет молока, нет навоза. Нет навоза — нет даже и картошки. Машины и удобрения были пока только в идеях.

Митя с Петей уехали в Москву; там у моих отца-матери была хорошая комната в 16 квадратных метров. Проводив сыновей, бабушка не медля зарезала Машку и продала Вороного: их теперь нечем было кормить. Двор опустел. Держать хозяйство при новом порядке не было смысла, запретами погоняли ограничения, налогами погоняли запреты.

— Ничего. Пока руки-ноги целы, — говорила она, — проживем. И не так жили. Огородец у нас остался. А через два года повезем тебя в Москву, в школу.

Теперь в горнице стояли большие, во всю комнату, пяльцы, бабушка стегала на них ватные одеяла. Шила деревенские польты на руках и простые платья на машинке «Зингер», купленной до революции. А в дополнение лечила — нелегально, конечно. Многие бабы заболевали какой-то порчей, разъедавшей кости и мышцы на руках. Врачи не знали, что с этим делать, но бабушка нашла тайное средство: на маленьких аптечных весах отвешивала крохотную долго сулемы и присыпала больное место. Разумеется, она и заговаривала зубы и вскрывала нарывы. И гадала на тенях бабам, кукующим теперь в одиночестве.

— Погадай, Пелагея, на мужика моего, как ему там? Встренимся, ай нет?

Бабушка сжигала газету на большом белом блюде, подносила блюдо к стене, светила керосиновой лампой, поворачивала туда и сюда и разглядывала тени от жженой бумаги. Тени говорили многое.

— Что видно-то? Глянь, Иван мой едет?

Бабушка всматривалась.

— Ага, едет. А-а… Нет… Везут его.

Женщина бледнела.

— Верно, у него будто и руки повязаны.

Бабушка тоже расстраивалась, переходила на карты.

— Дальняя дорога… Свидание… И так раскинешь, и так — все свидание. Предстоит тебе, голубка, скорая встреча. Жди.

Женщина светлела.

Но самая важная ее работа, которой мы больше всего и кормились, была принимать роды. От денег она отказывалась — могли приписать частный промысел. Если было молоко, брала молоко, целый год по поллитра в день за хорошие роды, а плохих у нее не получалось.

Я тоже зарабатывал. Ловил слепых кротов. Бабушка научила разделывать шкурки, за штуку в кооперативной лавке в Киселеве давали рубль. Собирал по ее научению лечебные травы, которые она сушила и сдавала в ту же лавку, и еще ягоды, лесные орехи и грибы.

Между опушкой леса и краем деревни росла заболоченная березовая рощица, там всегда можно было набрать подберезовиков, хотя, правда, рахитичных, на тонких ножках. Однажды, насобирав грибов, я вышел на дорогу, ту самую, по которой нас гнали когда-то волки. По дороге, задумчиво переступая ногами, шел мужчина. Он был не нашей деревенской наружности: синие брюки галифе, хромовые сапоги, черный городской пиджак. Я пристроился и стал вышагивать рядом, большими шагами, не подымая ног, а прокатывая их по глубокой приятной пыли. Гудели в зное мухи, шмели, оводы. Слева, в колхозном овсе, лениво пасся чей-то необобществленный теленок, больше вытаптывая, чем съедая.

— А попа-то мы того… утюжком… поджарили, да, — вдруг проговорил человек.

Я продолжал сосредоточенно возить ногами по теплой пыли. Если подымать ноги, большого шага не получается. Попа?

В прошлом году мы делали набег на его яблоневый сад. Вот была потеха, как бежали обратно из Мокрого три версты без яблок. Я, самый маленький, бежал позади всех. Что он еще скажет про попа?

Но он больше ничего не сказал. Я забыл о нем, просто шлепал теперь по пыли босыми ногами, наслаждаясь фонтанчиками, вылетавшими между пальцев.

— А что он кричал: «Хлеба у вас нет!» — заговорил опять человек. — Так его здесь никогда не было. До Рождества только и хватало.

И опять замолчал — и молчал до самой деревни. А там мы разошлись.

Вечером, укладываясь спать, я хотел спросить бабушку о нем. Но, закрыв глаза, я вдруг увидел дымящуюся спину под горячим утюгом, и ничего не спросил. И никогда не спрашивал.

Много ль нужно бабам «польт», и сколь часто они могли рожать? У бабушки было теперь больше времени на меня и с ранней весны до поздней осени она водила меня в далекие леса. Возьмем крынку молока, краюшку хлеба, вареной картошки, корзину для грибов, ведра для ягод, или большой мешок для орехов. Шлепаем босиком по теплым лужам, по ржавым болотам, по прошлогодним елочным иглам. Бабушка в ходьбе неутомима, я тоже. Посидим, поедим ягод с молоком — и дальше.

Неутомима бабушка и в разговоре.

— Пришли мы нынче, Егор, в потайное место. Никто не знает, только я да Зюзя, а он вишь какой — ничего не помнит. А, было, мы с ним вдвоем здесь в саду работали. Теперь заросло все лесом, а я все равно различаю. Смотри-ка, смотри хорошенько, вишь, липы рядами идут. Саженые. Богатая усадьба была. Уче-еные были люди. Я у них тоже и в няньках работала. Книжки на чердаке — это они давали. В девятьсот шестом году как сожгли усадьбу, так господа и забросили это место.

Я уж давно перетащил те книжки с чердака в свой угол в горницу и наслаждался красочными картинками, описанием амеб и инфузорий, фемопильского ущелья и таинственной лейденской банки. Бабушка хорошо читала по церковно-славянски, гораздо легче, чем современные сочинения, вроде брошюрок по садоводству, которых у ней было много. Я начал их читать к шести годам и она гордилась этим.

— Все пожгли, разорили до основания, — говорила бабушка, шустро обирая ягоды своими маленькими ручками. — Думали, так лучше будет. Мы новый мир устроим. Я и сама так думала. А на разоре-то бурьян растет. Я вот в гражданскую войну вовсе до сумы дошла. Побиралася… Ты одну ягодку в банку, одну в рот, одну в банку, одну в рот… А что ж, что побиралась? Побираться не грех, коли греха на душе нет. Возьму Феденьку, возьму Петеньку, Зиночку дома оставлю, и пойдем, и пойдем но селам. Кто где хлеба кусок, кто и пирожка даст. Кто рубашечку. И что же? Все живы. Все сыты.

Она хитро улыбалась всеми морщинами своего живого маленького лица; так, как будто всех обманула.

— А ведь и мы с тобой теперь вроде как побираемся. А? А живем!

Начинал накрапывать дождь, дождь перешел в ливень. Мы уселись под елью.

— Жить можно, Егорушка. Трудись только. Трудись и

трудись. Бог даст.

Я считал, что мы живем замечательно. И правда, за два года этих далеких лесных путешествий, молочно-ягодных обедов в лесу я окреп необычайно.

* * *

Бабушка присматривала за Зюзей.

— Зюзя знаешь какой был? В пятьдесят-то лет коня догонял.

— Коня-а?

— Да. Он коней пас, Зюзя. Прыткий. А вот черт попутал — и нет Зюзи. Бог наказал.

— Черт? Как попутал?

— А никак, никак. Пойдем ему молочка отнесем.

Мы входили в зловонную Зюзину развалюху, ставили банку молока на подоконник. Зюзя сидел на печке, свесив ноги, перед печкой висела детская люлька.

— Ну что это ты опять натворил в люльке-то? Зюзя! — с укоризной выговаривала бабушка. Страшный косматый старик что-то мычал. Бабушка молча убирала.

— Не дает снимать люльку, и только. Без ума, а силища. Так и ходит и по малой нужде и по большой прямо в люльку.

Много лет спустя, перед войной, я гостил у бабушки и спросил о Зюзе. Он был еще жив, и она все еще посматривала за ним.

Сидя с ней под черемухой возле нашего дома, я увидел незнакомого высокого аккуратно одетого мальчика, медленно идущего по пыльной дороге. Он смотрел себе под ноги.

— Это, видишь, его сын и внук. Зюзи, — сказала бабушка.

Я промолчал. Я перестал любить расспрашивать.

— Дочь его как родила, так скоро и уехала от позора. И никогда не приезжала, прокляла отца. А вот теперь пустила сына повидаться. Помирает Зюзя.

И тогда я понял, что это была его люлька, этого мальчика.

В 1931, когда мне пошел восьмой год, бабушка отвезла меня в Москву.

Глава вторая
В городе

Наконец все мы жили вместе. Тайно любимый отец и непонятная мне мать были рядом со мною.

Мама любила хохотать до одурения.

— Все хихоньки да хахоньки, — упрекала ее бабушка.

— Не хаханьки, — разъяснял Петя, — смехуечки.

Мама обижалась, надувала губы и уходила.

— Поповские галоши, — говорила бабушка. — Ну не губы у Клавы, а галоши поповские.

— Ха-ха-ха! — смеялась мама, тут же возвратясь. — Ха-ха-ха! Харя-то что, ха-ха-ха! Привел проститутку. А утром в окно кинул, кричит: «Мети мусор, дворник!» А дворничиха, ха-ха-ха, его же, Харина, мамаша. Приходит с метлой. Ба! Вот так мусор сыночек выкинул! Ха-ха-ха-ха!

— Тьфу ты, — плевалась бабушка.

Смеялись Петя с Митей. Улыбался абстрактно отец, размышляя над чертежной доскою. Улыбался, глядя на него, и я, чтоб не заплакать. Я видел утром: лежала женщина с переломанными руками, кровь лилась изо рта и ушей, толпа смотрела. Бандит бросил ее с пятого этажа. Этот город ошарашил меня.

Отец решил, что в школу мне рано.

— Пусть освоится. Вот сходи-ка, рыжичек, за хлебцем.

Зажав хлебную карточку в одной руке, деньги в другой, я летел в магазин.

В начале тридцатых годов в Москве и в других городах хлеб стали выдавать но карточкам. То была плата за коллективизацию. Лет через пятнадцать, уже после войны, я впервые услышал о другой плате, которую заплатили миллионы крестьян за то же самое.

— Наше село не хотело тогда, в тридцатом году, обобществляться, — рассказывал мне солдат моего взвода.

— Что такое колхоз? Барщина? Не пойдем. Ладно. Отбирают начальники хлеб, по всем домам до зернышка, и запирают в церкву, под охрану. Кто громче орал, тот, значит, подкулашник, того сажают на подводы, с бабьем, с дитями, — в голую степь на снег: мрите тут без колхозов, мы вас не неволим. «Ну, товарищи крестьяне? Идем в колхоз?» — «Нет». — «Не-ет? Ла-адно». Самых справных из прочих, кулаков, значит, в одну ночь забирают, с узелочками в руках, с ребятишечками, — на этап, на Север… Твой

табак, младший лейтенант, слабый… Хлеб гниет, значит, в церкви, мы стоим на своем. Коса на камень. Не поверишь…

Он огляделся. Никого не было кругом, только я и он.

— Штурмовали мы даже храм божий. Да силов уж не хватило…

— Стреляли в вас? — спросил я, тоже оглядевшись по сторонам.

— Не. Водой разогнали…

— Ну и?

— И ничего. Кто не помер с голоду тех уполномоченный спас — сам записал в колхоз. «Заря коммунизма». Кто помер, в раю в единоличниках гуляет. А молодую женщину, что сварила и съела свое дитя, — ее арестовали, подержали в тюрьме, признали не в себе да пересадили в сумасшедший дом. На том и кончилось. Плетью обуха не перешибешь.

* * *

Мы жили довольно прилично. «Получше, чем в купейном вагоне», — говорил Петя. У нас как-никак была отдельная комната на шестерых в хорошем дореволюционном доме — бывшем приюте для престарелых девиц. Дореволюционные девицы жили по две на комнату. Общая кухня, общая раковина умывальника и общая уборная на два толчка приходились на пятьдесят старушек. О ваннах или там о душах они и не мечтали; но зато очередей в общие бани, и вообще очередей, при старых режимах, кажись, не было. Мы жили в новые времена. Двумя толчками и одним умывальником пользовались теперь не меньше двухсот персон. В выходные дни мы выстраивались затылок в затылок в банную очередь, голова которой была в парилке, а хвост у райкома партии — за пять кварталов.

— И то сказать, — говорил Петя, — чем заниматься-то людям в свободное время, если без очередей? Морды бить друг другу? Кулаки устанут. Я прикинул — с очередями лучше.

В нашей комнате отцовская чертежная доска занимала четверть территории. Материна с отцом кровать — еще одну четверть. Митя с Петей раскладывали свою койку только на ночь и располагались на ней «валетом». Все кроватные ножки погружали, конечно, в жестяные банки с водою; клопам приходилось высаживать десанты с потолка. Мы с бабушкой устраивались на диванчике. «В тесноте, да не в обиде», приговаривала она.

Все-таки все были молоды, кроме бабушки, и смех у нас не

переводился. Шутки наши были простые.

— Иду это я во сне по ущелию, — рассказывал Петя. — Иду, иду, ущелье все уже да уже. Пока только плечами стенки задевал — ничего было. А как начал боком продираться, так прямо дыханье в груди сперло. Ну все-таки бочком-бочком, а иду. Наконец чувствую, все, стоп, нос защемило. Так защемило — дышать нечем. Погибаю. Просыпаюсь, а это ты, Мить, ноздрю мне ногой зажал. Большим пальцем.

Мама хохотала.

Днями я часто бывал один. Отец работал в КБ. Митя где-то прорабом. Петя фрезеровщиком. Мать шила кожаные сумки на фабрике. Бабушка разливала керосин в лавке недалеко от дома. Я часто приходил в керосинную, слушал болтовню, наблюдал работу. Рот у бабушки никогда не закрывался, руки проворно разливали керосин, как суп, в жестяные бабьи бидоны. Сюда приходили посудачить; керосинная была для женщин вроде клуба.

Однажды бабушка сказала:

— Вот я говорю вам, что я думаю об том да об этом, а ведь никто не знает, говорю ли я точно то, что думаю.

Это поразило меня. Она имела в виду, конечно, что кое о чем лучше помалкивать. Я этого не понял, зато открыл одну загадку. Вот я говорю маме: «Говорю же вам: хочу в школу!» Разве я не говорю того, что думаю? Говорю-то говорю, но ведь я не говорю, что еще и знаю о том, что говорю… Раз знаю, значит думаю. Думаю, а не говорю. Нет, как же не говорю? Я сейчас вот сказал… Эта игра забавляла меня целый день. На другой день я забыл ее (и вспомнил через сорок лет, когда изучал логику).

Закончив визит в керосинную лавку, я играл сам с собой в переулке; или смотрел, что происходит в мире. Громыхала телега ломового извозчика; огромная лохматая лошадь, каких я не видывал в своей деревне, выбивала чечетку подковами по круглым булыжникам. Выходила из керосинной известная мне баба с голубыми буграми на лице; запрокинув голову, на ходу переливала голубой денатурат из четвертинки в горло; через шесть шагов перелив заканчивался, баба твердо продолжала свой путь. Пробегали школьники, не обращая на меня никакого внимания.

В выходные дни, вечерами, отец сворачивал чертежи, бабушка накрывала на стол, начиналось веселье. Отец любил играть в лото. Фишки были в виде маленьких бочоночков с цифрами. Некоторые цифры имели свои особые имена.

— Дед, — говорил отец, вытянув из мешочка 99.

— Сколько ему лет? — весело кричали Митя с Петей, ожидая следующей цифры.

— Пять лет. Большевик, — спокойным голосом отвечал отец, вытащив 5.

Пятерку потому называли «большевиком», что пятнадцатью годами раньше, при выборах в Учредительное собрание, которое большевики же и разогнали, они шли в избирательных списках под номером пять.

Пили немного, но всегда много пели. Тихонько, тонюсенькой ниточкой бабушка тянула: «Прощай ра-а-дость, жи-и-изнь моя-а-а…» Вот-вот паутинка оборвется, но не обрывалась. Я не понимал, что в песне расставались с любовью, я думал — с жизнью, и это очень огорчало меня. Песнь кончалась, мама начинала своим низким голосом другую: «Вот умру я, умру я… Похоронят меня… И никто не узнает…» Это была песня бездомного. «Наверно, беспризорник ее и сложил, — размышлял я, — мальчик без отца без матери… Или девочка беспризорница… вроде мамы или ее подруги Розы… Почему она опять смеется».

Мать была из беспризорных. Их были миллионы после гражданской войны.

До революции мамин отец — мой второй дед Петр Лебедев — работал механиком на большом пассажирском пароходе, плавал от Перми, что на реке Каме, до Астрахани — в устье Волги. Семья жила хорошо, в двухэтажном доме, на берегу реки, в заводском поселке Мотовилиха; дети ходили в гимназию. К сожалению, за революциями обычно следуют гражданские войны. Гражданская война все порушила. Сперва не стало большого пароходства. Потом куда-то делся большой пароход. Потом погибла большая семья — тиф. Оставшись одна, десятилетняя девочка прилепилась к банде таких же малолеток. Они скитались по всей стране. Спали все вместе в брошенных сараях, в вымерших домах, согревая друг друга; кормились вместе, добывая, кто чего и как может. Воровали, побирались. Но побираться было трудно, народ год от года свирепел; бездомных детей гнали хуже цыган. Вместе с подругой Розой мать жила этой жизнью несколько лет. И после таких гимназий как-то перестала уважать людей, а мужчин особо.

— Любовь? — переспросила она меня в нашем последнем серьезном разговоре о жизни, за месяц до ее смерти в ее 47 лет. — Любовь… Не знаю, что такое. Были… но я ничего не чувствовала, кроме этого… простого. Не знаю, о чем говорят — любовь.

— А отец? — спросил я. — Отец??

— Отец! — воскликнула она. — Что ты? О чем? Отца-то я уважала, как никого на свете… А никого больше и не уважала.

Лучше и умнее — не встречала. Он носил тебя грудного за пазухой. Засунет за рубаху и шагает, шагает… все думает… Ты описаешься, а он смеется.

Она тоже улыбнулась. Потом заплакала.

Восемнадцатилетний отец впервые увидел ее, четырнадцатилетнюю, на вокзале: рыжая копна на голове, красивое дерзкое лицо.

— Что уставился? — спросила она. — Жить надоело?

Она только что вырвалась из потных рук начальника вокзала. Улыбаясь и сопя, он долго бегал за ней вокруг своего стола. «Зарежу», — сказала она, и начальник отстал.

— Тебя как зовут? — спросил отец.

— Отвали, — ответила она с досадой.

— Давай жить… вместе, — проговорил он.

Она сощурилась:

— Я таких кобелей…

Но посмотрев внимательно в его светлые глаза, подумав, сказала:

— Давай. Меня Клавдей зовут.

— Лежим с Федей, обнявшись, помираем, — вспоминала мать, когда бабушки дома не было. — Шестой день ни крошки во рту, он без работы и я без работы, он болен и я больна и беременна. Так и решили: на тот свет вместе. Вдруг Роза вбегает: колбаса, масло, груши дюшес… не знаете, небось такие груши — дюшес, тают во рту… Выкладывает все на пол: «Ешьте!» — «Розочка, милая, откуда?» — «А, говорит. Не подыхать же вам в самом деле. Поспала с нэпманом. Или с циковцем — не разобрала». — «Ро-о-за!» — «Ну что, Роза? С одного раза не отсохнет. Последний раз. Обещаю. Клава, ешь». Ха-ха-ха! Не отсохнет! Ха-ха-ха! Не разобрала! Помнишь, Федя? Помнишь?

Отец помалкивал — приноравливал лекало, вычерчивал дугу. Улыбнулся, кажется, глазами, но потом опять лицо стало серьезным. Он вообще был чуть-чуть суров с моей мамой, и она немного даже заискивала перед ним; впрочем, как и другие в семье.

— Потому что мы все… нечистые, — объяснила раз мать. — Нечистые мы. А к нему не пристает. Он как будто и с нами живет, а не с нами.

Через несколько месяцев после того, как Роза спасла нас троих, считая еще не родившегося меня, отец нашел-таки работу — нанялся водителем грузовика. В то время, в середине двадцатых, устроиться было не просто и отец работой дорожил. Но не повезло ему. Он ехал позади трамвая, когда из дверей

вагона пулей вылетел беспризорник: кто-то догонял его там. Соскочил с подножки — и под колесо отцу.

Отца никто не винил. Но раздавленный ребенок в лохмотьях терзал его душу. Он отказался от грузовика. Тут подошел призыв в армию. А после армии он начал работать слесарем на авиационном заводе. Толковый, старательный и любивший технику отец быстро дорос до инженера в заводском конструкторском бюро. Дело в том, что инженеров тогда не хватало: из старых — кто убежал от большевиков в неизвестные края, кого арестовали, кто был убит на гражданской войне, кто сам помер в послевоенные годы, когда и хлеба и железа производилось в России меньше, чем за сто лет до того. Новые — «выдвиженцы» из способных рабочих — в большинстве еще только учились на вечерних рабфаках, как мой отец.

Учиться ему оставалось — пустяк.

Но и жить оставалось пустяк. Год.

Отец давно уже поплевывал в баночку. Регулярно приходила сестра Моисеенко из туберкулезного диспансера, забирала баночку, говорила: «Неплохо, Федор Павлович, анализы неплохие. Поедете опять летом в санаторий — совсем поправитесь». Но в коридоре шептала: «Ах, не спрашивай, Клава… Не спрашивай». Однажды вечером я бездумно наблюдал его работу, положив подбородок на чертежную доску. Вдруг — я никогда не забуду отчаяния, на секунду исказившего его лицо — он рывком откинулся назад, с силой отшвырнул меня от стола, я упал, он ударился головой о стену Я вскочил. По чертежам ручейками стекала кровь. Побежали за льдом. Отца уложили. Его серое лицо снова было спокойно.

Болезнь пошла в лобовую атаку. С каждым днем ему становилось теперь все хуже. Семья заметалась. «Сала, сала собачьего! Сала — легкие зарубцуются». Митя украл у одной худенькой старушки ее давно обсмеянную братьями толстую болонку и зарубил топором. «Нет, не то. Не то это! Говорят вам — не собачьего, барсучьего…» Братья поехали на охоту, убили барсука. Отец покорно глотал кусочки розового сырого жира. Но кровь хлестала. Лицо опало. Глаза провалились еще глубже, еще светились, но не здешним уже светом. Впрочем, они у него и прежде смотрели откуда-то оттуда. «Ладанку, — сказала мать. — Мне дали молитву особую. Заложить надо в грецкий орех». Все молчали. Почему орех? Но утопающий хватается за соломину. Мать переписала молитву, аккуратно вложила бумажку в скорлупки. Петя склеил, повесил отцу на шею на серебряной цепочке. Бабушка добавила крестик. Отец не сопротивлялся. Кровь хлестала.

Неожиданно близкий друг отца — красивый молодой военный инженер — застрелился. Он приходил к нам чуть не каждый день, отец помогал ему что-то там проектировать. И вдруг — на тебе. Из-за чего?

— Из-за меня, — веселым голосом объявила мама. — Не на ту напал. Ошибся в проекте, мальчик. А я роковая женщина. Поглядел на меня только, и хоп, — нету инженера. Федя, я роковая женщина! Я Кармен. Федя… Федюша…

Но Федюша был уже но ту сторону страстей человеческих.

В марте 1933 года, когда я заканчивал свой первый класс, отец скончался. Я помню эту ночь. Отец хрипел, распростертый на постели. Взрослые по очереди держали его за руку, сидя на кровати. Обо мне забыли. Я лежал на диванчике напротив, смотрел на его слепое лицо, слушал бесконечные, непереносимые хрип, бульканье, свист; я ничего не чувствовал, кроме тягучей тяжести, как при болезни, когда снится один и тот же навязчивый сон: потолок опускается, ниже, ниже — и чем ближе, тем тоскливее на душе. К утру бабушка начала читать отходную — вместо священника: где теперь найдешь попа? Но мама налетела, зашептала с яростью: «Не умирает, не умирает еще, не каркай!» И бабушка смиренно остановилась. Братья молчали, сидели оба на кровати, безотрывно глядя на отца и держа его руки в своих руках.

Завод организовал гражданскую панихиду: речи, оркестр. Меня посадили на катафалк, рядом с кучером. Позади лежал отец. Был теплый весенний день. Белые кони везли нас неторопливо под похоронные марши. Мальчишки бегали кругами, завистливо разглядывая меня. Я стеснялся, хотелось, чтобы поскорее доехали.

В крематории, только что построенном возле крепостных стен кожгалантерейной фабрики имени МЮД, бывшей до революции Донским монастырем, отца сожгли. Толпились любопытные, вежливо ожидая, когда труп приподымется, охваченный огнем, и задвигаются в судорогах мышцы. Но отец не приподнялся.

— Жилы перерезали, потому и не встал. На ногах и на руках. Тута и тута. Понял? Не понял? Али ты сын яво? Сын? Вишь ты, сын, говорит. А мать-то у те есь? Вон та что ль мать? Ну и то. Молода-ая! С отцом-то хорошо жила? Самое главное, что мать. А отец приложится, хе-хе. Не горюй.

В те годы разрешалось смотреть, как сжигают покойников, чтобы и самым темным гражданам было ясно, что никакого таинства в смерти нет.

* * *

Стержень семьи сломался.

Митя сразу же запил. Однажды утром я сонно открыл глаза. Бабушка летела к окну. Ударилась в подоконник. Упала.

— Зверь, — сказала тихо, поднялась с усилием и медленно пошла к двери.

Но наткнулась на Митин кулак и опять полетела к окну.

— Зверь, — повторила она печально и снова пошла навстречу Мите.

Лицо ее было все в крови. Я закричал. Она закрыла лицо руками и, оттолкнув Митю, бросилась в дверь. Не глядя на меня, Митя поспешно вышел за ней. Я закрыл глаза. Как плохо без отца. Как хорошо в деревне. Играть на сеновале. Ловить карасей корзинкой в осоке…

Вот умру. Будут хоронить с оркестром. Народу! Все плачут. Вся Москва идет за гробом. «Он герой, — говорят про меня. — Наш самый главный спаситель». А потом… А что потом? Нет, на самом деле я не умру. Вдруг встану и скажу: «Я живой!»

После смерти отца сладкие мечты начали преследовать меня: о подвигах, о торжественной смерти и чудесном воскресении. Может быть, его смерть наложилась в моем сознании на смерть Христа. Не многие из ребятишек знали в те годы о Христе. Но мне в деревне бабушка читала по складам Евангелие. Это была моя первая книга.

Митя погиб. Пролежал зимней ночью пьяный на улице в каком-то чужом городе, простудился и умер от скоротечной чахотки, среди людей, которым не было до него никакого дела. Петя ездил в тот город. Ему отдали Митины документы, но могилу не нашли. «Больно прытко умирать стали, — сказал ему старик в морге. — Голод. За всеми не усмотришь, у кого какое фамилие».

Проверили врачи Петю — оказался тоже туберкулез. Проверили меня — и срочно направили в детскую группу при ближайшем диспансере. Ежедневно после школы мне устраивали усиленное питание, сон на воздухе в меховом мешке и врачебную проверку.

Мать же оказалась совершенно здоровой.

Она решила пробиваться в люди.

— Феди нет, — говорила она. — То я была как за каменной стеной, а теперь как? Теперь надо самой.

— А что самой? — спрашивал Петя. — Работа хорошая.

— Да ты не понимаешь, — отмахивалась мать, — что такое фабричная работница? Ноль без палочки.

Она прошла курсы машинисток. Вступила в комсомол. Взяла общественную нагрузку — учить читать неграмотных (которых

после всех наших войн да революций развелось много). Участвовала в художественной самодеятельности. Однажды она привела меня на концерт в фабричный клуб, и я впервые услышал классическую музыку — пасторальные дуэты из «Пиковой дамы» Чайковского. Пела их моя мать вместе с другой работницей.

Материны расчеты оправдались. Ее заметили. Скоро она была уже секретарем-машинисткой при главном инженере фабрики.

Через год после смерти отца главный инженер начал приходить к нам домой. С этим человеком связано мое первое косвенное знакомство с НКВД. Шел 1934 год — начало новой фазы большевистского террора. Я помню, мальчишки разносчики газет кричали на улицах: «Кирова убили! Кирова убили!» Убили Кирова, первого секретаря Ленинградского обкома ВКП(б). Начались массовые аресты — теперь уж не крестьян, а самих партийных работников. Арестовывали они друг друга по очереди, но и простыми людьми не брезговали. Среди множества простых оказался брат маминого главного инженера. Его продержали на Лубянке и отпустили, как оказалось, — на время. В это отпущенное ему на жизнь время он приходил раза два к нам домой вместе с братом. Склонив головы над нашим маленьким столом, они обсуждали полушепотом, что там с ним приключилось. А приключилось — арестовали и били и задавали нелепые вопросы. Я слышал еще и раньше, как взрослые пугали друг друга Лубянкой, и было интересно, что за Лубянка такая? Теперь я понял.

Но страдания, о которых шептали за столом, не тронули меня. Я не любил главного инженера. Я его ненавидел, хотя не мог бы еще объяснить, за что. И вот однажды я проснулся ночью. Кровать матери стояла в полушаге от моего диванчика. Бабушки не было, после Мити ной смерти она вернулась в деревню. Петя со своей невестой Лизой спали в темной проходной половинке, за перегородкой, которая делила теперь общую территорию на две части. В нашей половинке было окно, в него светил уличный фонарь. На кровати были — двое. И я увидел то, что мне не следовало видеть. Открытие не вызвало любопытства. Было очень неприятно. Скоро я снова заснул.

Утром, казалось, я уже не помнил об этом. Мы сидели с матерью за завтраком, Петя с Лизой еще не вставали. Никакого инженера не было в комнате. Но тут я вспомнил все, что видел и слышал ночью, меня стошнило и началась истерика.

— Что? Что? Что? — шептала испуганно мать — я плакал так редко. Но она уже догадывалась что.

— Пусть не… пусть не… приходит! — прорыдал я.

Она схватила меня за руку и выскочила со мной на улицу.

На улице была опять весна — было сухо, тепло и солнечно. Я плакал. Мать что-то говорила, объясняла мне, как взрослому:

— Это очень нужно… и тебе нужно… тебе нужен отец.

Я плакал. Мы шли по светлой Якиманке, потом по темноватой Шаболовке, потом свернули в Донской переулок. Вот и фабрика — та самая, около которой сожгли моего отца. Я все ревел.

— Ну, хорошо, — сказала она. — Хорошо… Ты его больше не увидишь. Не плачь, пожалуйста, у меня уже нет времени, опаздываю. Иди, гуляй. Я приду к обеду.

И убежала на работу.

Я пошел на задний двор. Там было когда-то монастырское кладбище. Я обычно гулял, пока не приходила к обеду мать; она шла со мной в рабочую столовую, потом провожала в школу. Я сел на траву и стал разбирать надписи на могильных камнях, разбросанных там и сям. Серая ворона подглядывала за мной, вытягивая голову из-за березового пня. Прилетела другая. Всю жизнь я любил этих нескладных птиц; они окружали меня в детстве. Бабушка выносила меня на огород, сажала на расстеленную шубу и принималась копать картошку. «Завтра мороз», — говорила она и быстро-быстро разворачивала вилами грядки, собирала клубни в ведра, из ведер пересыпала в мешки, мешки носила в дом, чтобы опорожнить их в подпол. Летели облака и носились на ветру большими кругами и кричали вороны. Ноги не двигались, но это не имело значения. Я был счастлив, сидя в кругу летающих ворон.

Теперь, дожидаясь матери на кладбище, я почувствовал, что я уже больше не маленький.

Мать выполнила обещание: я его больше не видел. Впрочем, нет, видел еще один раз. Через два года мать вышла замуж за очень доброго, очень деликатного человека, и мы поменяли квартиру. Однажды ночью наша незапиравшаяся дверь открылась и в комнату вошел он. Он был, видно, очень пьян. Я вскочил, охваченный прежней ненавистью, как будто и не прошло с тех пор четырех длинных лет. Но встал отчим — худая каланча в подштанниках — подошел к нему и дал пощечину. Звонкую, но не сильную. Он жалко улыбнулся, сказал: «С-с-спасибо», — повернулся и вышел, старательно прикрыв за собою дверь.

Он был, может быть, совсем неплохим человеком. Много-много позже мать рассказала мне: он наотрез отказался на партийном собрании осудить своего брата, «врага народа». Его исключили из партии за «политическую незрелость» и, конечно, уволили — сперва из главных инженеров, потом из инженеров, а потом и из техников, потому что не мог же такой человек быть на

руководящей должности. Он запил. Тогда-то он и пришел к нам среди ночи. Потом мать потеряла его следы. Наверное, его тоже арестовали.

Глава третья
«Если враг не сдается, его уничтожают!»

После того мучительного конфликта с мамой, из-за ее инженера, я почувствовал, что существуют другие жизни, отдельные от моей, и — моя жизнь, в которой я могу жить по-своему Впервые я начал переживать себя как личность. Конечно, это было лишь неясное ощущение. В моем окружении не существовало концепции для такой вещи; слово же «личность» носило шутовской, глумливый оттенок.

— Вот смажу те, курва, по личности! — кричал, бывало, в добром расположении духа наш сосед своей растрепанной бабе.

Другой сосед, милиционер, советовал человеку, жившему в дальнем конце коридора:

— Подтеритесь, гражданин! Обосритесь и подтеритесь посуше вашим удостоверением личности. Ли-и-чность!

Это было еще до того, как я обнаружил милиционера лежавшим на лестничной площадке с простреленным животом…

Итак, в ту весну я начал самостоятельную жизнь.

— Не провожай меня больше в школу, — объявил я матери.

Мы стояли около фабричных ворот. Лились потоки работниц — шел обеденный перерыв. Мать глянула на меня грустно, кивнула, протянула монетки:

— Иди. Это на трамвай. Это на второй трамвай. Переходи улицы осторожно. Не беги. Лучше опоздай. Не побежишь?

Близость, сладкая близость с ребенком, когда он — это только часть твоего существа, оборвалась у нее, почти и не начавшись. Она страдала. Я чувствовал это, но не позволил ей заметить моего сострадания. Она поцеловала меня на дорожку. Я вытер рукой место поцелуя. Она попробовала улыбнуться на это. Я попробовал сделать вид, будто чешу щеку. Так, день за днем, она целовала меня все реже и реже.

Это была двухэтажная, дореволюционной стройки начальная школа с просторной лестницей, высокими потолками и огромными окнами. Когда окна открывались, ветви лип и тополей тянулись в классы. В каждом классе было тридцать ребят. Теперь, к концу второго года, мы читали «Филипка» Толстого, писали диктанты, учили сложение чисел, рисовали листья, пересказывали, как штурмом брался у царя и буржуев Зимний дворец. И в отдельной комнате, усевшись кружком, пели

революционные «Вихри враждебные» и деревенское «Во саду ли, в огороде». Обязательной формы еще не ввели — на мне висел великоватый, но красивый свитер — награда лучшему ученику.

Я любил школу и ни о чем другом не думал, пока однажды на перемене, когда я спускался по лестнице, чьи-то ручки не обхватили мою шею. Тонкий голос пропел:

— Ты меня лю-у-бишь? Любишь? Ха-ха-ха-ха!

Шею отпустили и девочка в желтом сбежала вниз.

Всю ночь я грезил. Серебряный голосок спрашивал: «Лю-убишь?» — мы сидели на лавке под липой и обнимались и целовались, как взрослые. На следующий день я дождался ее в конце уроков и с тех пор провожал до дома каждый день. На ней было худенькое серое пальто. Ей было около десяти, как и мне, звали ее Люсей.

Но скоро ей наскучило это и она придумала новую игру:

— Принеси мне денежек!

Надула губы и не разрешила провожать.

Все следующее утро я канителился с «котом». Мать теперь, уходя на работу, оставляла меня дома. Я сам разогревал обед и потом сам шел в школу. «Кот» был розовый, с красным бантом и… прорезью на спине. Гривенники вылетали из него хорошо, двугривенные гораздо хуже, а с пятаками было наказание. Наконец набралась изрядная кучка мелочи.

— Вот, — сказал я Люсе, дрожа от волнения, и раскрыл ладони.

— Что — вот? — спросила она удивленно, подставляя, однако, свои ладоши.

Я ссыпал туда свою любовь. Мы стояли на улице. Ее милое лицо вдруг исказилось отвращением, она сжала кулачки, подняла руки и изо всей силы швырнула сокровище в грязь. И ушла. Я был подавлен. Почему, почему она так поступила? В голову не пришло собирать деньги с земли.

А вечером мать кинула новый пятиалтынный в копилку и кошачья утроба ответила ей пустым глиняным стуком. Мать обернулась. Я сидел, опустив голову.

— Зачем взял?

Я молчал. Да и не все ли равно теперь, что будет. Мать подняла мою голову, внимательно посмотрела в лицо и вышла. Вернулась с прутиком и легонько побила меня пониже спины. Петя и Пиза, посмеиваясь, выглядывали из-за перегородки. Мать никогда больше не расспрашивала, что же произошло. Люся была моя первая и последняя школьная любовь. Она скоро начала дружить с пятнадцатилетними мальчиками, а я разыскал детскую библиотеку имени Льва Толстого, которую с восторгом описывала

мне соседка по парте.

Сколько было, оказывается, книг на свете, глаза разбегались. Я с презрением отверг сочинения для младших школьников и выбрал историю обезьяны — «Орангутанг». Он жил с людьми и стал почти человеком, что его, помнится, и погубило. Как был бы я рад встретиться с ним снова, особенно посмотреть фотографию — орангутанг обедает с друзьями и ведет чинную беседу.

В библиотеке работали женщины, все еврейки, и каждая хлопотала надо мной, как наседка над цыпленком. «Из очень бедной семьи, — громко шептались они. — Бедненький. Надо помочь ему развиться».

Они развивали меня.

«Развивать народ» — это началось в России за полвека до революции. Тысячи интеллигентов, включая Льва Толстого, положили на это свои жизни. Русской интеллигенции к годам моего детства фактически уже не существовало, но старьте интеллигентские традиции еще не все были истреблены вместе с нею. «Еще были недобитые добрые люди, прививавшие детям, вроде меня, любовь к общей культуре.

Я начал проводить в читальне все свободное время. Женщины подсовывали мне печенье и одну толстую книгу за другой: Пушкина, Горького «Детство», Тургенева и, конечно, книжки о Ленине, о славных большевиках и о детях, отважно помогавших революции.

Однажды я разыскал в одной книге, что царя в России скинули еще до Октябрьской революции. Это был первый удар по моей детской вере в правдивость книг и учителей. Хотелось расспросить мать и Петю, как же было на самом деле с революцией и с царем, но я не сделал этого. Я не смог бы объяснить почему, но знал всем своим существом: промолчать лучше, лучше для всех нас. Наблюдая взрослых, всегда отползавших подальше от какой-то невидимой границы в разговорах, я начинал уже чувствовать, где лежит опасная зона.

Но далеко за пределами этой зоны жить было возможно — и даже очень интересно. Библиотекарши организовали кружок, в котором мы, дети, изучали великие путешествия и научные открытия под руководством молодой, спокойной, замечательно умелой Натальи Николаевны, скоро умершей от туберкулеза. Я вычертил множество маршрутов — от Васко да Гамы до Пири — и сделал доклад об Амундсене. Амундсен среди прочих подвигов съел в детстве бутерброд с маслом и тараканами, чтоб закалить волю. Когда я попробовал освоить этот метод, то сразу обнаружилось, что я не Амундсен. Мы узнали также, в числе прочего, что Пастер, не удовлетворившись четырнадцатым

местом по успехам, прошел курс наук вторично. Второй раз он вышел все-таки лишь вторым, но зато Пастером. (Через двадцать лет, окончив университет, я попросился туда повторно. Меня спросили: «Вы хотите, чтобы государство истратило на вас вдвое больше, чем на других?»)

К одиннадцати годам, к последнему году начальной школы, я превратился из мечтательного деревенского паренька в совершенно городского динамичного мальчика, жадно ищущего, в каких бы кружках еще позаниматься. Школа к этому времени стала тоже гораздо динамичней. Шла вторая половина тридцатых годов, шпионы и враги теперь возникали повсюду; учителя, наоборот, внезапно исчезали; так же внезапно заменяли учебники. В книгах для чтения в младших классах появились пограничники и маленькие герои, помогавшие ловить шпионов. Один шпион гулял под видом грибника (была картинка в книжке). А под грибами-то у него в корзинке лежали гранаты (тоже картинка). В классе мы читали и пересказывали историю о девочке, которая увидела, что диверсант повредил железнодорожный путь (картинка). Чтобы снасти состав, она разрезала руку ножом, намочила своею кровью носовой платок и стала на путь, размахивая этим красным флагом. Машинист увидел и успел остановить поезд (картинка.) О чем я думал, когда пересказывал этот бред? Ни о чем. Жизнь в школьных учебниках была особым миром, созданным для экзаменов. Мелькнуло только разочек: откуда у деревенской Маши носовой платок? Сроду таких не видывал.

Голова была еще более чиста и пустынна, когда рука выводила безупречные сочинения на темы вроде «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!» или «Жить стало лучше, товарищи, жить стало веселее!» Жизнь была особенно весела и хороша в колхозах. Это было прямо видно из другого рассказа в учебнике, где юный пионер помог задержать вредителя-стригуна. Этот тип ножницами стриг себе в мешочек, подвешенный у него на шее, колоски пшеницы с тучного, богатого колхозного поля. Над мешочком и ножницами я размышлял долго. Интересный был вредитель. Через несколько лет я узнал истину: «вредителями» были голодающие, боролись с ними лагерными сроками и расстрелами.

Летом 1936, когда я кончил начальную школу, в последний раз приехала в Москву бабушка: на меня с Петей посмотреть, заработать немного денег. Жить в деревне становилось все труднее, людям теперь нечем было платить ей, повитухе и швее. Была она стара и не могла подрабатывать зимами на фабриках, как делала до революции. Ее место в керосинной было занято и

поэтому она нанялась смотрительницей в общественную уборную в Центральный парк — имея в своих расчетах и мой интерес. Каждые летние каникулы мать пристраивала меня в крестьянские семьи в разные подмосковные деревни, но в это лето не получилось, и я торчал в городе. Теперь благодаря бабушке я проходил без билета в парк, вместо того чтобы проскальзывать туда через заборные дыры. Я рисовал Красные площади в секции изо, затем шел в гости к бабушке, потом ухаживал за кроликами и горохами в крошечном огороде Дома юного натуралиста. С горохами там делались опыты. Поработай бабушка подольше в общественной уборной, из меня, глядишь, получился бы со временем генетик (и попал бы я в лагерь за это), но она скоро вернулась в деревню. А через несколько недель мама, наконец, вышла замуж.

Загвоздка была в жилье, и она разрешила эту проблему, найдя две кельи в бывшем монастырском доме на Большой Полянке. Правда, они были на территории сверхсекретного военного завода, так что нам надо было проходить и домой и из дома через проходную. Ну и коммунальная уборная и прочие удобства были хуже не придумаешь. Но зато две комнаты были с отдельными входами. Жили в этих двух комнатах всего три человека из одной семьи и хотели с нами поменяться. Мать объяснила, что их было в два раза больше до прошлого года и что им захотелось уйти с того места, потому что, может, на новом месте они перестанут испаряться так быстро.

— А мы? — спросил я.

— Мы не испаримся, — ответила мать. — Их кто-то не любит.

— А если и нас не полюбят?

— Мы люди простые. Кому нас нужно не любить.

— А если их и здесь не полюбят? Примут за японских шпионов, как Мустафу.

— Собирай-ка лучше учебники!

Мустафа был инженер и друг моего отца. Когда я еще не учился в школе, а отец был жив, он и его жена Талочка часто приезжали в Москву по делам и ночевали у нас ради экономии денег. Как удавалось там разместиться восьмерым, останется за пределами земного понимания. Талочка была красивая и надушенная, я таращился на нее, она это замечала и смеялась. Но однажды она приехала одна.

— Мустафу арестовали, — проговорила она и зарыдала.

— За что? — спросила моя мать очень спокойно.

— Они говорят, он не татарин… японец… японский шпион.

— Шпион? — спросила мать.

— А разве он японец? — спросил Петя.

— Какой японец?! Я знаю всю его семью.

— Ну, так разберутся, — сказал Митя.

— Разберутся! Его уже убили!

Все замолчали. Она переночевала у нас, днем ходила куда-то, ей велели возвращаться домой и она уехала.

— Я напишу Талочке, чтобы не приезжала, — твердо выговорила мать.

— Ты что это? — удивился Петя.

— Ничего. Вы жизни не знаете.

— Это мы-то?

— Вы-то. Сегодня Мустафу, а завтра Федю. И концов не найдешь.

— Ты что, ухи ела или так ох… ела? — спросил Митя.

Отец молчал.

— Напиши, — сказала бабушка.

Мать письмо написала, Талочка больше не появлялась.

Мы переехали на новое место на Полянку. Наши кельи были по восемь квадратных метров, если считать по полу, и по четыре, если по потолку. Петя с Пизой и маленьким сыном Вовкой разместились в одной келье, мать со мной и отчимом (которого тоже звали Петей) — в другой.

Мой отчим, Петр Барагин, учился в художественно-прикладном училище. Потом вот женился на моей матери, разменяв карьеру художника на красивую и властную женщину на пять лет старше его и с ребенком. Студенту можно было жить на воде и хлебе, семейному человеку — нельзя. Училище он оставил и пробовал работать учеником на разных заводах. Наконец устроился на химическую фабрику, там платили больше. Мать, понюхав вокруг него, решила, однако, проверить, что это за работа, и пошла в цех. «Лучше совсем без денег, чем дышать такими парами!» закричала она на мастера и прямо в цеху написала за отчима заявление об уходе.

Трудно было представить себе человека, меньше приспособленного к заводской работе, чем медлительный, задумчивый отчим. Он был все-таки художник. Когда выкраивалось время, забирал мольберт, краски и меня — рисовать пейзажи. Наши стены были увешаны ими. Множество раз ходили мы с ним в Третьяковку, и он рассказывал мне о жизни художников, о технике живописи.

Легко ли вдове с ребенком найти серьезного мужа? Отчим был мне хороший товарищ, чего и хотела мать. И он любил ее. Никогда, ни словом, ни взглядом, не упрекнула она его за низкие заработки.

Однако все их силы уходили на то, чтобы прокормиться и

одеться. После двух лет такой жизни мать собрала семейный совет. Надо, сказала она, чтобы хоть по утрам у нас было сливочное масло. Как этого добиться? Она уже знала как: мы будем писать от руки образцы адресов на конвертах. Их развесят на стенах почтовых отделений всего Советского Союза. Согласны? Согласны. Долгими вечерами мы все вместе — мать и отчим после работы, а я после школы — корпели над этим занудным копеечным делом.

Но я этих трудностей не замечал. Другой жизни в городе и не видел. Кроме того, мне нравилось учиться в школе, читать, ходить в кружки. Если бы мне сказали, что мы живем в нищете, я бы удивился. Не хуже других, сказал бы я. Едим вкусно, надо только уметь готовить, а этого у мамы не отымешь. Картошка жареная на подсолнечном масле, с селедкой — объедение. Квартира? Распрекрасная, еще таких поискать надо. Едешь, например, по железной дороге: бараки, бараки. Разве они лучше? Работаем ночами? Так масло! И не только оно. За тридцать (довоенных) рублей я купил абонемент на курс лекций в университете по истории философии для школьников.

…Огромный актовый зал университета был переполнен. Профессор Асмус начал с пифагорейцев. Я аккуратно конспектировал, меня немного лихорадило. Вот он, мир идей, о самом существовании которого я еще вчера не подозревал. После пятой лекции, когда Асмус дошел до логических парадоксов Зенона, я принял решение: буду философом. Для моих четырнадцати лет это еще не поздно.

Все вокруг было восхитительно, кроме кое-каких деталей. Было похоже немножко на сумасшедший дом, а если верить рассказам моей тетки Зины, у которой муж иногда попадал на Канатчикову дачу, то получалось даже, что настоящие психи вели себя нормальнее. Еще вчера какой-нибудь вождь, чье имя мы заучивали в школе, убеждал нас, что партия никогда не ошибается, а сегодня лучшие писатели, бригадиры, поэты и ударники поносят его в газетах и по радио как фашистского шпиона, презренного предателя и омерзительного убийцу; и он в этом сам признается. А завтра его расстреливают. И маленькие школьники выкалывают стальными перышками глаза на его портрете в учебниках литературы, истории или географии, выскабливают бритвочками уши, вырезают нос, и напоследок аккуратно затирают слюнями его поганую морду. И учитель не говорит им ни слова. А когда вчерашние вожди, кроме самого товарища Сталина, все становятся шпионами, учебник меняют, и в новом учебнике — новые портреты; и школьники начинают новую работу. Выкалывают глаза. Вырезают уши. Плюют в

поганые фашистские морды.

Я терялся. Если партия не ошибается и эти вожди на самом деле предатели, то как поверить их словам, что партия не ошибается? И ведь эти революционеры признавались в своих гнусных преступлениях. Я слышал это своими ушами во время радиопередач прямо из зала суда. Мы всей семьей регулярно слушали такие передачи. Значит, все-таки, они враги народа. Враги народа, делавшие революцию для народа? Понять это было невозможно. Меня учили, что люди четко делятся на тех, кто верит, и тех, кто не верит в коммунизм. Очень не скоро я понял, что людей надо делить не по вере или неверию, а по их готовности или неготовности убивать за веру или неверие. Мое поколение учили убивать.

Мы все проходили в школах декларацию великого гуманиста и главы советской литературы Максима Горького (написанную как раз перед уничтожением крестьян):

Если враг не сдается, его уничтожают!

И этот сильный стих чекиста — карателя и поэта:

Оглянешься — а кругом враги;
Руки протянешь — нет друзей;
Но если век скажет: «Солги!» — солги.
Но если он скажет: «Убей!» — убей.

И этот совет гениального Маяковского следовать примеру главы ЧК:

Делать жизнь — с кого?
С товарища Дзержинского!

Таков был воздух новой, послереволюционной культуры. Его гнали в наши легкие мощными насосами каждый день. Это то, что я вдыхал.

Что я выдыхал? Практически ничего. Я, правда, верил, что коммунизм — это светлое будущее всего человечества. Однако основная идея новой культуры — что самое страшное насилие гуманно, коли цель хороша — не затронула мою душу хотя я все еще принимал ее, абстрактно. Дым от спины деревенского священника, вероятно, мешал мне видеть гуманизм ЧК. И еще живы были в книгах остатки старой, совсем иной культуры, которую я начинал любить до слез. Одного этого хватило бы, чтобы уберечь меня и от святого культа насилия, и от почитания вождей, включая гениального Вождя и Учителя И. В. Сталина. Я

относился к нему никак. Даже когда второгодник по фамилии, кажется, Петров сказал мне, что он своими, руками задушил бы товарища Сталина, никакой реакции, кроме академического интереса к идее, у меня это не вызвало. Так что идеологически я не был примерным пионером и комсомольцем. Я состоял там потому, что все состояли. (Надо кроме того добавить, что во дворцах пионеров располагались самые интересные кружки; хоть смотри в микроскопы, хоть учись писать рассказы.)

Вообще, в нашей семье не было привычки высовываться. Что более важно, высовываться было очень опасно. Это была эпоха «сталинского террора», как ее позже назвали. (Хотя наивно связывать с именем одного человека преступления, творимые десятками тысяч над десятками миллионов, и мечты о земном рае, захватившие сознание сотен тысяч, и парализовавшие волю сотен миллионов.) Моя умная и наблюдательная мать, со своих беспризорных лет ненавидевшая облавы, очевидно видела, что вся жизнь стала как сплошная облава. Она, однако, никогда и ничего не обсуждала со мной что знала и что думала о происходившем. Может быть потому, что истина, как та дымящаяся спина священника, могла быть непосильной детскому сознанию. Или потому, что ребенок мог не удержать тайны обсуждения, мог хотя бы пошутить где-нибудь об этом, а тогда погибли бы все, и родители и дитя. Это то, что точно знала моя мать. Она была всегда начеку, как лесной зверь. Я это чувствовал и автоматически держался за тысячу верст от опасных разговоров, везде и всегда. Исключая только один раз.

Однажды в 1938 мы с мамой и отчимом ехали в трамвае, ведя обычный разговор о работе.

— У Левина с директором нелады, — рассказывала мать. — А лучше Левина снабженца не найти.

— Это не тот ли Левин? — спросил я игриво, намекая на доктора, которого обвиняли в отравлении Горького.

Мать запнулась, постепенно бледнея. Я посмотрел на отчима — тому бледнеть было некуда. Они стали незаметно продвигаться к выходу, мать тащила меня за руку. На повороте выскочили и с полчаса шли молча не оглядываясь. Потом огляделись. Никто за нами не шел. Тогда она набросилась на меня. Я никогда не видел ее такой разъяренной.

— Дурак! Идиот! — кричала она шепотом. — Нашел чем шутить! Ты не понимаешь? Не понимаешь?

Я виновато молчал. Я понимал. Мы только что вчера слушали по радио процесс над право-левым бухаринско-троцкистским блоком. Какой-то Левин был в том блоке. Левин во всем, конечно, признался, и, конечно, был приговорен к расстрелу. Газеты

публиковали восторженные отклики бригадиров и писателей. Будь в трамвае писатель, я имею в виду писатель доносов, моя дурацкая шутка была бы неопровержимым доказательством, что и мать, и отчим, да и сыночек — участники лево-право-троцкистско-бухаринского блока, убийцы, шпионы и диверсанты. Это было предвидено безошибочно. (Через пятьдесят лет партия разъяснила, что блока не существовало в природе, но есть подозрение, что Горького отравили по указанию Сталина.)

Нам повезло: никого в нашей семье не арестовали. Но увернуться от века, который требовал от каждого «солги!» и «убей!» было невозможно. В конце шестого класса у меня был друг по фамилии Метальников, имя я забыл. Может быть, он все-таки жив и прочтет эти строки. Метальников жил с матерью в Земском переулке, недалеко от Бабьегородского рынка, и мы часто после школы гуляли там, ведя умные разговоры. Но в тот день он упрямо молчал. Я приставал к нему, что-то шумно доказывая.

— Отстань, — сказал он наконец. — У меня вчера арестовали мать. Я совсем один.

Обреченность и отчуждение глядели на меня.

Мы молча пошли вдоль Москвы-реки. Шел лед, галдели ребятишки. Вороны высматривали, нет ли чего подходящего на льдинах. Я не спрашивал ни о чем. Мы дошли до Крымского моста и молча разошлись.

— Мам, — сказал я вечером, — у Метальникова мать арестовали, он один остался. Пусть поживет у нас? Ты же говорила: два ребенка лучше одного.

Мать долго, бесконечно долго молчала. Выходила. Входила.

— Ты не знаешь, — наконец сказала она. — Это трудно. Не получится.

Я опустил глаза. Почему-то не ожидал я отказа.

— У него родные есть? — спросила мать.

— Не знаю я.

— Спроси завтра.

— Ладно.

На другой день, однако, его в школе не оказалось. Я пошел в Земский переулок. Дверь в их комнату была заперта. Я стоял возле двери, охваченный тревогой. Подошла маленькая девочка.

— Ево заблали, — сказала она. — Заблали ево. Как влага налода.

В середине тридцатых годов возрастной ценз для арестов «врагов народа» снизили с шестнадцати до двенадцати лет.

Характером я пошел в дядю Петю, любившего иронизировать. Но после исчезновения Метальникова пропал мой вкус к

ирониям. Все больше и больше времени я проводил в библиотеках. Там, в великой европейской и русской литературе, была реальная жизнь. Жизнь вокруг была нереальной.

— Ты, Петя, почему не стахановец? — спросил я раз своего дядю.

— А ты хоть знаешь, кто это — стахановцы?

— Стаханов в шахте дал тысячу четыреста процентов нормы, — ответил я. Каждый знал это из газет.

— Во, — сказал Петя. — Тысячу четыреста. Тебе еще простительно. А то ведь это надо каким пробкой быть, чтоб поверить. У нас на станкозаводе есть свой Стаханов — Гудов. Парень только что из деревни. Ему и начальник цеха, и секретарь парткома заготовки к станку подносили, только давай-давай, рекорд нужен. Пыхтит. Да квалификации нет. Девчонке рядом никто не подносил и то за смену выработала больше. Просто из интереса. Ну, Гудов мужик здоровый, пропердел две смены, засчитали как одну, приписали в три раза больше — получилось на бумаге пятьсот процентов. Рекорд в машиностроении!

— Заче-ем? — спросил я.

— Как зачем? Во-первых, у нас теперь свое собственное, стахановско-гудовское движение. Руководство отчиталось. Во-вторых, рабочим — новые нормы — в полтора раза выше.

Через восемь лет я встретил этого Гудова. После своего рекорда он был «выбран» в Верховный Совет, переселился в Дом правительства и стал важным чиновником. Лицо у него было какое-то опухшее, дряблое, очевидно, легкая жизнь не пошла ему на пользу. Стаханова я прямо не встречал, но одним летом у нас был общий с ним шофер. В 1956 я «репетировал» сына замминистра угольной промышленности, очень талантливого мальчишку Сашу Барабанова. После каждого занятия меня отвозили домой на министерской машине.

— Вчера Стаханова вез, — пожаловался шофер, — все облевал, скот. Вечно пьян в дребезину.

— А что он делает в министерстве? — спросил я.

— Инструктор по стахановскому движению!

* * *

В нашей квартире жизнь протекала нормально. Никто никого не арестовывал. Никто никого не душил. Только дворник Николашка орал на весь дом: «Всех попересажаю! На вас всех передонесу!» — когда был пьян. Пьян он был всегда. Но до нас, видно, очередь еще не доходила.

— Дойдет, — замечал Петя меланхолически. — Миколашка метлой заметет. Надо бы Миколашку опередить, на него самого донесть. Написать бы надо.

— Про что писать-то, Петя?

— А неважно. Важно только, чтобы грамматика не хромала.

Глава четвертая
На рубеже войны

Все мечты разлетелись вдребезги. Кости черепа, слава богу, нет, но сильно разошлись по швам.

Я решил навестить моего друга Женю Васильева, послушать его игру на собственном концертном рояле. Было совсем недалеко добежать до его дому, но в те дни я увлекался Джеком Лондоном, и, может быть, поэтому, а может, оттого, что мне было почти пятнадцать и весна была во всем цвету, я тренировался в прыжках на трамвай и с трамвая на большом ходу. В тот час было людно, гроздья свешивались со всех дверей, вагоновожатые трезвонили без передышки, я разбежался и прыгнул, зацепившись за поручни кончиками пальцев и упершись в подножку кончиком мыска. Но тут изнутри вагона мощно надавили. Если, вот, сейчас обе ноги повиснут, то соскользну под колеса второго вагона! Я немедля оттолкнулся второй ногой, оторвал руки от поручней и на всей скорости шарахнулся затылком об асфальт.

Шло тихое московское лето. Моя койка стояла у окна на первом этаже. Посетителей не пускали. Я должен был лежать недвижно, но каждый день кто-нибудь стоял под окном, то мать с отчимом, то молчаливый неулыбчивый Женя. Пришел даже весь мой класс вместе с молодой классной руководительницей. Расплющивая стеклом конопатый нос и строя смешные гримасы, она показывала мне мой дневник: одни пятерки. Семилетка была окончена. Но я был подавлен: врачи велели оставить школу на год, а то и на два. Вернусь ли вообще-то? Жизнь затормозилась.

К осени, однако, я почувствовал себя совсем здоровым, и мать решила пустить меня в школу. Подросток, объясняла она мне, возраст опасный, сорвешься с учебы, отобьешься от рук, куда пойдешь? В дворники? Отец, правда, начинал с нуля. Но то был Федя.

С отличным дневником и врачебной справкой она устроила меня в школу недалеко от дома. Эта школа № 9 была особенной, хотя теоретически таких особых школ не существовало. Учились там больше дети из привилегированных семей, живших не в коммуналках, а в отдельных квартирах с собственными ваннами: кто из Дома правительства, что за Малым Каменным мостом, кто из Дома писателей, что возле наших коммунальных бань на Ордынке, кто из других таких домов; ну и те, кого родители устроили по блату Единицы, вроде меня или Юрия Кузмичева, лучшего по математике в этой школе, пришли из семей очень

бедных. Юрина мать работала по соседству дворником, его брат, с невероятно раздутым черепом, целыми днями шагал по улицам, сосредоточенно везя перед собой подпрыгивающий на асфальте прут. В нашем классе половина ребят собралась из еврейских семей. В 1941 году, не закончив школы, почти все эти мальчики пошли добровольцами в московское ополчение и погибли.

Конечно, школа для элиты имела особых педагогов, из лучших в Москве. Самые способные ученики должны были разбираться в проблемах самостоятельно, а затем делать доклады в классе для всеобщего обсуждения. Этот необычный подход ввел меня в мир интеллектуальной дисциплины. Я сосредоточился на самом важном из того, что требуется, как я воображал, будущему философу: математика, литература, история. (Но сама философия была тайной. И когда мать, понижая голос от волнения, описывала, как я, может быть, — кто знает? ведь я так хорошо учусь! — пойду после школы в военную академию, я не спорил.) Записался в знаменитые старые московские читальни Исторического музея и Румянцевского, который вместе с большим новым книгохранилищем стал называться Библиотекой им. Ленина. Мне нравилась церемонная тишина и копанье в старых книгах, каких нигде больше не было. Я приготовил там довольно много школьных докладов о малоизвестных русских писателях.

Это вдохновило меня прочесть грандиозный курс русской литературы матери и отчиму. Готовился я очень тщательно. Полная энтузиазма аудитория располагалась на железной кровати и тут же засыпала; профессор сидел на рахитичном стуле, втиснутом между диваном, книжной этажеркой и комодом, который моя бабушка вытащила много лет назад из огня и полымя подожженного имения, того самого, где она работала вместе с молодым Зюзей. Кафедрой служил маленький стол, какой сегодня, пожалуй, никто, даже в Советском Союзе, не взял бы с помойки. Через три месяца мой курс иссяк. Начав в подробностях с древних былин, я остановился перед девятнадцатым веком, почувствовав, что эту глыбу мне не одолеть.

В середине сентября 1939, пока я углублялся в средневековую русскую поэзию, германские и советские войска углублялись в польские земли. Люди вокруг радовались, как быстро и легко Советский Союз освобождал столь обширные территории. Мои-то родные, как обычно, помалкивали. Официально СССР с Польшей не воевал, а лишь воссоединял польских украинцев и белорусов с их советскими братьями. Мне это было довольно безразлично, и только наша внезапная дружба с нацистами коробила меня. Я объяснял себе, что это, мол, просто игра — чтоб не дать втянуть

нас в новую большую войну, которая уже начиналась в Европе. Но вульгарный цинизм, с которым велась эта игра! — он разбивал остатки моей веры в официальные декларации и сообщения; я начинал уже практиковаться в великом советском искусстве читать между строками.

В тот декабрь мать бросилась сушить сухари и закупать соль, сахар, мыло и спички: началась зимняя война с маленькой Финляндией. Я внимательно читал газеты и слушал радио; по ним получалось, что Советскому Союзу ужасно важно было отодвинуть границу под Ленинградом, поэтому финнам предложили обмен: кусок развитой финской территории позади Ленинграда на «эквивалентный» кусок советской Карелии; как я знал, леса да болота. Финны нагло отказались, не оставив Советскому Союзу никакого выбора, кроме как направить к ним войска и новое правительство из эмигрантов-коммунистов. Финны упорно сопротивлялись. Госпитали наполнялись ранеными. Слухи гуляли о финских детях и старухах, засевших на елках со снайперскими винтовками.

Но все-таки каждый помнил августовскую фотографию в газетах, где Молотов и Риббентроп с дружескими улыбками обнимали друг друга. Поэтому настоящей большой войны не ожидали; и жизнь в нашей семье шла более или менее обычно…

Раз в месяц мы ходили в гости к родным отчима. Оставалось их не так много. Отец исчез в гражданскую войну, мать, выбиваясь из сил с шестью детьми, поместила отчима в детский дом. Он выжил, другие братья-сестры померли, кроме Васи, имевшего вместе с женою квартиру от обувной фабрики, на которой они работали, — полуподвальную комнату, переделанную из дореволюционного фабричного склада. Они разделили комнату перегородкой на две половинки и жили там с ребенком и Васиной матерью. Мы садились за стол, закусывали, взрослые пили и пели. Невестка, Васина жена, сразу же уходила вон, прихватив подмышкой ребенка.

— Змея, — говорила свекровь. — Была как будто хорошая девушка. А вышла змея. Конечно, пьет Вася. А как не спиться с гадюкой? Вы посмотрите!

Васина изможденная бледная физиономия с красно-сине-желто-зелеными полосами от жениных когтей вдоль и поперек всего лица напоминала автопортрет безухого Ван Гога.

Но однажды разукрашенной синим с зеленью на фоне въевшегося машинного масла оказалась Васина горемычная шея. Жена скрутила его длинный засаленный шарф наподобие веревки, соорудила петлю, накинула Васе на шею, когда он лежал на полу пьяный в стельку, и повесила его на кроватной стойке.

Случайно подоспевшая свекровь обрезала петлю. «Чтоб тебя колесо, змея, переехало!» — пожелала ей старуха. И колесо переехало.

Многие рабочие от случая к случаю потаскивали что-нибудь с фабрики: то кусочек кожи, то, глядишь, и целые туфли. Лучшие мастера-раскройщики умели экономить материал против нормы, получались неучтенные излишки. Вахтеры, сидящие на еще более нищенской зарплате, чем рабочие, иногда входили в заговор, иногда не обращали внимания. А иногда строго выполняли очередное секретное постановление по борьбе с мелкими хищениями, но тогда все про то знали и вели себя подобающе. Васину жену, однако, недаром прозвали на фабрике «поперечной пилой»: людских советов она не слушала. Ее поймали с кусочком заготовки во время очередной такой кампании, образцово-показательно судили и образцово-показательно приговорили — так, что она уж не вернулась из лагеря. Вася запил по-черному: он любил эту женщину. Скоро началась война, Вася был сразу мобилизован и через месяц убит.

В тот последний год перед войной огромное влияние оказала на мои мысли невероятная комбинация Ленина, гения насильственной революции, со Львом Толстым, фанатиком непротивления злу насилием. В Ленине меня околдовывала его страсть, риторическая любовь к рабочим и победа в борьбе за, казалось мне, правое дело. В свои шестнадцать лет я еще не понимал, что способы реализации целей важнее самих целей и что лозунг партии «Сталин — это Ленин сегодня!» был чудовищной правдой. Я прочел почти все, что написал Ленин, пожирая том за томом в читальнях. То же самое было и с Толстым. Пятнадцать лет спустя я полностью освободился от ленинского обаяния, но Толстой остался любовью на всю жизнь.

Проповедь Толстого о моральном самосовершенствовании и о возможности морального воскресения в любой момент жизни поразила меня и стала частью душевных переживаний. Я перечитывал «Воскресение» множество раз, хотя и не принимал постулатов всепрощения и любви ко всем ближним. Толстовское сострадание к людям было мне очень близко. Понемногу я учился видеть и чувствовать несчастья, которыми была наполнена жизнь вокруг, и переставал воспринимать это как неустранимую часть нормальной жизни.

В школах и в газетах нас учили сочувствию исключительно заграничным и нашим собственным до-революционным рабочим и крестьянам. В сталинскую эпоху народ жил так счастливо, что сама идея сострадания советским людям выглядела кощунственной клеветой. Жалеть было уже некого. Наоборот,

ненавидеть было, и даже очень, кого, врагов народа. Не ненавидеть их могли только еще более ужасные враги народа. Однако я почему-то никого еще не ненавидел, знал многих людей, достойных жалости, и был определенно уверен, что сам я не враг народа.

Уборщица, работавшая над налги в конторах военного завода, получала двести пятьдесят рублей по тогдашнему курсу. На эти деньги невозможно было прилично кормить, обувать и одевать двоих детей так, чтобы они закончили не только школу, но и техникум. Уборщица смогла, но после того дети отвернулись от нее. Она пришла к моей матери объяснить хоть одной душе, что произошло. Уборщица подрабатывала проституцией. Жила, разумеется, в одной комнате с детьми, и они, как ни крутись, все видели. Выучившись, сын и дочь дали волю своему отвращению.

— Приведи мне их, — сказала уборщице мать. — Я их познакомлю с Розой Гурфинкель. Она добрая, все им объяснит. Она знаешь кто? Секретарь в наркомате. В наркомате! А кто была Роза десять лет назад? Приведи поганцев.

Уборщица мотала головой. В тот же день она повесилась.

Как раз в тот день я узнал из газеты, что проституция есть следствие дурных социальных условий и потому абсолютно невозможна и не существует в Советском Союзе.

— Ну, что правда, то правда, — объявил наш сосед, тыча пальцем в «Правду». — Жить стало веселее. Карточек давно нет. Смотри, как богатеют колхозы.

И он еще раз тыкнул пальцем в «Правду».

— А что ты вчера про тещино-то село рассказывал? — осторожно напомнил Петя.

— Про… Какой тещи? А! Так у моей тещи… это в одном месте. А ты гляди, что в других местах».

Меня изумлял этот гипноз печатного слова. Почти каждое лето я проводил в какой-нибудь деревне и везде видел одно и то же: мясо, молоко, яйца стали реликтовой редкостью. Семьи как-то кормились, но не от колхоза, который не давал ничего, кроме возможности подворовывать на фермах, да права на приусадебный участок. Участок давал картошку и немного денег. Иногда разными неправдами удавалось еще кормить свинью, корову или кур. Но на все это, даже на фруктовые деревья, накладывались зверские налоги деньгами и натурой. И когда куры не неслись, а корова не доилась, хозяйка покупала яйца и масло на сдаточном пункте и потом сдавала их туда же! Этот-то идиотизм я наблюдал своими глазами. И я знал также, что у крестьянина не было путей выйти из колхоза и уехать: в отличие от нормальных граждан ему не полагался паспорт. Он был рабом.

Теперь обращали в рабство и рабочих — новыми законами, которые настолько были противны идее «рабочего государства», что я боялся додумывать это до конца; только уже после войны у меня нашлось интеллектуальное мужество назвать эти законы антирабочими. Вначале рабочим запретили переход с одной работы на другую в поисках лучших заработков, затем последовал закон против прогулов. Прогулом считалось двадцатиминутное опоздание, наказанием же было — до двух лет исправительно-трудовых лагерей. Под этот закон чуть не попал мой отчим.

У нас не было будильника.

Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек.

Пело радио в шесть утра, и мы вскакивали. Но однажды репродуктор сломался, и мы немножко проспали. Сонный отчим, почесывая рукой руку, а ногой ногу, в подштанниках, натягивал рубаху, когда мать зажгла свет и взглянула на ходики:

— Ты опоздал! Господи. Что делать?

Босой отчим, не одеваясь, стрелой выскочил из комнаты, кинулся к трамваю. Люди помогли ему втиснуться в вагон, протолкнули вперед и вытолкнули на его остановке. Он опоздал только на десять минут, отделавшись выговором.

Той весной, в конце мая, наш директор школы собрал комсомольское собрание и без всяких разъяснений предупредил нас, что было бы лучше, если бы мы не уезжали из Москвы.

— Вы можете понадобиться здесь, — сказал он.

Я, однако, не придал никакого значения этому странному совету, ничего не сказал матери, и она, помня наставления врачей, отправила меня на это лето в родную деревню, к бабушке, которую я не видел уже пять лет.

Ехать нужно было полтораста километров по железной дороге. Станция Дровнино, на полпути от Москвы до Смоленска, никак не изменилась с тех дней, когда бабушка провожала меня в школу в Москву: бесконечные штабеля дров, пакгаузы, старик-сторож с ружьем в длинной шубе и в валенках.

— А что ж валенки, — возразил он мне на мою улыбку. — Дожжей пока не предвидится, вишь какая хорошая погода.

Я писал бабушке, чтоб не беспокоилась о подводе. Идти было до Гнилого всего десять километров, поклажи почти не было, я шагал проселочной дорогой, а последнюю треть скосил лесом прямо к нашему выгону; вышел и присел на кочку, разглядывая свою деревню. Серые от дождей бревенчатые избы, темные

крыши, маленькие окна, ветлы, вороны… Не моя это уже была деревня. Не в деревне я теперь жил и не в городе. Жил в читальнях…

Бабушка заплакала, засуетилась, не зная, с какой стороны подойти к выросшему образованному внуку. Она была теперь очень маленькой, сморщенной. Хотелось ее обнять, поцеловать, но не привыкли в нашей семье показывать любовь. Я не знал, с чего начать. Но через день мы снова привыкли друг к другу. Жила она в приделе, а нашу горницу вместе с частью огорода сдавала теперь приезжему лесному инженеру. Без этого жить было бы нечем.

Рабочих, а вернее, работающих рук в колхозе не хватало, и я от нечего делать подрабатывал на конной косилке.

Когда 22 июня 1941 года Германия напала на Советский Союз, я понял, что имел в виду директор школы, предупреждавший комсомольцев. Но откуда он знал то, чего не знал сам Сталин? Это оставалось для меня загадкой пятнадцать лет, пока Хрущев не поведал, что советское руководство получало в 1941 много предупреждений о подготовке Гитлером нападения. Но гениальный вождь советского народа, видимо, не мог поверить в предательство своего друга, великого вождя германского народа. Агрессия оказалась для Сталина таким же шоком, как и для ординарных советских людей, которых он уверил, что пакт Молотова — Риббентропа 1939 года обеспечил им мир, Сталин пришел в себя лишь через одиннадцать дней. 3 июля нас собрали перед репродуктором слушать его обращение к народу.

«Товарищи! Граждане! Братья и сестры! К вам обращаюсь я, друзья мои…»

Колхозники выслушали обращение в полном молчании и молча разошлись. О чем думали братья и сестры товарища Сталина?..

Я думал только о том, чтобы меня мобилизовали. Первым делом направился в райвоенкомат на станцию Уваровка, в трех часах быстрой ходьбы от нас. Когда я пришел, там толпилось уже человек пятнадцать допризывников-добровольцев. Военком выглядел хмурым, ему было не до нас. Потолкавшись часов пять, мы разошлись.

Тогда я написал письмо наркому обороны Ворошилову: «Прошу направить меня на фронт. Мне скоро семнадцать лет. Член ВЛКСМ с 1939 года».

Ответ пришел довольно быстро и гласил, что меня призовут в нужное время. Мне не приходило в голову, что в Москве я мог бы вступить в те дни в народное ополчение.

Между тем немцы стремительно приближались. В соседних

лесных деревнях объявились уже советские дезертиры и наши бабы судачили об этом не таясь. Надо было скорее уезжать в Москву, чтобы не попасть под оккупацию. Но это оказалось безнадежным: один за одним шли через Дровнино военные составы, пассажирских билетов не продавали. Параллельно железной дороге по Минскому шоссе непрерывными колоннами катили на Запад грузовики ЗИС с красноармейцами, с пушками на прицепах, с ящиками, крытыми брезентом. Обратных машин не было видно.

Однажды утром из лесного тумана выполз и вполз в нашу деревню пехотный батальон. Красноармейцы немедленно завалились спать в домах и сараях, председатель выделил корову на зарез. Командир, правда, засомневался, получится ли с ней вовремя, но моя бабушка вызвалась разделать корову моментом. Кухня стала возле нашего дома и бабушка преобразилась; я снова увидел ее прежней, быстрой, ловкой; корова скоро уже варилась, бабушка несла домой награду — коровью голову.

— Выдай лошадь, председатель, да и мальчишку ездового. Верну, — сказал комбат.

— Верне-ешь? — засмеялся тот. — Лошадь дам конечно, а человека — как же? Я не хозяин. Кто если сам согласится?

Я замер. Бабушка сверкнула в мою сторону быстрыми черными глазками и проговорила:

— Вот он поедет.

Через полчаса я запрягал лошадь.

Батальон снова вполз в лес. Лошади тащили пушку, повозки со снарядами, патронами, с заболевшими. Остальные, включая командиров, шли сами. Огней не разводили. Пищу давали сухим пайком. Когда появлялись бомбардировщики, останавливались, замирали под деревьями, пережидая. Немцы летели всегда на большой высоте — бомбить Москву. Наших самолетов не появлялось. Через трое суток без всяких происшествий батальон вошел в Вязьму.

Я попросился остаться.

— Ничего не знаю, — ответил мне комвзвода, шедший всю дорогу рядом с моей повозкой. — Комбат сказал, поедешь обратно.

— Я писал Ворошилову, сказал я. — Я комсомолец.

— Слушай, Ворошилов, получай живо кашу и мотай! Мы выступаем, понимаешь? Выступаем. Кто тобой будет заниматься? Не теряй, парень, время.

Батальон уходил.

Через пару дней я добрался до своей деревни и сдал председателю лошадь.

— До Вязьмы шли, говоришь? — переспросил он. — До Вязьмы. А говорят, в Вязьме-то уж немцы.

Немцы в Вязьме! Ждать было нельзя. Я снова пошел в Дровнино и на товарняке, везшем разбитые машины, удачно добрался до Москвы. (Немцы в действительности взяли Вязьму только через два месяца.)

Дверь открыла Лиза.

— А мама? — спросил я.

— В больнице. Она, это, аборт сделала.

— Как?

— Отчима твоего на фронт проводила. Взяли на третий день. Ну, она и сотворила себе аборт — сама, они же запрещены, ты знаешь. Да плохо. Кровищи! Раз на раз не приходится. Говорят, улеглась надолго, чудо еще жива осталась.

Я и не знал о ребенке. Весной мать с отчимом спросили меня как-то, не хочу ли я брата или сестру. Я сказал: хочу. Отчим, наконец, нашел работу по себе — в архиве, с зарплатой 450 и с перспективой роста; жизнь начала налаживаться. Но когда грянула война и его мобилизовали, мать поняла: жизни больше не будет, и сделала выкидыш. Очевидно, слишком волновалась при этом.

Глава пятая
В войну

Итак, я жил пока один. Мне выдали продуктовые карточки, Петя подкинул немного денег. Его не мобилизовали — туберкулез. Я, конечно, стал снова проситься на фронт, но в военкомате ответили: жди, придет и твой черед, не волнуйся. Надо было зарабатывать на жизнь, и Петя привел меня на свой завод.

Завод им. Серго Орджоникидзе был, пожалуй, самым современным в то время советским станкозаводом. Меня поставили на очень удобный токарный ДИП («Догнать и перегнать» — Америку, конечно), который разрабатывали и выпускали там же.

Наркома тяжелой промышленности Орджоникидзе уже не было среди живых. Ходили слухи, что он то ли застрелился, то ли был застрелен, когда арестовали его родного брата. Жестокости самого Серго в годы гражданской войны еще не были, вероятно, забыты на Кавказе, но они, надо сказать, ничем особым не выделялись на фоне всеобщей страсти к насилию в те дни. Экое дело, если и расстрелял сколько надо врагов революции. Жалко людишек, конечно, но что попишешь, нужно «бить по головкам», как учил великий Ленин. Душа Серго, однако, не выдержала, когда в ту же мясорубку, по натуральной логике явлений, большевики начали кидать Друг друга.

Серго был когда-то популярен среди рабочих. Как все замечательные большевики он был замечательный демагог и прекрасный организатор военного типа. Лет за десять до войны дядя Петя, тогда еще очень молодой, с восхищением рассказывал, как нарком, окруженный простыми рабочими, материл и обещал поставить к стенке директора их завода за незаботу о людях. Теперь Петя был далеко не так прост. Ушла вера, что штык да пуля суть лучшие примочки от всех болезней, пришла ирония, хмурый скептицизм. Лозунгов он, правда, и раньше не выкрикивал, в партию и раньше не лез, и пользовался уважением своих друзей-рабочих именно за это. Ну и за то, конечно, что был мастер своего дела.

Он устроил меня учеником к своему лучшему другу и ученику Михаилу Осипову[2]. Михаил, токарь самого высокого разряда, был серьезный молодой русский парень с тонким и строгим скандинавским лицом. Неграмотный сперва, он по Петиному наущению закончил к началу войны вечернюю

семилетку. После пары месяцев приглядки к своему подмастерью Осипов подошел ко мне с удивительной идеей.

— Слушай. Наши союзники теперь не германские фашисты, а демократические страны, — без них нам Германию не победить. Это должно повлиять на наше послевоенное устройство. Я думаю, Советский Союз станет после войны более демократическим. Я уверен в этом.

— Но ведь у нас и так демократия, — возразил я. — Нет частной собственности, значит, нет классов. Нет классов, значит у власти весь народ. Власть народа — это и есть демократия.

— Ну-ну, — пробормотал Миша.

— Кто нами управляет, они не владеют ничем и потому никого не эксплуатируют, значит — защищают интересы только народа, — долбил я дальше, глуша собственные сомнения.

Миша помалкивал.

Он никогда не возвращался к этому разговору. Но я запомнил его навсегда.

А пока что было не до политических размышлений. Я пытался одновременно работать на заводе — исключительно ночными сменами — и заканчивать дневную школу, мой последний год перед университетом — и ужасно уставал. В эти ночные смены во время воздушных тревог, как только начинался вой сирен, я не бежал в бомбоубежище, а ложился сразу на стол или верстак. Звонко, как в сосновом лесу, били зенитки, веером рассыпались по крыше осколки, нудно, с биениями, ныли немецкие самолеты, ухали где-то недалеко фугаски — я засыпал мгновенно.

В октябре немцы прорвались к московским окраинам. Завод спешно эвакуировался. За двое суток мы демонтировали и погрузили станки на железнодорожные платформы, поставили двухэтажные нары и буржуйки для себя в телячьи вагоны, получили на дорогу муки из ближайших продскладов и эшелоны пошли на восток. Мать, только что выписанная из больницы, выехала вместе со мной. Петя решил эвакуироваться один: Лиза осталась с Вовкой, моим двоюродным братом, удерживать келью, чтоб она досталась Вовке, когда подрастет.

— Неизвестно еще, отдадут комнату или нет, когда вернемся из эвакуации, — объяснила Лиза. — Кусай потом локти всю жизнь да мыкайся по баракам. А пока я здесь, я ее не отдам, зубами вцеплюсь.

Зубы не помогли. Комнату у нее скоро отобрали.

Наши составы ползли еле-еле, простаивая сутками на узлах, на разъездах, иногда в открытом поле: то станция не принимает, то пути впереди разбомбили. Тысячи, тысячи и тысячи

километров. Урал. Западная Сибирь. Центральная Азия — Ташкент, Фрунзе… И наконец Токмак — конец света, конец железной дороги. Впереди громоздились невероятной высоты памирские вершины. Позади — два месяца пути. Немедленно мы выгрузили станки.

На следующий день немедленно погрузили их обратно. Здесь не было электроэнергии для такого большого завода. Кроме того, немцев от Москвы отбили и уже не было нужды загонять нас в такую отчаянную даль, к черту на кулички.

Тысячи километров обратно, через всю Среднюю Азию и Сибирь до города Нижний Тагил на Урале, эшелоны прошли без остановок за считанные дни. Еще через несколько дней, как только мы своими руками промыли и расставили оборудование и бетон застыл в фундаментах под станками, под открытом вначале небом, завод начал работать. Он был теперь маленькой частью гигантского комплекса по производству знаменитых танков Т-34.

Станки крутились, декабрьский пушистый снег падал на головы. Отработав четырнадцать-шестнадцать часов, мы, не раздеваясь, ложились спать на раскладушках в конторе начальника цеха. Никто — ни рабочие, ни инженеры — в эти первые месяцы завода не покидали.

В Тагиле мы были без Пети, его оставили в Новосибирске налаживать фрезерные станки на новом авиационном заводе. Мать устроилась на заводе машинисткой. Нас поселили в только что отрытой землянке вместе с парой молодоженов-рабочих и одним холостяком, наладчиком фрезерных автоматов. Земляной пол тремя ступеньками ниже улицы, маленькое оконце, гвозди вместо вешалок, табуретки (стол не умещался), четыре деревянных топчана, под топчанами чемоданы — все имущество. Небольшая буржуйка посередке, дрова на улице за дверью. Стены зимой покрывались инеем на полпальца, весной и осенью крупными каплями росы, но заливать нас не заливало ни весной, ни осенью. Соседей раз залило, чемоданы и табуретки плавали меж топчанами.

Снаружи было довольно неприветливо. Конечно, Нижний Тагил был по-своему прелестный город, хоть и промышленный, как все города Урала. Солидные, крепко сбитые деревянные дома с крытыми дворами — не для скота, а для самих себя; высокие заборы и плотные запоры от людей пришлых и гулящих; чистые старинные улицы. Могучие леса вокруг. Но я почти ничего этого не видел на долгом пути от землянки до завода — только тяжелое глиняное месиво, из которого с хлюпом и треском выдирались башмаки на деревянной подошве с матерчатым

верхом.

Трудились теперь по двенадцать часов в день (без выходных и отпусков) за исключением еженедельных пересменок, когда работали восемнадцать, затем отдыхали восемнадцать часов, и выходили в другую смену. Мое обычное сменное задание было обточить 120 штоков, державших пружины танковых подвесок. Времени не оставалось даже на чтение и о всех прежних планах — школа, философия — пришлось забыть. Точить мне нравилось; гипнотизирующий, опьяняющий ритм, когда резец идет стремительно и гладко, стружка вьется красивой струей, и ты находишь радость в работе за пределами своих физических сил. Скоро к моим обычным занятиям мне добавили обязанности наладчика.

Все трудились старательно. Иначе, правда, невозможно, когда завод на военном положении, но я был уверен, хотя ни у кого не было ни времени, ни желания обсуждать чувства, что другие ощущали то же, что и я — Толстой называл это «скрытой теплотой патриотизма», — даже те, у кого не было решительно никаких оснований любить советскую власть. Как тому наладчику, которого отправили в лагерь на два года за опоздание на работу на полчаса. Или другому, чью большую крестьянскую семью пустили в распыл во время коллективизации. Их ужасные истории, рассказанные с ужасным спокойствием, произвели на меня ужасное впечатление. И все же они не поколебали моего решения отложить все политические сомнения на потом, до конца войны.

Что мне не удавалось отложить на потом, это постоянное желание спать и есть, есть и спать. После смены я заваливался прямо на стружку позади своего станка, или проходил в кузнечный цех, где потеплее, и спал там в углу на полу под оглушающий аккомпанемент молотов. На больших молотах работали по-двое. Мужчины ворочали раскаленные заготовки, женщины или мальчишки из профтехучилища управляли рычагами. Поворот рычага — бум! Еще поворот — бум! Я спал, а проснувшись, думал о еде.

Нельзя сказать, что рабочих не старались поддерживать. Мы получали 800 граммов черного хлеба в день и трехразовую кормежку по карточкам. Это была почти исключительно «затируха», жидкий суп из поджаренной муки. При нашей нагрузке это было все равно, что держать слона на мышином рационе. Дети и прочие иждивенцы получали в два раза меньше. Подростки из профучилища, которых на заводе работало много, всегда голодали и, вот, один пятнадцатилетний парнишка наладился подделывать хлебные талоны. «Не для себя, для

всех», — как он потом объяснял. Так ребята подкармливались долго, пока его не поймали. В цеху устроили показательный суд и мальчишке дали семь лет колонии строгого режима. Он признался в подделках, но твердо забыл, кому точно давал свои талоны.

К лету 42-го все начали ощущать голод. Появились «доходяги», как мы их называли, которые собирали жалкие остатки из чужих мисок. Другие меняли свои месячные хлебные карточки на любое количество «живого» хлеба, чтобы наесться сегодня, сейчас, сию минуту У таких сорвавшихся мастера стали отбирать карточки и выдавать талоны на хлеб частями, по три раза в день. Я до такого не дошел. Я дошел до худшего.

Было какое-то проклятие: у меня постоянно терялись хлебные карточки, или, может, их воровали. Однажды, обернувшись, я увидел, как Ваня, наладчик, поднял только что выпавшие у меня карточки.

— Давай! — сказал я.

— Что давай?

— Что поднял, то и отдай.

— Ты что ох… ел? — спросил Ваня. — Хочешь, обыщи?

Он смотрел на меня честными, осуждающими глазами. Я решил, что мне почудилось.

В следующий месяц я опять потерял карточки. И в следующий — снова. Так подряд, чтобы третий месяц без хлеба, — такого у меня еще не было. Зарплата моя была уже не маленькая, рублей восемьсот, но часть уходила на оплату столовой, часть на одежду и на обувь, которая прямо-таки горела, оставалось всего-ничего, а буханка хлеба стоила на рынке сто рублей. Матери я о своих потерях не сообщал.

Так, однажды, слишком теперь голодный, чтоб спать каждую свободную минуту, я бродил по рынку в надежде украсть чего-нибудь съестного. Если вот возьму тот кусок и побегу — догонят? Нет? Поймают, уж очень много народа кругом. А если схватить что-нибудь у самого края базара и бежать в ту сторону?..

Но в милицейской будке сидела овчарка. Время от времени милиция устраивала облавы, и собаки были наготове. Овчарка догонит.

Я поплелся в магазин. На прилавке лежал кусок хлеба, неосторожно забытый продавщицей. Маленький, но это ведь как раз то, что надо. Я схватил кусок, выскочил из магазина и побежал по улице, жуя и заглатывая на бегу. Это было обдумано заранее: я его съем, пока гонятся, а там пусть делают, что хотят.

Но никто не гнался. Я добежал до дровяных складов и сел на бревно…

Итак — вор. Пошел, братец, под откос. Давно ли мечтал о философии? С продавщицы спросят, свой хлеб отдаст… Да нет, продавщицы всегда обвешивают, у них лишнего хлеба навалом. А если эта не обвешивает? И у нее, например, дети? Да ведь так и так — ты теперь вор. Я был совершенно подавлен этим словом вор, о котором не вспоминал, разрабатывая свои проекты.

Стоя у станка несколькими часами позже, в полудремоте, я горестно обдумывал свою жизнь. На шее болтался длинный шарф — единственный раз я забыл скинуть его перед работой. Мысли путались, я заснул стоя. Шарф зацепился за вращающуюся деталь, меня рвануло вниз и начало душить. Но в то же мгновение Ваня прыгнул к моему станку и ломом сорвал шкив — мотор закрутился вхолостую. Я ничего не сказал Ване и он ничего не сказал, мы посмотрели друг на друга и начали снова работать.

В ту осень не везло. После одной ночной смены мне показалось, что у меня температура. Побежал в поликлинику — может, дадут освобождение на пару дней.

— Сорок и семь десятых, — проговорила сестра. — Девочки, отведите его.

Две миловидных санитарки подхватили меня под руки и повели в больницу. Я пробыл там месяц — тиф.

Выйдя из больницы, я решил сделать все, чтобы уйти на фронт. Вначале записался на курсы танкистов и затем попросил в военкомате на этом основании призывную повестку. У меня, однако, спросили паспорт. Я показал заводской пропуск: паспорта у нас были отобраны и лежали в отделе кадров.

— Но ты же знаешь, мы не имеем права брать с танкового завода.

— Да дайте повестку-то, может поможет.

Они дали.

— Вот повестка, — сказал я начальнику цеха. — Меня призывают.

— Призывают?

Он засмеялся, аккуратно разорвал повестку и бросил в мусорную корзину.

— Вы, между прочим, назначаетесь бригадиром. Чего тебе, Орлов, не работается? Ты на хорошем счету.

— Люди на фронте.

— Люди? А здесь — не люди? Сорок танков в день — не люди? Только ты человек?

— Люди.

Наконец, осенью 1943 я нашел лазейку. Да и начальника цеха я довел до ручки своими просьбами. Уральским заводам были нужны металлурги, и, как писалось в объявлении, любой завод

обязан был работника, принятого в Горно-металлургический техникум, отпустить. Завод отпустил меня вместе с паспортом, я был принят в техникум, и наконец в апреле 1944 меня призвали в армию по моему желанию.

— Ты у меня, брат, даровой, — сказал военком. — Необязательный. У меня в данный момент заявка из артиллерийского училища, а призывников таких нет. Пойди, пожалуйста, не пожалеешь. А не пойдешь, я тебя все равно направлю.

Это было не то, что я хотел, но меня направили в Смоленское артучилище. Смоленск был разбомблен и училище располагалось за тысячи километров от него, в городе Ирбит, не очень далеко от Нижнего Тагила.

По сравнению с заводской курсантская жизнь, как там ни гоняли офицеры, была раем. Я был старателен, пытался изобретать, как и раньше на заводе. Предложил снаряд с маленькими, увеличивающимися в полете крыльями; вместо винтовой нарезки в орудийном стволе должны были быть прямые каналы для крыльев и хвоста. Начальству понравилось, но мне объяснили, что преимущества заранее неясны, а на ходу войны начинать исследования невозможно. Это было верно.

За занятиями не оставалось времени выйти за ворота училища. Город я обозревал только из окон. Боковое окно выходило на приют для маленьких детей — калек войны. На микроскопическом маленьком дворике бледные и ужасно худые малыши, кто без рук, кто без ног, сидели совершенно молча, каждый сам по себе, и, не глядя по сторонам, играли пылью. Было видно, что персонал разворовывает предназначенную им еду. Я показал на жуткий дворик командиру взвода.

— Бесполезно, — ответил он. — Меняли, говорят, нянек — и все одно воруют. Война.

Через год, в апреле 1945, в звании младшего лейтенанта и с билетом кандидата партии в кармане, я прибыл на 1-й Украинский фронт. Оказалось, меня зачислили в отдельный артполк РГК — резерва главного командования. Как командир взвода управления я сидел с командиром батареи на его командном пункте недалеко от Праги и видел только далекие разрывы снарядов наших 122-миллиметровых гаубиц. Не знаю, убил ли я хоть одного вражеского солдата.

Через пару недель война кончилась. Живые могли начинать новую жизнь.

Мне был почти двадцать один год. Все четыре года войны я пытался попасть на фронт, но вместо этого проработал три года на танковом заводе и провел еще один год в артучилище. Четыре

года — ни реального фронта, ни образования, ни даже серьезной книги в руках. А теперь, став офицером, я должен бессмысленно тянуть военную лямку бог знает сколько лет.

До середины мая 1945 наш полк располагался возле большой фермы за Прагой. (Было горестно видеть, как разительно отличалась эта процветающая ферма от наших жалких колхозов.) Затем нас перевели в Венгрию. Везде от Праги до венгерской границы огромные толпы народа выстраивались по обеим сторонам дорог, дети и женщины закидывали наши «студебеккеры» цветами, и крики «Наздар!» сопровождали нас на всем пути. Чехи любили нас в те дни.

В Венгрии, которая воевала на стороне Германии, никто нас, конечно, не приветствовал. Но и враждебности не было. Война кончилась. Мы расположились вблизи миниатюрного городка Печ, где я в первый и в последний раз за свою советскую жизнь наблюдал почти свободные выборы. На стенках висели плакаты не одной, а двух партий, — партии мелких сельских хозяев, которая затем победила, и партии коммунистов. Никто из нас, однако, не выражал изумления при виде столь невероятного спектакля, а я так даже и не чувствовал изумления. Внутри каждого из нас сидел сторож, державший наше сознание очень далеко от запретной черты.

Офицерская жизнь была однообразна: стрельбы, занятия с солдатами, офицерские занятия, политзанятия (речи Сталина в основном) — с утра до ночи. Солдаты должны быть непрерывно заняты — таково армейское правило. Если нет никаких занятий и все пуговицы вычищены до блеска, пусть собирают шишки в лесу. Я пробовал возражать против шишек, но в то время многие офицеры сильно увлекались идеей возрождения традиций старой русской имперской армии. Согласно полковым теоретикам, решающая фигура войны есть офицер, тогда как солдат — лишь материал войны. В чисто экспериментальном порядке один командир батареи даже выдал своему солдату по морде, чтоб был расторопнее. Это вызвало большие дебаты среди офицеров.

Здесь, за границей, я не слышал среди них серьезных политических разговоров. Дискуссии велись вокруг военных дел и, конечно, вокруг женщин. Женщины были на самом деле нешуточной проблемой вдали от родного окружения.

Меня спасла только моя недоразвитость. Получив однажды отпуск в город, мы сидели с одним лейтенантом в кафе и пили пиво, которого я еще совсем не любил, когда он вдруг свистнул. Я оглянулся поискать собаку, но собаки не было, а подошла полная приятная женщина лет тридцати, и они с лейтенантом молча вышли. Довольно скоро вернулись, и товарищ предложил мне, не

хочешь ли, мол, и, ты.

— Хочу — чего? — спросил я, не сразу точно сообразив, в чем задача.

— Да ладно притворяться, идешь, нет?

Признаваться в необразованности было стыдно, я встал из-за стола и позволил женщине себя увести. Что произошло дальше, лучше не описывать. Я сбежал, увидев как деловито она готовится к работе. Я заплатил, но она была очевидно расстроена.

— Порядок? — спросил товарищ.

Я кивнул. Позже он обнаружил, что заразился гонореей.

Несколько наших офицеров ее уже имели. Солдатам жилось намного лучше. В город их не пускали, зато они ходили по ночам в самоволки к здоровым и любящим деревенским женщинам. Иногда кто-нибудь попадался, садился на губу, и тогда наступала масленица и для него и для его приятелей: мадьярская подруга носила сало, белый хлеб и виноград чудовищными корзинами.

Моя собственная жизнь была скучной — ни подруг, ни интересных разговоров, только что советские газеты. Но однажды каким-то чудом в офицерской столовой появилась пара номеров «Британского союзника». Там были две поразительных статьи американских ученых.

Первая — «Почему я покинул Советский Союз?» Георгия Гамова, чье имя мне было незнакомо. (Фактически его было запрещено упоминать.) Оказалось, это известный советский физик. В начале тридцатых он прочел в Ленинграде лекцию о будущем атомной энергии и о необходимости построить ускоритель частиц. После лекции, как писал Гамов, к нему подошел Николай Бухарин, ответственный в то время за развитие наук, и предложил использовать всю избыточную энергию ночного Ленинграда для научных исследований.

Они стали друзьями. Положение Бухарина, однако, быстро становилось все более неустойчивым. Гамов почувствовал, что земля горит и под его ногами. Надо бежать, и чем раньше, тем лучше. В 1933 он получил разрешение на поездку за границу с женой — и не вернулся. Бухарин был арестован в 1937 и расстрелян в 1938.

В другой статье генетик Герман Меллер описывал сходную историю. После знаменитого антидарвинистского «обезьяньего процесса» в США в двадцатые годы Меллер смотрел на Россию, как на страну, наиболее свободную от религиозного фанатизма. В 1933 он покинул Америку, чтобы жить в России и работать вместе с Николаем Вавиловым, лидером советской биологии. Но в 1936 в СССР начали громить генетику под знаменами антирелигиозного фанатизма. Меллер выехал из Советского Союза, а затем решил

не возвращаться. Еще через десять лет он получил Нобелевскую премию за открытие «танца хромосом». Николай же Вавилов был в 1940 арестован и умер в тюрьме.

Что же это за дьявольское государство — моя страна!

Глава шестая
Кружок офицеров

— Вы нас предали! — кричала старая полька. — Вы не наступали под Варшавой, пока немцы не раздавили наше восстание! Вы расстреляли польских офицеров в Катыни!

Наш полк перекидывали по железной дороге из Венгрии на Северный Кавказ; в этот момент мы ждали зеленого света на какой-то польской станции; на встречном пути стоял эшелон с поляками из Львова. Поляков депортировали в Польшу из тех территорий, которые были захвачены Сталиным в 1939.

— Вы убили их в сороковом году! — крикнула она снова.

Хотя в наших газетах писалось, что четыре тысячи пленных поляков были расстреляны в Катыни в 41-м году немцами, и хотя советские медицинские эксперты, включая академиков, в компании с лучшим писателем страны Алексеем Толстым, подтвердили этот факт, я немедленно поверил старой польке. Это было похоже на нас. После того, что мне рассказал наш связист о коллективизации, после всего моего собственного жизненного опыта, для меня уже не существовало таких преступлений нашего режима, в которые нельзя было бы поверить. Ничто уже не шокировало меня.

Когда мы въехали в советскую Западную Украину наш состав обстреляли из пулеметов бендеровцы. Я еще до войны слышал, что западные украинцы ненавидели Советы за коллективизацию. Никто от обстрела не пострадал. На следующей большой станции командир полка запросил начальство, не развернуть ли пушки против «бандитов». Нет, приказали, продолжайте движение. Составы с пушками и автомашинами на платформах катились дальше на восток. Сидя дежурным на крыше вагона, я с грустью глядел на заброшенные поля, разрушенные города, временные бараки вместо станций со злыми толпами вокруг кранов с кипятком.

Но я был счастлив вернуться домой.

Было начало 1946 года. Мы расположились на окраине Моздока, небольшого городка на берегу широко несущегося Терека, которого я помнил по Пушкину: «Дробясь о мрачные скалы, шумят и пенятся валы». Валы, верно, шумели и пенились, но скал не было никаких; здесь шла Моздокская степь. Сразу, как только началась регулярная служба, я начал урывать время для занятий. Надо было срочно залатывать зияющий пятилетний провал в образовании. Я разыскал городскую библиотеку с

множеством учебников и поступил в московский заочный индустриальный институт, чтобы изучать высшую математику и физику частично по его программе. И одновременно вернулся к вопросу, который отодвигал от себя так долго: «Какого же типа общество мы имеем?»

Теперь, очутившись на родной земле, наши офицеры и сержанты обернулись куда более думающими людьми, чем это представлялось за границей. Впервые за свои двадцать два года я был свидетелем очень серьезных политических разговоров. Было удивительно наблюдать, как белобрысый сержант в окружении человек двадцати доказывал, что нельзя все победы приписывать Сталину — Победил народ, — говорил он. — Это мы, а не Сталин.

Разумеется, это была тривиальная мысль. Но не для того времени! И абсолютно нетривиально было то, что никто не донес на сержанта, иначе бы мы этого победителя больше не увидели. В тех сталинских условиях почти невозможно было надеяться, что никто на тебя не донесет и что госбезопасность не раздует затем чудовищное дело.

Однажды в офицерской столовой зашел разговор о сталинской конституции.

— Конституция — проституция! — срифмовал начальник штаба капитан Танин.

На другой день всех офицеров вызывали по одному на расследование. Меня, самого молодого в полку, вызвали первым. На двух стульях посреди совершенно пустой комнаты сидели замполит и особист. По удачному совпадению, у обоих из мундиров высовывались не лица, а умытые свиные рыла. Слышал ли я, спросил один, что говорил в столовой начальник штаба?

— Слышал.

— Слышал! — воскликнули рылы хором.

— Что слышал? Как оцениваешь?

— Да ведь это говорилось о французской конституции. И о проституции французской.

— Откуда знаешь? — спросил замполит.

— Ну, как откуда? В Советском Союзе и проституции-то нет. А вам самому, вам разве это неизвестно?

Наступило молчание. Пришел их черед оценивать. Люди они были тертые. Кто его знает, Орлова. Прикидывается дурачком. А сам напишет кому следует, что, мол, замполиту пришло в голову, будто в СССР существует проституция. И что, мол, никто иной как сам замполит начал увязывать Сталинскую Конституцию со страшно вымолвить чем. Свяжешься — не развяжешься.

— Идите, Орлов.

После меня офицеры один за другим выдали такую же лапшу.

Последствий доноса не последовало.

Офицеры стали доверять мне. Трое-четверо из нас начали прогуливаться в степь, подальше от длинных ушей. Все были партийными, я был кандидатом в члены партии, но у каждого было свое независимое мнение. Мнения наши были несколько радикальными.

— Две вещи нас е… ут в России, — говорил капитан, оглядывая степь дерзкими светлыми глазами[3]. Вокруг позванивал ковыль, посвистывали невидимые перепелки: спать пора! спать пора!

— Две вещи. Первое — центральный план. Второе — «нерушимый блок коммунистов и беспартийных». Кто подписывал от беспартийных согласие на такой блок?

— И кто видел текст соглашения? — добавил я.

Мы рассмеялись нелепости предположения о наличии соглашения. Сказано только: «нерушимый блок», а суть происходящего пусть каждый отгадывает сам.

— Суть в диктатуре партии, — сказал капитан.

Два главных политических требования были ясны нам уже летом 1946 года: отказаться от центрального планирования и однопартийной системы. Тем не менее социализм был исходным постулатом наших обсуждений, по крайней мере для меня. Социализм — но не коммунизм. Я неожиданно осознал: я не понимаю, что такое будущий коммунизм, и понять это вообще невозможно.

— Нам дают, — говорил я, — только лозунг «Коммунизм — от каждого по способностям, каждому по потребностям». И ничего больше. Но это абсурд — строить новую систему, не зная о ней ничего, кроме лозунга в одну строку. Это смешно.

— И кто будет подписывать постановления о наших потребностях? — продолжал я. — Что тебе, к примеру, пора выдавать мясо, а твоему соседу можно посидеть пока на диете — на всех мяса не напасешься. Или что сосед нуждается в отдельной комнате, а ты такой потребности не испытываешь — поживи в бараке. Кто будет решать? Милиция? Профсоюз? Заморозить потребности и запретить изобретать новые, вот что требует коммунизм!

Я перевел дыхание.

— Да, пора спать, — сказал старший лейтенант Комиссаров.

Мы повернули к военному городку, чтобы присутствовать при отбое.

Мне с удивлением вспоминаются сейчас те разговоры 1946 года. Я никогда не участвовал в таких смелых дискуссиях ни до, ни после, вплоть до 1956 года. Почему мы не боялись друг

друга?! Возможно мы чувствовали раскованность потому, что это был неопределенный период армейских переформирований и демобилизаций. Глаза государственной безопасности в армии на короткий момент чуточку закосили. Теперь известно, что чекисты были заняты «профилактикой», то есть перемещением из нацистских лагерей в советские сотен и сотен тысяч советских солдат, бывших в плену у немцев. Кроме того, в целом органы работали бесшумно — люди и семьи как бы растворялись в воздухе, и было иногда трудно почувствовать реальные масштабы опасности. Так или иначе, мы доверяли друг другу.

Наши прогулки в степь продолжались все лето. В этих дискуссиях пришли в какую-то систему мои взгляды и мой жизненный опыт.

— Наше общество — не диктатура пролетариата, а диктатура бюрократии, — формулировал я. — Рабочие фактически бесправны. Жратвы нет, жилья нет. Их право только работать и ждать, когда начальство разрешит свои бесконечные «объективные трудности». Энгельс писал: «Если рабочие придут к власти, им нужно будет защищать себя от произвола собственных чиновников».

Я все еще искал у «классиков марксизма» подтверждений своим идеям. Классиков мои друзья уважали, но больше полагались на опыт и здравый смысл. Я хотел реорганизовать общество на основе энгельсовской идеи индустриально-аграрных единиц. Заводские рабочие будут помогать деревенским техникой, а летом также в поле, а деревенские рабочие будут оказывать заводу помощь зимой. Далее, так как по Марксу и Энгельсу для радикальной социальной перестройки нет иных путей, кроме насилия, то в мои планы входила организация революционной партии.

Во всех этих проектах предполагалось полное отсутствие бюрократии. Рабочие решали проблемы голосованием.

— Это х… ня, — заключил капитан.

В свободное время я продолжал заниматься в городской библиотеке, но теперь чаще смотрел на библиотекаршу, чем в «Феноменологию духа». Наконец, я пригласил ее прогуляться на открытом воздухе. Мы сидели рядом в двухместном «кукурузнике», пилот — впереди, горы и долины — внизу, облака — вверху, ветер — в ушах. Самолет болтало, наши руки свешивались за борт, привязных ремней не существовало, и, казалось, один хороший крен — и мы вывалимся. Но Соня была невозмутима. Ее красивое осетинское, слегка рябое, ястребиное лицо было спокойно, как если бы она сидела в библиотеке, а не в этой тарахтелке без ремней. Мы начали просиживать долгие

вечера на крыльце ее дома.

В доме жила также ее старшая сестра с ребенком.

— Мужа убили? — спросил я как-то, имея в виду — на войне.

— Ее муж чеченец.

— Ну и что, чеченец?

— Хотя он был партийный работник.

— О чем ты говоришь?

— Ты не знаешь?

Я не знал.

— Два года назад всех чеченцев забрали в одну ночь и увезли куда-то. Детей чеченцев тоже увозили, но сестра — осетинка, ей разрешили оставить дочку здесь. Отца у дочери теперь нет.

— За что?

— Сказали, чеченцы сотрудничали с немцами. Ее муж не сотрудничал!

— И дети сотрудничали?

— Ее муж не сотрудничал, — повторила она. И замолчала на этот вечер.

Гром грянул в сентябре.

— Младший лейтенант, вы должны явиться сегодня в восемь вечера в особый отдел дивизии.

Особый отдел! Что им надо? Узнали о наших разговорах? Как?

Я немедленно отпросился со службы и стал сжигать все свои рукописи, все проекты, все, включая цитаты из классиков марксизма. Эти цитаты поддерживали мои собственные идеи, но определенно не официальные советские. Как, впрочем, и не другие идеи тех же классиков. В их писаниях была куча противоречий. Жили классики давно и писали свободно и плодовито, не боясь следователей и тюрем того будущего строя, за который боролись. У меня еще не было милых встреч с чекистами, но я чувствовал кожей: ни Маркс, ни Ленин не спасут меня. Я жег все подряд, переводя классиков марксизма в дым и пепел. Толстые тетради горели плохо, вокруг хлопотали детишки, давая мне советы на четырех языках сразу. (Я снимал комнату в армянской семье, побывавшей под немецкой оккупацией, на территории Осетии, входившей в состав России.) Наконец все сгорело. «Ну, это прошло благополучно, — подумал я. — Классики истлели».

В особом отделе дивизии вели беседу три одинаковолицых офицера.

— Вы кандидат партии?

— Да.

— Как патриот и молодой коммунист вы обязаны помочь

нам.

— Да. Понятно. А что — помочь?

— Да нет, это, собственно, ваш обычный доят. Сами знаете, империалистические разведки действуют все более нагло. Не секрет, что в нашу армию засылают шпионов. И вербуют шпионов. Из морально разложившихся, политически неустойчивых личностей.

Они посмотрели на меня испытующе, не разложился ли я морально-политически.

— Из морально разложившихся, политически неустойчивых. Такие могут оказаться и в вашем полку. У вас офицеры, вот хоть за вашим столом в столовой, ведут разговоры о делах службы очень свободно. Нечаянно проговорятся о вещах секретных. В армии все секретно. Мы должны вовремя пресекать. Если надо — пресекать решительно. Понимаете?

— Понимаю.

— И?

— Да. Понимаю. А что — и?

Я лихорадочно соображал. Знают или не знают? Почему говорят о нашем столе? Это же как раз наша компания. Или только подозревают? Надо продолжать разговор. Может быть пойму что-нибудь. Надо понять.

— Да… И — что? — спросил я еще раз.

— Что? Просто записывайте все, что услышите, и на следующий день передавайте вашему начальнику спецотдела. Только не в полку садитесь писать! Дома, чтобы никто не видел.

— Да… А что… что записывать?

— Все! Все. Мы сами разберемся.

— Но… иногда… говорят о бабах…

— О бабах не пишите. Впрочем, смотря какая баба. Ха-ха. Запоминайте имена.

— Имена? Ага. И?

— Записывайте и передавайте в спецотдел.

— Понятно. Но… или вот о погоде…

— Младший лейтенант, что это вы? Вы же грамотный офицер! Соображайте сами. Да — выберите фамилию.

— Фамилию?

— Фамилию. Своей фамилией не подписывайтесь.

— Фамилию. Какую?

— Это неважно. Любую, лишь бы не вашу.

— Хорошо. Нотов.

Это была фамилия агента царской охранки из одного детектива.

— Нотов. Прекрасно. Подпишитесь.

— Подписать?? Что… подписать?

— Пока ничего. Мы с вами еще встретимся. Сейчас вы пока обязуетесь не разглашать содержание и сам факт нашей с вами беседы.

Я посмотрел. Там было только о неразглашении. Я подписал.

Всю ночь я обдумывал «беседу». Знают? Нет? И вывел, что не знают ничего, кроме того, что мы друзья и любим поболтать. Иначе был бы не тот тон «беседы». Они бы не сказали «соображайте сами». Они бы припугнули, что знают, мол, кое-что, чтобы прижать к стене и заставить подписать бумагу о сотрудничестве сразу же. Нет, они постарались бы не дать мне никакого ходу. Все ясно. Говорить с ними больше не о чем.

Утром я сказал полковому особисту:

— Знаете, я не смогу доносить на товарищей, характер не позволяет.

— Как? А вы понимаете, что это вам даром не пройдет?

Я пожал плечами. Все спрашивают, понимаю ли я. Я понимаю. Через час он повел меня к офицеру из особого отдела округа.

Это был довольно старообразной наружности молодой человек. Разговор шел один на один.

— Я не могу следить за товарищами, — сказал я. Я хотел сказать «шпионить», но вовремя спохватился: шпионы не у нас, у империалистов. У нас разведчики и патриоты.

— Это невозможно, — продолжал я. — Нехорошо. Неприятно.

— Я это понимаю, — возразил он. — И мне это неприятно. Но вы же понимаете, что без контроля нельзя? Иностранный шпионаж. Секреты.

— Я понимаю. Но ведь вы следите не только за этим. Можете арестовать просто за…

Он быстро взглянул на меня, я осекся. Идиот, что я говорю!

— А за чем еще мы следим? За что арестовываем?

— Ну, не только же за секреты. У вас разная работа.

— Какая работа?

Я молчал. Зачем я повернул направление разговора? Как начинающий велосипедист сворачивает на фонарный столб.

— Не бойтесь, — сказал он. — Вы не бойтесь. Мы одни. Скажите прямо, что вы думаете о нас?

Я все молчал.

— Что вы думаете о нас? Почему вы думаете, что у нас как в гестапо?

Я вздрогнул. Он сравнил их с гестапо! Я — никогда еще не думал о таком сравнении.

— Гестапо?

Теперь он замолчал. Внимательными серыми глазами уставился на меня в упор. Злобы не было в этом взгляде. Далеконько мы зашли в нашем разговоре. Далеко.

— Н-ну, — сказал он наконец, — идите.

Никаких немедленных последствий разговора не возникло. Полк переформировали, и я этих чекистов больше не видел, хотя долго еще ожидал обещанных неприятностей. Я планировал уйти из армии, сдать экзамены в школу и поступить в университет; теперь обдумывал альтернативы. Если не примут в университет, рассуждал я, если не дадут заниматься наукой, то разыщу подпольные кружки, о которых сказал сержант — не тот, что говорил о Сталине, другой сержант. Что-то показалось во мне любопытным для него, он подошел и мы разговорились.

— Вы хотите пойти в науку? — спросил он.

Я подтвердил.

— Я до войны был научным сотрудником. А чем вы собираетесь заниматься?

— Еще месяц назад хотел быть философом. (Сержант усмехнулся.) Читал Гегеля, Бэкона. А потом понял, что как устроена природа, философия не объяснит. Поэтому решил заняться физикой, решаю вот задачки. Философы только дают различные идеи. Но это еще не наука.

— А марксизм?

— Марксизм — это тоже не наука.

— Молодец, — сказал он.

Мы пошли вдоль полкового городка.

— Вернусь в тот же институт, где работал до войны, — говорил он. — И что я знаю — что в академии действуют подпольные теоретические кружки.

Кружки! Мне не надо было объяснять, какие кружки. Политические. Я тоже войду в кружок. Мы разработаем программу переустройства общества! Мы… — я раскричался. Сержант смотрел на меня задумчиво. Я остановился. Осмотрелся. Мы проходили как раз под открытыми окнами спецотдела.

Больше он ко мне не подходил.

Я подал на увольнение из армии для продолжения образования. В ноябре 1946 года меня демобилизовали, и я отправился домой.

Глава седьмая
Туман под потолком

Мы потеряли свою келью.

Нашу коммунальную квартиру занял завод, и мать, вернувшуюся из эвакуации, поселили в пристроечке, которая прежде была чуланом. Когда я вошел, то по правую руку увидел кровать, занимавшую в длину всю комнату от двери до окна. В конце прохода шириной сантиметров тридцать между кроватью и левой стеной стояла под окном тумбочка. Вот и все что там было. Спать, подумал я, придется нам с матерью на одной кровати, валетом. Было тепло, но стены и потолок, высотою метра полтора, были покрыты каплями влаги. Можно писать на них романы пальцем, думал я. В тумане под потолком светилась электрическая лампочка.

Наши новости мы знали из писем друг другу, но хотелось все снова обговорить. Пришло подтверждение, что мой отчим погиб на фронте в 1942 году. Дядя Петя, как только вернулся из сибирской эвакуации, слег и через два месяца скончался от туберкулеза. Его жену Лизу с сыном выселили из их кельи еще раньше. Но она устроилась неплохо, работала в каком-то общежитии и имела от общежития комнату. О бабушке ничего не было слышно. У самой же матери было плохо с сердцем. И зубы выпали все до единого еще в последний год войны.

— Куснешь хлеб, — вспомнила она, — а в хлебе зуб застрял. Два зуба даже проглотила.

Она улыбнулась беззубым ртом.

— Скоро протез сделают.

Матери было тридцать семь.

— Я теперь в Бога верю, — сказала она, когда мы улеглись голова в ноги. — В церковь хожу. Только вот молитвы забыла. Девочкой помнила, да когда это было — и было ли?.. Может та девочка умерла, а ее душа в меня переселилась? Как ты думаешь, это возможно?…Помню, отец брал меня на рыбную ловлю на реку Чусовую. Все берега в малине. Хариусов ловили. Ах, какая вкусная рыба!.. А мать — я не рассказывала тебе? — ходила в Персию за персидскими тканями. Доплывет с отцом до Каспия (он ведь механиком был на пароходе), а дальше без него, на лодке, ночью. У тебя, значит, одна бабка знахарка была, а другая контрабандистка.

Она вдруг рассмеялась прежним своим молодым смехом.

— Обмотается персидскими тканями и так под платьем

довезет товар до дому.

— …Ты не спишь? Знаешь, жилье можно было бы получить. Я разговаривала с Васей. Твой двоюродный брат Вася — не забыл? тети Зины сын — после демобилизации устроился в милицию. Он о тебе уже закидывал удочку — возьмут. Туда без блата попасть трудно, они больше любят иногородних. Комнату сразу дают и на улучшение жилищных условий очередь всего четыре года.

— Мам, в милицию я не могу. Мне надо идти в университет.

— Дурачок, оттуда легче поступить куда хочешь. Как дадут квартиру так сразу и уйдешь. Обещают, что у тебя будет полно времени на заочное учение.

— Мне надо гораздо больше времени. Вечерний институт это не образование. Я уж потерял больше пяти лет. Да и в милиции работать противно.

— Да ты не будешь милиционером на улице. Будешь сидеть за столом.

— Нет, не хочу.

Она не настаивала.

Я фактически убил ее своим отказом. У нее не было ни здорового жилья, ни здоровой пищи уже до конца ее недлинной жизни. Такова цена моего образования.

Экзамены в университет начинались в июле, а перед тем мне предстояло еще сдать за среднюю школу. Оставалось семь месяцев. Я устроился кочегаром на той же фабрике в Донском монастыре, где раньше работала и опять начала работать машинисткой моя мать. Токарем я бы больше зарабатывал, но у меня было бы меньше времени и сил для занятий. Кочегаром же я дежурил сутки, а затем двое суток был свободен. Работа занимала немного времени: подкинешь уголь раз в час, выгребешь золу из печи, повытаскиваешь ведрами шпак из своего подвала наверх, на фабричный двор, снова подкинешь — и возвращаешься к своим учебникам. Никто не мешает, читай физику и решай уравнения двадцать четыре часа, сидя в полумраке на своей куче угля. Чтобы сжечь за собой мосты, я объявил всем, что повешусь, если не сдам экзамены в университет.

Сдав весной за среднюю школу экстерном, я немедленно начал подготовку к экзаменам на физико-технический факультет университета. В это время печи на фабрике потушили и меня перевели в чернорабочие, а это значило работать каждый день и на людях. Я уже собрался увольняться, как появилась возможность повидать бабушку, если только она была жива: на фабрике снарядили автомашину для закупки картошки в деревнях — кое-кому из работниц, но в основном начальству — для еды, для посадки, если был огород. Шофер настоял, что за

хорошей дешевой картошкой надо ехать на запад, километров 150 по Минскому шоссе. Получалось как раз недалеко от моих краев. Я вызвался помогать шоферу.

Мы уже ехали обратно с полной машиной картошки, уложенной в мешки, когда шофер сказал:

— Слышь, у меня тут маруха недалече, завернем? Маруха — во! Напоит, накормит и спать с собой уложит. Она меня любит. Мущины нонче нарасхват, я ей дороже золота.

Я кивнул, и мы подъехали к зажиточного вида дому на железнодорожной станции. Маруха обернулась толстой девицей по имени Капа.

— Здра-а-вствуй, Капычка! — масляно произнес шофер.

— Здорово. Чего потерял тута?

— Дык… как чего? Вот, приехал.

— Вижу, не прилетел. А это кто?

— Хто — хто?

— Да рыжий кучерявый.

— Да… хто? Вот, за картофлем ездили.

— Вижу, не за апельсинами. Кабы апельсины, я бы энтого рыженького пригласила радио послушать. А картошки у меня есть.

— Он, рыжий, а тихий. Он нам, Капычка не помешает.

— Кому это нам? Я тебя, голубь, первый раз вижу. А не первый, так последний.

— Капычка!

— Ка-а-пычка! Дорого яичко ко Христову дню. Я тебе что говорила? До свидания, милый!

И Капочка помахала своей белой ручкой.

— Ах, ты, курва е… ная! Да как бы я знал…

— Ты потише, потише, голубок, у меня теперь муж есть, он те курву-то покажет.

— Какой у тебя, сучки, может быть муж, это у меня жена порядошная, а на тебе клейма негде ставить…

— Ко-отик! — позвала Капа.

Шофер быстренько вскочил в кабину.

— А, блядь, не заводится!

— Ко-отик!

На крыльцо вылез огромный лохматый, судя по морде, Котик.

— Слышь, крутани, ради бога! — слезливо крикнул шофер.

Я выскочил из кабины с рукояткой, он захлопнул дверцу.

— Хулиганы, — сказала Капа.

Тут мотор заурчал, я отскочил, шофер нажал на газ, и машина действительно на этот раз полетела.

— Фулига-аны? — прорычал Котик и двинулся на меня.

Я с укоризной посмотрел на Капу.

— Да нет, это не этот, это тот, — сказала Капа.

— Фулига-аны? — прорычал опять Котик, продолжая движение.

— Да не етот жа! — крикнула Капа.

Я повернулся к Котику другой стороной своего тела и, убежав с поля боя на станцию, сел на поезд, идущий в Москву.

Мимо летели смоленские леса, сильно вырубленные в войну по обеим сторонам дороги. Вот и Уваровка, наш районный центр. Ни одного целого дома, ни одной целой стены, ни одного даже целого кирпича. Все вдребезги разнесено и разутюжено — как видно танками.

А вот и Дровнино. Я вышел.

Дровнино было цело. Те же бесконечные штабеля дров. И старик-сторож чуть ли не тот же, в шубе до пят и в валенках, только теперь в галошах и с винтовкой вместо ружья. Я пошел лесом напрямик к Гнилому. Был прекрасный тихий летний день. Дорога заняла три часа. Вот появился просвет между деревьями, это должен быть наш выгон. Я вышел на опушку.

Деревни не было.

Не было дальше и леса — только огромная плоская пустота до самого горизонта. Ни запруды, ни мостов, ни даже самого ручья. Ни щепочки, ни холмика. Никаких следов от дома. Была ли здесь когда-нибудь деревня?

Я пошел дальше, пересек знакомые овраги и обнаружил одинокий барак на месте деревни Киселево. Внутри стояла железная печурка, на ней в открытом котелке варилась картошка. Узкоплечий солдат и широкоплечая женщина сидели по обе стороны печки и смотрели на котелок.

— Здравствуйте, — сказал я.

На меня молча оглянулись. Я подошел к печке и тоже уставился на котелок. Они продолжали молчать. Я вышел.

Она догнала меня.

— Не обижайся. Это не моя картошка-то.

— Да я не обижаюсь, что ты.

— Слушай, Пете… Петру Павловичу, скажи, Маруся, мол, привет передает.

Я вспомнил ее.

— Петя, Петя, Петушок. Золотой гребешок, шелкова бородушка… — пела она под нашим окном, и Петя как бы не спеша выходил из избы под насмешливым взглядом Мити.

— Бородушку забыл! — кричал Митя.

— Бабушка, — сказал я. — Что с бабушкой моей Пелагеей?

— Померла в первый год войны. У нее в избе еще немцы

стояли. Вышла на улицу и упала. Не забудешь Пете-то привет?

— Петя умер.

— Умер!

— А ты? Работаешь здесь?

— Работаю. На спине! — Взглянув на меня, она поправилась: — Вольнонаемная. Солдаты лес заготовляют. Я у них по хозяйству.

— А где деревенские?

— Кто жив — разъехались. Вначале еще в землянках жили, а потом подались, кто куда. Я осталася. Все могилочки здесь.

Мне не хотелось мешать ей плакать, и я ушел. Я бы и сам заревел. На могилах не было имен.

Жилплощадь в Москве нам с матерью расширили и углубили. Вместо того чулана, где нам удавалось спать только валетом, теперь дали комнатку побольше и поглубже, в глубочайшем подвале. До войны в подвале жили только крысы (они не брезговали им и теперь). После войны с помощью дощатых перегородок городские власти соорудили там: четыре комнаты по шесть квадратных метров с окнами, одну каморку на три квадратных метра без окна и одну на всех кухню тоже без окна. Мы жили в комнате с окном. Конечно, сказав «с окном», я выразился по-советски. Полезно пользоваться советско-русским словарем. В нем, например, советская «свобода» переводилась бы на русский как «необходимость». Увы, в каждом языке бывают слова, невыразимые в других языках. И то, что было у нас в подвале, это советское «окно», ни на какой вообще человеческий язык не переводилось.

Если смотреть с улицы, то были видны только лежавшие на тротуаре решетки, примыкавшие к дому. Каждая решетка прикрывала колодец тридцать сантиметров шириной, шестьдесят длиной и метр глубиной. «Окна» нашего подвала выходили в эти колодца. Ни света, ни воздуха они не давали, потому что открыть их было невозможно. Описывать, что было там на дне, не хочется; пешеходы плевали туда, громыхая по решеткам каблуками.

Сооружать уборную в такой пещере было государству смешно и дорого. Зачем? Наверху, на первом этаже, — прекрасный, прошлого века, туалет. Сделать туда лестницу и — гоп-ля-ля! Если гражданину или гражданке приспичит, то он или она подымется по деревянной (скрывать не станем — скользкой) лестнице в деревянную (спорить не будем — мокрую) кабинку и там, в высоте, спасибо любимой партии, взгромоздится на толчок как курица на насест.

Мы с матерью жили все же сносно. Она спала на самодельном

топчанчике, я расстилал матрас на полу, и было «окно». В каморке без окна получила жилплощадь дворничиха с сыном-школьником, у которого было что-то с ногами и он ходил на костылях. Его мать подрабатывала проституцией на кровати, а он в это время спал на полу на матрасике, в проходе между кроватью и стеной.

И все это — в центре столицы государства, которое желало учить весь прочий мир, как ему следовало жить!

Оставив работу на фабрике, я потерял права на продуктовые карточки. Но я был уже опытный человек и скоро договорился подметать и поливать водой двор возле одной столовой за обед.

Обед давали без мяса и хлеба, но картошки не жалели, а на работу уходил всего час в день. Было приятно работать в одиночестве, на воздухе, думая о чем-либо или ни о чем, оставляя позади себя чистое, политое водой пространство. Если бы из меня не получился ученый, я бы, вероятно, работал дворником. (Существуют же планеты, где дворники не обязаны сотрудничать с полицией.) Пришлось отказаться от этой работы и от картошки, когда начались экзамены в университете.

В приемной комиссии физико-технического факультета предупреждали, что экзамены будут труднейшими, но я обнаружил, что подготовлен даже слишком хорошо. 15 августа моя фамилия появилась в списке сдавших экзамены. Вешаться было не нужно.

Оказалось, однако, это еще не значило, что я был принят в университет. Нужно было заполнить анкету особого отдела, в которой я подтверждал, что:

Ни я, ни мои ближайшие родственники в белых армиях не служили.

В оппозициях не участвовали.

За границей (за исключением службы в Красной армии) не были.

Репрессиям не подвергались.

Из ВКП (б) не исключались.

Колебаний от партийной линии не имели.

Все было чистой правдой о моих ближайших родственниках, исключая, может быть, Петю (который колебался). Но что касается меня, то я уже не колебался, а сильно раскачивался. Однако надо было бы быть абсолютным идиотом или самоубийцей, чтобы честно отвечать на их вопросы. Ответишь на вопрос, а попадешь на допрос. Я не колебался ни секунды,

утаивая мои колебания. Не было других путей получить хорошее образование и даже просто высшее образование: аналогичные анкеты заполняли во всех советских институтах и университетах.

Ожидая результат, я размышлял, сработает или нет угроза полкового особиста: «Это тебе даром не пройдет!» Могла и не сработать. Таких как я, на которых чекисты писали свои рядовые доклады, были, вероятно, сотни тысяч, поди, разберись, в такой куче информации. Я принял решение: если меня примут, то откину на время все мысли о подпольных кружках и о программах переустройства общества. Вначале наука. Потом — философия и политика.

Занятия начались еще до получения спецдопусков. Мы слушали лекции, делали лабораторные работы; затем, месяца через три, некоторых перевели в другие институты. Я был оставлен.

Университет!

Глава восьмая
«Если хоть один из вас станет Ньютоном…»

Говорили, что сам Сталин подписал после войны приказ об образовании физико-технического факультета. Это был поистине договор между учеными и сатаной. Факультет готовил в основном специалистов для фундаментальных ядерных и ракетных исследований. Ученым он был крайне нужен для развития самой науки на наиболее современном уровне, Сталину — для научного обеспечения производства бомб и ракет. Студенты были одной из сторон в договоре тоже. Большинство совершенно не смущалось тем обстоятельством, что со временем им, вероятно, придется работать на военных; другие, вроде меня, надеялись, что такой расплаты за обучение удастся избежать.

На физтехе преподавали лучшие советские ученые, такие как Капица, Ландау, Ландсберг. Ведущие ядерщики и ракетчики организовывали обучение по своим собственным идеям о подготовке научных кадров. В результате факультет получил неслыханную автономию и не соответствовал убогим советским стандартам высшего образования. Мы, студенты первого набора, весьма гордились этой исключительностью. Лишь лабораторные работы, экзамены и домашние задания были строго обязательны, семинары же и лекции оставались на наше усмотрение — даже лекции по марксизму, хотя официальная доктрина продолжала утверждать, что без глубокого изучения марксизма понять науки невозможно. Нас освободили также от военных занятий. И вместо обычного в советском образовании духа коллективизма и подтягивания малоспособных мы встретили уважение к уникальности и дух жесткой конкуренции.

Конкуренция мне нравилась. Но мне еще предстояло понять, что могут существовать личности столь уникальные, что их достижения недосягаемы для коллективов сколь угодно больших. Еще находясь под остаточным влиянием марксизма, я не очень верил в неповторимость и незаменимость даже гениев. Поэтому, когда Петр Леонидович Капица заявил на общем собрании: «Мы будем счастливы, если хотя бы один из вас станет новым Ньютоном!» — я был удивлен. Он не верит, что из нас выйдет много Ньютонов? А разве я не смогу стать новым Ньютоном?

Помимо очень высокого самомнения во мне гнездилась также советская зараза непочтительности к личности. «Незаменимых не

существует!» — декларировала официальная идеология. «Необходимые личности появляются, когда требуют обстоятельства». Кто создает обстоятельства? Народные массы. Они делают это бессознательно. И только «мудрая партия большевиков, вооруженная победоносным учением Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина», понимает законы развития и является той «сознательной силой, которая ускоряет ход истории». Зачем ускорять ход истории? Затем, что впереди нас ждет «коммунизм, светлое будущее всего человечества». Итак, кто-нибудь всегда найдется, чтобы выполнить нужную историческую миссию. Не Иванов, так Петров, не Петров, так Сидоров. Бабы нарожают. Не так уж они драгоценны — личности. Для Сталина — Ленина — Маркса — Энгельса, конечно, сделаем исключение, но ведь они не просто люди, а, можно сказать, боги.

В чем именно состоит ценность любой, даже самой ординарной личности, — такого вопроса я себе еще даже не задавал. Но шаг за шагом входя в круг науки и ученых, я избавлялся от примитивного непонимания роли неординарных, исключительных личностей. Передо мной теперь каждый день появлялись личности, исключительность которых была совершенно неоспорима.

Капица, еще не Нобелевский лауреат в то время, читал курс экспериментальной физики. Профессора слушали его вместе с нами. Ему было примерно пятьдесят, и седые жидкие волосы не делали его моложе, но лицо хранило черты мальчишеского вдохновения, и небесно-голубые глаза были глазами ребенка. Они вдобавок немного слезились, как это бывает у совсем грудных младенцев. В своей первой лекции он заметил между прочим, что потерял довольно много времени понапрасну в своей жизни. Это был деликатный совет нам — не терять время. Слушать его было нелегко, потому что он построил курс как историю измерений и открытий, а это требовало для понимания знания физики с самого начала. Кроме того, он левой рукой тут же стирал то, что писал правой. Но эти трудности были преодолимы, лекции были захватывающе интересны. Капица рассказывал нам о людях — их открытиях, ошибках, блестящих идеях и «случайных» удачах, и мы чувствовали себя вместе с этими людьми в их лабораториях. Личность самого Капицы завораживала тоже. Ходили легенды о его неслыханной независимости, о том, например, что, возвратившись на родину из Англии, он поставил условием не иметь в своем институте отдела кадров — и Политбюро пошло на это, потому что он был Капица, великий физик[4].

Лев Давыдович Ландау, тоже еще не получивший своей Нобелевской премии, читал лекции по общей физике с

теоретической точки зрения и слушать его было еще труднее, чем Капицу: изящные выводы формул почти «из ничего», из общих физических соображений, приводили нас в изумление. Он был высок, сухощав, с естественными элегантными манерами и светящимся умом в лице. Для меня он был высшим примером. Некоторые студенты утверждали, что я подражаю ему в прическе, но это была неправда. Первым на этом факультете я начал сдавать специальные теоретические «экзамены Ландау» — у него на квартире, во дворе капицынского Института физических проблем. После экзамена мы обычно немного разговаривали, и я спросил у него однажды не очень деликатно, сколько часов он проводит в постели. Мне казалось, что знание стиля жизни и работы большого ученого полезно для достижения успеха.

— Девять, — охотно ответил он. — Иногда больше. Работать надо только со свежей головой.

Абрам Исакович Алиханов, директор ИТЭФ — Института теоретической и экспериментальной физики (в те времена — «Лаборатория № 2», «Теплотехническая лаборатория»), где наша студенческая группа, примерно 15 человек, проходила научную практику, был значительный ученый-ядерщик и честный человек, подбиравший в институт людей такого же типа и применявший к нам, студентам, такие же высокие стандарты. Однажды, когда он узнал, что в нашей группе только один человек (это был я) сдал отлично экзамен по теорфизике, он вызвал нас на ковер.

— Вы говно, — начал он без предисловия. — Или вы собираетесь быть исследователями, или нет. Если да, извольте изучать теоретическую физику фундаментально, неважно, хотите вы быть теоретиками или экспериментаторами. Если нет, мы с вами распрощаемся.

Следующий экзамен был всеми сдан нормально.

Я жил в общежитии, рядом с факультетом, который располагался под Москвой. Учиться было бы невозможно, живя в московской «квартире», да еще тратя три-четыре часа в день на дорогу. Я ездил к матери раз в неделю — поболтать, купить что-нибудь, вынести помои и ночной горшок, а также помыть пол, никогда не принимавший, к сожалению, чистого вида: доски давно прогнили. Когда наступала ее очередь, я мыл за нее общий коридор, кухню и туалет, но запахи отмыть не удавалось.

Мать была безнадежно больна. Ее замучила гипертония, она испытала первый инфаркт, не могла больше работать и жила на стопятидестирублевую пенсию. Я добавлял ей двести из моей четырехсотрублевой стипендии и треть моей хлебной карточки, но это была капля от того, что ей было нужно. Я не делал того

единственного, что могло бы облегчить ее жизнь, — не бросал учебу.

Первый год я жил в одной комнате с Виктором Тростниковым, будущим математиком и религиозным философом. Он пришел из интеллигентной семьи, был остр умом и на язык, а, кроме того, красив и высокомерен, что приносило ему великие успехи у женщин. Мы проводили многие вечера в спорах по физике и доверяли друг другу настолько, что обсуждали неформально философию и политику. Виктор был первым встреченным мной человеком, который считал, что индивидуальные права важнее прочих. Я не слышал даже о таком термине до него и Виктор фактически не употреблял этот термин, это было мое собственное открытие.

— Правильно, — подтвердил Виктор. — Я говорю именно об индивидуальных правах. Молодец.

Лекции, лаборатории, ночные дебаты почти не оставляли нам свободного времени, но в то малое время, что оставалось, мы отнюдь не скучали. Наша комната на четвертом этаже была рядом с уборной. Мы вылезали из окна, проходили по узкому карнизу лицом к стене, цепляясь пальцами за кирпичи, и входили в сортир через окно же. Осваивали прыжки в воду со все более и более высоких мостов. Раз Виктор поспорил с одним студентом на сто рублей, что прыгнет с Крымского моста, метров пятнадцати или больше высотой. Студент, однако, испугался или пожалел ста рублей — и предупредил милицию. Когда Витя пришел на мост, милиционер уже прохаживался вдоль парапета.

— Что-нибудь произошло? — спросил Виктор своим самым наилучшим интеллигентно-начальственным тоном.

— Да вот жду самоубийцу.

— О-о! Так я помогу. Вы идите к тому краю, я посторожу здесь.

Сбитый с толку милиционер отошел, и Виктор немедленно прыгнул. Судейская комиссия, плававшая внизу на лодке, присудила ему победу.

Через год после наших с Виктором экспедиций в сортир по карнизу меня поселили в одну комнату вместе с тремя такими же, как я, демобилизованными офицерами — Борисовым, Войцеховским (будущим академиком) и Маслянским. В этой компании мы с еще большим фанатизмом использовали каждый свободный час для занятий или физических дискуссий. Я не помню, чтобы выходил прогуляться надолго. В кино, может быть, раз или два. До девушек пока тоже очередь не доходила, да и студенток на весь огромный факультет приходилось три или

четыре.

Как и другие студенты в других комнатах, мы жили коммуной. Каждым утром дежурный варил кашу на всех. Съесть ее мы часто не успевали до отхода поезда на Москву (где мы затем разъезжались по базовым исследовательским институтам), поэтому дежурный засовывал кастрюлю с кашей и ложки в рюкзак — и завтрак заканчивался в поезде. Железнодорожный билет мы, естественно, брали один на всех. Если появлялись контролеры, Войцеховский, с билетом в кармане, поспешно проходил мимо них в другой вагон.

— Биле-ет! — кричали они.

— Есть билет, — кидал он на ходу, ничего им, однако, не показывая.

Предвкушая штраф, контролеры трусили за ним, и он уводил их на другой конец поезда. Затем показывал билет.

— Ты… Ты… Почему сразу не показал?

— Я же сказал: билет есть.

Арестовали Маслянского.

Однажды утром он сказал:

— Панов попросил меня съездить в военно-учетный стол в Москву. Придется, черт, пропустить занятия. К вечеру вернусь. — И засунул в полевую сумку книгу Эйнштейна.

Было странновато, что профессор Панов, проректор факультета, лично проинформировал студента о таком пустяке, как вызов в военно-учетный стол. Маслянский не появился ни вечером, ни в следующие дни.

Когда я вернулся в общежитие из моего очередного визита к матери, Маслянского все еще не было, а Войцеховский сообщил, что в общежитии был обыск. Еще через три недели меня вызвали на Лубянку. Собственно, я был вызван на Петровку, 38, — тоже известное место, а затем препровожден на Лубянку, в главное, печально знаменитое, здание МГБ на площади Дзержинского. Вызвали к 10 часам, допрос начался в одиннадцать и закончился в час ночи.

Допрашивали, два капитана. «Ваша фамилия?.. Место работы?.. Не работаете?.. Так… А чем занимаетесь? Студент?.. Так. Какого института?..»

Комедия длилась довольно долго. Наконец:

— Известен ли вам бывший студент физико-технического факультета МГУ Маслянский?

Бывший? «Дело плохо», — подумал я.

— В каких отношениях вы находились с бывшим студентом Маслянским? Что вы можете сказать о его моральном облике?

А что, между прочим, я мог сказать о его моральном облике, кроме того, что он имел блестящие способности к математике и занимался невероятно много. Хорошо варил кашу? Я решил описать в подробностях наш студенческий быт. Как живем коммуной. Как иногда бьемся на ремнях по-кавказски или поймаем кого-нибудь из студентов, свяжем и забросим на шкаф. Они аккуратно записывали.

Не давайте даже нейтральных показаний!

Это был мой первый опыт настоящего допроса, я еще был довольно наивен и не знал, что они способны лепить «дело» из любых, каких угодно подробностей, лишь бы были подробности и чем больше, тем лучше. Только из ничего, из абсолютного нуля, им лепить психологически труднее.

Наконец им надоели мои байки.

— Что подозрительного вы заметили в поведении Маслянского во время вашего совместного пребывания в общежитии? — спросил офицер слева.

Что значит — «подозрительное»? Предполагалось, что об этом не спрашивают. Каждый советский человек знает, какое поведение подозрительно, какое нет. Мне, однако, следовало спросить разъяснений! Но была уже полночь. «Черт с ними», — подумал я, если бы и было что «подозрительное», я бы им не сказал.

— Ничего такого не заметил, — ответил я.

— Что подозрительного вы слышали о Маслянском от других студентов и кто эти студенты? — спросил офицер справа.

— Ничего не слышал. Ни от кого.

— Сообщите следствию об антигосударственных высказываниях Маслянского, — сказал офицер слева.

— Ничего не было. (Что значит «антигосударственное высказывание»?)

— Мы располагаем всеми необходимыми сведениями, имейте это в виду. Сообщите следствию все, что вам известно о Маслянском! — сказал офицер справа.

Их тон становился все более угрожающим. После двух часов допроса я ощущал огромное психологическое давление. Наконец меня осенило. Советская печать начала остервенелую травлю «космополитов», что в переводе с советского на русский означало «евреев».

— Я вспомнил, — сказал я.

— Ну, вот. Вот видите… — сказал офицер слева.

— А говорили: «ничего», «никого», — добродушно пожурил офицер справа.

— Да я забыл, сейчас только вспомнил. Маслянский —

антисемит. Он часто ругал евреев.

Это, увы, было правдой.

Они разочарованно молчали, пыхтя папиросами.

— Но вы же понимаете, что это не государственное преступление, — промолвил, наконец, офицер справа, рассеянно разглядывая мои волосы.

— Понимаю.

Понимать там было нечего.

В конце концов они отпустили меня. Я подписал протокол допроса только на одной последней странице, в самом конце.

Не делайте этого!

Много лет спустя Иван Емельянович Брыксин рассказывал мне, что сделал то же самое, когда его допрашивали по его собственному делу. А затем во время суда из протокола зачитывались такие утверждения, каких бы сам черт не подписал.

Меня больше не вызывали на допросы. Маслянского больше никогда не видели. В общежитии ходили разговоры, что он слушал Би-би-си. В общежитии был только один радиоприемник, в комнате, где жил только один студент, и с этим студентом ничего не случилось. Поползли темные слухи, и студента вскоре перевели в другой институт.

Реальность была такова, что студенты упорно занимались, устраивали семинары, ходили в общие летние походы, спорили вдохновенно и — писали друг на друга доносы. Доносы писало не менее четверти студентов моей группы. Я выяснил это только в 1956 году. Оказалось, что я был намного наивнее, чем мог себе вообразить.

На последнем курсе семерым из нашей группы дали на время двухкомнатную квартиру возле ИТЭФ — прекрасные условия для учебы. Мы жили дружной коммуной, готовили по очереди суп и кашу, обсуждали физику, организовали даже хор русской песни, в котором пели все, я дирижировал. Мы были настоящими друзьями. По меньшей мере трое из семерых писали в то время доносы. Правда, никто не предал друзей, не воспользовался никакими их случайными оговорками. Но — между прочим — возникали ли у нас случайные оговорки? Обсуждали ли мы вообще политику? О, да, обсуждали, но никто не говорил ничего опасного для себя. У нас были внутренние гироскопы, которые держали наши речевые потоки в безопасных каналах. В душе, в глубокой глубине, никто не верил никому. В таких обстоятельствах между нами не было, и не могло быть, простых и чистых отношений.

Помимо меня только Женя Кузнецов пришел в нашу

студенческую группу из рабочей семьи. А может быть, и на всем факультете нас таких было двое. Герш Ицкович Будкер, блестящий физик, ведший в то время у нас физические семинары под русским именем Андрей Михайлович, считал Женю самым сообразительным. Женя Кузнецов жил в одной комнате с Женей Богомоловым, происходившим из семьи провинциальных учителей. Они жили коммуной, по очереди варили кашу и ели прямо из общей кастрюли, пренебрегая таким предрассудком, как индивидуальные миски. Ели вместе, но писали друг на друга — порознь. Нетрудно усмотреть в такой ситуации внутреннее противоречие, которое согласно марксистской философии должно было привести к качественному скачку.

И оно привело. Начальник спецотдела потребовал от Жени Богомолова вытащить из кармана Жени Кузнецова записную книжку с адресами и передать в спецотдел. Душа Жени Богомолова взбунтовалась, он признался во всем Жене Кузнецову.

— Бляди, — сказал Женя (Кузнецов). — Вот бляди. Ведь они то же самое потребовали от меня. Да ведь я знаю, у тебя нет никакой книжки.

— Нету, — пробормотал Женя (Богомолов). — А у тебя есть?

— Книжка-то есть, да ни хрена в ней нет — пустая, — сказал Женя (Кузнецов), на всякий случай схитрив. — Отдашь им, пусть подотрутся».

— А дальше что? — уныло спросил Женя (Богомолов), вообще всегда немного унылый.

— А дальше станем писать вместе, — сказал никогда не унывавший Женя (Кузнецов). — Вместе — про меня, и вместе — про тебя. Будем в деталях описывать движение наших ложек из кастрюли в рот и обратно.

Каждого втягивали в эту клоаку постепенно. «Это ведь только один раз. Вы — комсомолец. Опишите просто вашу жизнь и разговоры. Говорите лишь о физике? Замечательно! Пишите о физике… Причина, по которой мы вызвали вас опять, состоит вот в чем. Был сигнал, что кто-то из студентов изготавливает порох. Что-нибудь слышали об этом?»

И каждый писал всякую чепуху, чтобы не подумали, что он что-то скрывает, и в конце концов подписывали обязательство наблюдать и сообщать.

Почему они не отказались писать друг о друге? Потому что безумно хотели учиться и не знали, что произойдет в случае отказа. Я испытал на себе силу этого глобального шантажа.

В артиллерийском училище я был автоматически оформлен кандидатом в члены партии — как будущий офицер. Во время войны это казалось мне нормальным. Но после войны мои

взгляды сильно изменились и я пытался не переходить в полные члены партии. Кочегаром на фабрике я просто утаивал, что ношу билет в кармане, но в университете это было невозможно. Отказаться от перехода в полные члены значило отказаться от продолжения учебы в университете, что тоже было невозможно. Пробыв три года в кандидатах вместо одного, я был серьезно спрошен секретарем партбюро, по какой причине тяну с этим делом. Хорошо, я стал членом партии. Но на этом не кончилось. Как старшего по возрасту и хорошо успевающего меня попросили войти в комсомольское бюро факультета. И я опять согласился.

Чем глубже я погружался в науку, тем в большее недоумение приводило меня учение советских марксистов, что все основные науки — квантовая механика, релятивистская теория, генетика, кибернетика — базируются на ложной гносеологической основе. Или марксизм был ложен и фактически антинаучен, или науки, которые я познавал и любил все больше, совсем не были науками. Научный статус генетики приобрел для меня особо критическую важность так как это имело прямое отношение к советской доктрине коммунистического перевоспитания.

В 1948 году знаменитый Трофим Денисович Лысенко, с его одухотворенным лицом голодного волка (я встречал его позже в академической столовой) ликвидировал генетику окончательно и бесповоротно, переведя советскую сельскохозяйственную науку на рельсы единственно верного научного учения. Я колебался насчет его теории, по которой таких штучек, как гены, не существовало, но зато воспитанные свойства могли передаваться по наследству. Если, рассуждал я, гены все же существуют и передают все важные свойства человека из поколения в поколение тысячи лет почти без изменений, то советский лозунг «Мы создадим нового человека!» — это кошмарным бред. Но если, с другой стороны, такие свойства, как, скажем, эгоизм и любовь к собственности не суть константы, а зависят от среды и воспитания, то надо только изменить социальную систему и поднажать как следует на воспитание — и «новый человек» будет выращен. Многое говорило, казалось, в пользу и такого взгляда.

Это стало для меня вопросом вопросов.

Поэтому, через два года после лысенковского научного доказательства, что гены — это выдумка «попа Менделя» и американского «псевдоученого Моргана», я решил своими глазами посмотреть на поразительные успехи самого Лысенко в перевоспитании растений. «Египетская пшеница, — писала советская печать, — перевоспитанная академиком Лысенко, скоро заколосится на полях советской страны. В каждом колосе чудо-злака в десять раз больше зерен, чем у обыкновенных сортов». Я

сел в электричку на Павелецком вокзале и поехал на его знаменитую ферму в совхоз «Горки Ленинские».

Бродя среди жалких опытных делянок, я спрашивал себя, не в сумасшедшем ли я доме. Да, в полном колосе этой пшеницы было сто зерен. Но дело в том, что из каждых ста колосьев девяносто были пустыми! Она не желала перевоспитываться, эта пшеница!

Итак, обман, причем обман грандиозный. Теория перевоспитания летела ко всем чертям. Я видел это, правда, только на пшенице, но что, если и человеческий вид тоже не поддастся воспитанию? Если из каждых ста девяносто будут все равно любить себя и своих детей больше, чем целое общество? Что делать? Рубить головы? Получим безголовое общество, в котором безголовые будут любить себя, вероятно, еще больше.

Решив поразмышлять над предметом без шуток, я поехал по железной дороге дальше, в известные леса на станцию Белые Столбы. Но мне не удалось прогуляться по лесу. Там была колючая проволока — лагерь. Еще колючая проволока — еще лагерь. И еще колючая проволока.

Я поворотил назад.

Глава девятая
Меньшевистские песни

За год до окончания университета я женился на очень серьезной девушке с большими прекрасными черными глазами. Ее звали Галина Папкевич. Она была наполовину полька.

Как следствие, летом 1951 я переехал вместе со своим чемоданом из студенческого общежития в комнату в центре Москвы, где Галя жила со своей теткой. В честь события товарищи-студенты преподнесли мне костюм — брюки и первый в моей жизни пиджак.

К концу 1952 появился прелестный мальчик, которого мы назвали Дмитрием.

Галя работала техником на том самом авиационном заводе, где когда-то работал мой отец. Я занимался исследованиями под руководством Владимира Борисовича Берестецкого. Мы помогали моей матери, поэтому с деньгами было туго и ради пеленок пришлось продать всю Галину библиотеку. Но мы были счастливы. Ночами, покачивая детскую коляску левой рукой, я рассчитывал переходы ортопозитрония в парапозитроний правой. Однажды, когда я что-то вычислял, Дима начал пищать, просясь на руки, а у меня потерялась двойка, цифра два, и никак не находилась, а он еще пищал! Я схватил его, поднял над головой, затряс.

— Да замолчишь ли ты, наконец, младенец? Засыпай!

А он — он засмеялся ангельским смехом. Мне стало стыдно, я прижал его к себе и стал целовать. Что же еще нужно для счастья?

Отсутствие вины.

В то лето, когда мы женились, физико-технический факультет преобразовали в отдельный институт, и меня, как многих из нашей группы, перевели на физфак университета. Однако студенты-евреи туда не перешли: под прикрытием этой реорганизации их рассовали по провинциальным и второстепенным институтам, лишив допусков к «секретным» работам. Это означало в будущем невозможность работать в серьезных научных лабораториях. Они были мои друзья, и я чувствовал виноватость перед ними, но мы настолько не доверяли друг другу, что не способны были даже пытаться обсуждать ситуацию. Мне надо было защищать диплом, и работать в науке, и быть со своей женой. Поэтому я молчал, как и все остальные.

Затем, в ту зиму, когда я уже защитил диплом и родился Дима, чекисты раскрыли заговор «врачей-отравителей» и сунули их в тюрьму Эти врачи, если даже и не пили кровь наших младенцев, то уж точно отравляли кровь наших вождей. Простые и не шибко простые советские люди и сами находили теперь отравителей тут и там — наших детей и нашего сознания отравителей! Женщины бились в истериках в приемных врачей-евреев. Евреев поносили в открытую. С моими рыжими кудрявыми волосами меня задевали на улицах и, сплевывая, цедили: «Еврей!» Я отказывался отвечать «нет». Но я не говорил и ничего другого. Казалось, все было бессмысленно. Люди выказывали такой уровень тупости и злобы, что даже мои старые мечты о новой революции теряли точку опоры. Я чувствовал личную вину. Мне было стыдно глядеть в глаза стоически веселой еврейки — жены Галиного дяди Тадеуша.

— Дело пахнет керосином, — резюмировал знакомый слесарь, мамин сосед по подвалу. — Будь я еврей, рванул бы на Северный полюс. А лучше на Южный.

Студент Эскин, один из сильнейших на факультете, «рванул» на асфальт из окна седьмого этажа. Собрав экстренное комсомольское собрание, его бывшая студенческая группа, сама состоявшая на треть из евреев, осудила его поведение как недостойное.

После защиты диплома и двух месяцев ожиданий допуска к секретным работам началась моя формальная научная карьера. У меня был хороший выбор в трех местах: в Лаборатории № 3 (ИТЭФ) у Берестецкого, в курчатовской Лаборатории № 2 у Мигдала и в институте ядерных исследований в Дубне. Я уже сотрудничал с Берестецким. Он поручал мне проверить расчеты в той главе его книги, где электроны рассеивались на электронах. Он был крупный физик и симпатичный интеллигентный человек. Кроме всего, мне просто нравился ИТЭФ. Поэтому я начал работать под руководством Берестецкого в теоретическом отделе, руководимом Исааком Яковлевичем Померанчуком.

Это была вотчина Ландау, его ученики. Он и сам работал здесь на полставки, заведуя в капицынском институте собственным теоротделом. Работа у меня пошла сразу хорошо. Я работал так много, что и во сне постоянно крутились какие-нибудь вычисления. Вначале я изучал прохождение частиц через вещество, и Берестецкий советовал опубликовать результаты. Но мне казалось, что они мелки для меня, что надо начинать с чего-нибудь совершенно необычного. Я мечтал решить проблему сверхпроводимости и день и ночь штудировал на эту тему горы

книг и статей. Новые мои коллеги были все такими же фанатиками.

— Наука, — блестя очками и глазами, вздымал палец Померанчук, — это самая ревнивая из любовниц!

Он не только засиживался вечерами, как все, но экономил время и на столовой, закусывая бутербродами без отрыва от работы.

Меня подстегивала еще критика Ландау, о которой я узнал от Володи Судакова, когда был студентом. Орлов, заметил он Володе, способный, но лентяй. В то время меня бы меньше обидело, если бы он сказал: Орлов старателен, но неспособен. Я вырос в семье, где нестарательность была чем-то аморальным, и лентяем точно не был. Но Ландау правильно углядел, что я не весь погружен в теоретическую физику, которая требует огромной абстракции от окружающей жизни. Это была правда. Меня интересовала не только физика. Я пришел в физику от другого, для меня было невозможно не думать о философии, о социальных проблемах и о советской политике. Особенно теперь — о политике Советов в науке.

Незадолго до смерти Сталина они готовили генеральное наступление на физику — на квантовую механику и теорию относительности. На специальной сессии Академии наук ученые должны были публично и непритворно осудить мракобесные и субъективистские, словом, лженаучные концепции Альберта Эйнштейна и Нильса Бора. Философы и самые прогрессивные физики-коммунисты уже начали атаку. КГБ засучивал рукава.

Легко было понять справедливое негодование какого-нибудь полковника с Лубянки. Прямо скажем, дело зашло далеко. Кое-кто из так называемых ученых распоясался вовсю. Надобно разобраться, каковы на самом деле их деловые, политические и моральные качества. Эти, с позволения сказать, ученые толкуют о «непредсказуемых переходах в атомах», как будто мы дурачки и не понимаем, о чем речь. Мы им устроим вполне предсказуемые переходы сюда, на Лубянку. Намекают даже, что вселенная могла родиться в один миг из одной точки. Оголтелая поповщина! Забывают, что и умереть можно в один миг, в одной известной точке. Кому нужны такие «науки» и такие «ученые»? С физиками возмутительно мало работали и надо тоже разобраться, кто саботировал это дело. Гамов сбежал. Ландау посидел в тюрьме год до войны, и пришлось этого жида выпустить — из-за вмешательства неприкосновенного Капицы. Из-за того же Капицы не удалось упрятать навсегда немца Фока. Сам Капица — кто он такой, сука? — все еще отсиживается на своей даче. Румер, гнида,

не сдох, как положено, в зоне. Пристроился, падла, перед войной вместе с Королевым в Туполевской шараге, сообразил, блядь, какая тюрьма лучше, а теперь хоть и в Сибири, но не в лагере. Это же курорт! Биолог Вавилов нормально, по-человечески, вышел из тюрьмы ногами вперед, а физик Вавилов не только жив, сволочь, но и заведует Академией наук. Нет, так дальше жить нельзя, не-воз-мож-но!

Будкер, с которым мы сдружились в последние годы его жизни и моей свободы, рассказал мне, как предотвратили катастрофу. Игорь Васильевич Курчатов, глава атомной программы, предупредил Сталина, что даже небольшое отвлечение физиков на «философскую дискуссию» сорвет график разработки ядерного оружия. Вся ядерная программа базируется на квантовой механике и теории относительности. Все полетит под откос, Иосиф Виссарионович. Сталин понял. Первенство в атомном и ракетном оружии было государственной задачей номер один. Это оружие будущего мирового господства. Достичь такой цели с помощью ленинского «битья по головкам» было бы большое удовольствие, но, к сожалению, преждевременное. Сталин учил ленинскую диалектику: для рая следовало пройти сквозь ад, для абсолютного господства — сквозь временное послабление. И физиков, с их лженаучной, но по невыясненным причинам могущественной наукой, приказал до поры не трогать. По масштабам эпохи это было небольшое, но знаменательное отступление.

Так с помощью атомной бомбы физика была спасена. Увы, бомба дала временные свободы и физико-техническому факультету, и она же спасала профессоров. Будкер рассказывал мне, как на проходной Курчатовского института, где он постоянно работал, вахтер загородил ему дорогу и сказал: «Будкер? Вашего пропуска нет!» И ему не надо было разъяснять, что это значило и каким будет продолжение. Он немедленно позвонил Курчатову. Тот немедленно разъяснил кому надо, что Будкер участвует в программе. Пропуск скоро вернули. На факультете из профессоров исчез только наш супернезависимый Капица, но общее отступление режима перед физикой спасло жизнь и ему. Он был всего лишь уволен из собственного Института физических проблем за отказ участвовать лично в разработке ядерного оружия, а вместо Лубянки сидел на своей даче. После смерти Сталина его реабилитировали.

Нет, на физтехе мы фактически не нюхали пороху. У нас не было даже арестометра. Этот прибор Ленинградского университета описал мне Берестецкий. Там в коридорах висела галерея портретов профессоров, которую студенты и называли

между собой «арестометром». Началось исчезновение портретов. Исчезнет портрет — исчезнет профессор. Еще исчезнет портрет — еще исчезнет профессор. Шкала была линейной. Наконец, прибор зашкалило: все портреты были сняты.

Физике повезло. Биологии нет. Кибернетике нет, потому что никому и не снилось, что буржуазная наука управления окажется полезной для управления ракетами. Агрономия вместе со всем сельским хозяйством лежала, говоря по-русски, в говне. Перевод на советский сделал сам товарищ Сталин. «Мы все радуемся успехам нашего сельского хозяйства», — писал он в статье «Экономические проблемы социализма», которую изучало и цитировало все мыслящее и прогрессивное человечество.

Радующие всех нас успехи сельского хозяйства били в глаза. В самом центре Москвы, где я теперь начал жить, крестьянки в лаптях с грудными младенцами на руках униженно просили у москвичей милостыню. Прямо над ними в ночном небе сверкала огромная реклама:

«ПОКУПАЙТЕ МОСКОВСКИЕ КОТЛЕТЫ!»

Без перевода на русский. Бесполезно спрашивать, что бы такое эта реклама могла означать. Мне еще не удалось к тому времени повидать таких котлет, хотя громадные очереди за ними, намного длиннее очередей в мавзолей Ленина, я иногда видел.

Маркс писал, что критерий истинности науки — практика, и это было верно, хотя этому учили в сети партийного просвещения. Они учили еще, что «партия строит общество на единственно верной научной основе». Практика этой партии была мне ясна.

Что марксизм лежал в ее основе — было тоже мне очевидно (я знал марксизм хорошо). Отсюда следовал только один вывод.

Так что к концу сталинской эры советской истории, который совпал с началом моей научной карьеры, мне были уже смешны утверждения о «научности» марксизма. Марксизм, как серьезная теория, для меня больше не существовал. Размышляя также о неэффективности советской системы, я пришел к выводу, что она иногда может быть очень эффективной, но только в узких областях деятельности вроде ракетной и ядерной гонки, где стимулы на вершине власти предельно высоки. В целом же она малоэффективна. Однако, спросив себя, хочу ли я возврата к капитализму, я в то время твердо отвечал «нет». Это было чисто эмоциональное отрицание: мне представлялось неприятным и унизительным работать не на безличное «государство», а на какое-то конкретное лицо. Это ощущение было (и частично остается в наше время) типичным для многих людей в Советской России. Поэтому у меня не было в то время ясной экономической

философии, если не считать общей идеи рабочего самоуправления.

Так складывались мои взгляды, когда весной 1953 года наконец скончался Сталин. На меня его смерть не произвела никакого впечатления. Все эти дни я был приклеен как обычно с утра до позднего вечера к своему столу в кабинете Берестецкого. Он спросил меня, как я думаю, что изменится теперь? В какую сторону? Я ответил, что, по-моему, ничего измениться не может. И вдруг добавил неожиданно для самого себя, что так много народу сидит в тюрьмах, что простой народ ничем уж не запугаешь. Конечно, я переоценил возможности «простого народа» и недооценил вероятность изменений сверху. Этим замечанием я просто выдал свое инстинктивное желание народного мятежа — то, что потом годами сознательно и твердо подавлял в себе, пока не отбросил совсем. Владимир Борисович посмотрел на меня внимательно. Не знаю, что он подумал, но с тех пор стал со мной гораздо более открыт, чем раньше.

Не все были так равнодушны к смерти Отца и Учителя. Народ оплакивал вождя. Стрелялись офицеры (скорее всего, по пьяни). Несколько ребят из нашей старой студенческой группы решили пробиться к телу, выставленному для прощания в Доме Союзов. Но не тут-то было. Народ запрудил весь центр столицы. Успеха добился только Женя Богомолов, которой продрался в тыл Дома Союзов, взобрался оттуда на крышу по пожарной лестнице, спустился по водосточной трубе с фасадной стороны ко входу и на плечах противника, то есть всех, жаждавших увидеть труп, ворвался в Колонный зал, сопровождаемый пронзительными воплями затаптываемых детей, женщин и мужчин. «Сталин умер, но дело его живет», — прокомментировал Берестецкий идиотскую гибель множества людей на похоронах Сталина.

Случай напомнил мне праздник на Ходынке, где в конце прошлого века в начале царствования Николая Второго трупы тоже складывали штабелями. Бабушка рассказывала, что люди подавили друг друга из-за пряников еще до появления на ярмарке живого царя. Здесь же давились без всяких пряников — из-за трупа.

Скоро после этого у меня возник конфликт с директором Алихановым. Анализируя старые эксперименты, его лаборатория открыла аномальное рассеяние мюонов. Открытие было сенсационное, и Померанчук попросил меня проверить верность расчетов. Я нашел ошибку: за давностью срока они забыли, что именно мерили, и подставляли теперь в формулы вместо телесных углов их проекции. Надо было сообщить Алиханову.

— Мы работали столько лет! — крикнул гневно Абрам

Исаакович. — Столько лет! А вы!..

— Сколько вы работали, неважно, — сказал я грубовато. — Вы ошиблись в расчетах.

Он вышел, с треском хлопнув дверью, я остался в его кабинете один. Через несколько минут вернулся, выслушал и понял. Его отношение ко мне после этого стало предельно дружеским и теплым. Я тоже стал любить его всей душой.

Через год институт решил строить протонный ускоритель с переменным градиентом. Когда Будкер указал на один важный физический эффект (нелинейный хаос) из-за которого такой ускоритель мог бы не работать, Померанчук, помня мои мюоны, включил меня в ускорительную команду. По его планам, мне следовало лишь проверить эффект, а затем вернуться к своим обычным занятиям. Я прервал изучение сверхпроводимости и за пару лет построил нужную теорию нелинейных колебаний (хаоса при малых амплитудах не было), вошел в состав авторов ускорительного проекта, послал статью в научный журнал и, по указанию Померанчука, написал диссертацию.

— Писание диссертаций не имеет отношения к науке, — объяснил он, — но к хлебу имеет. Вам нужно срочно повысить вашу зарплату.

Зарплата зависела от научной степени.

У меня появился еще один малыш, Александр. Мы определенно нуждались в повышении дохода.

Собственно, наша жизнь и так уже улучшилась невероятно: ИТЭФ принял на работу Галю техником, и к концу 1955 нам выдали отдельную двухкомнатную квартиру в новом доме возле института. Это был дворец после нашей одной комнаты на пятерых. Гале она досталась от матери, а той — от советского правительства в награду за революционные заслуги ее родителей. А правительство конфисковало двухэтажный деревянный дом, в котором была та комната, у нэпмана-фабриканта, неразумно поверившего в стабильность новой экономической политики большевиков. От фабриканта оставались теперь лишь воспоминания его бывшей кухарки, которой за некие услуги в прошлом и в будущем начальство оставило три квадратных метра, отделенных от коммунального туалета тонкой деревянной перегородкой. По этой причине старуха ненавидела всех соседей, а в особенности «поляков и евреев», скандалила с утра до поздней ночи в коммунальной кухне и пугала маленького Диму каждый раз, когда он появлялся один в коридоре. Этого гениального Ле Карбюзье, который был таким великим энтузиастом сооружения коммунальных коробок на месте старой Москвы, следовало бы

приговорить к одному месяцу и одному дню жизни с этой леди — типовым образцом советской коммунальной квартиры. Отдельная квартира, полученная от ИТЭФ, была нам во спасение от старой ведьмы.

С законченной диссертацией я мог вернуться к моим прежним исследованиям. Но в феврале 1956 года Хрущев выступил с драматическим докладом на двадцатом съезде партии и оставил меня на всю жизнь специалистом по ускорителям.

Его сообщение о злодействах сталинской эпохи зачитывалось на закрытых партийных собраниях. Оно ошеломило даже тех, кто, как я, были уже готовыми антисталинистами. Я впервые ясно осознал страшный, невероятный масштаб преступлений. У власти стояли преступники и могли оказаться там снова, потому что в принципе структура не изменилась. Что делать? Наступил тот момент, к которому я, в сущности, готовился всю жизнь — всю жизнь всматриваясь напряженно в это странное, смертоносное, пожирающее само себя общество. Я должен высказать открыто все, что я думаю о нем.

По указанию Центрального комитета всем парторганизациям надлежало провести закрытые обсуждения хрущевского доклада. В ИТЭФ это должно было проходить под руководством партбюро, в членах которого я состоял уже два года. Хотя директор Алиханов, его заместители и руководители отделов почти все были беспартийными (так он их подбирал), они старались влиять на состав партбюро, как и на состав профбюро, — чтобы там сидели люди неплохие или по крайней мере безвредные. Это было похоже на организацию круговой обороны. Поэтому я не отказывался быть выбранным в бюро, веря, что смогу помочь науке и таким образом. Учитывая все виражи советской политической жизни, включая даже такой нежданно благоприятный, как смерть Сталина, ученые всегда имели основания для страха. В случае общего или местного похода против физики и против конкретных физиков позиция партбюро могла сыграть, как я считал, решающую роль.

Наше бюро собиралось дважды, чтобы спланировать мартовское собрание. Чтобы задать тон, мы решили выступать первыми. Клава, секретарь и машинистка бюро, должна была стенографировать. Первым вышел Роберт Авалов, грузин, ортодоксальный ленинец, окончивший физтех вместе со мной.

— Что нужно, чтобы предотвратить новый «культ Сталина»? — спросил он. — Нужно использовать ленинскую идею: вооружить рабочих. Рабочие массы должны обладать организованной вооруженной силой для подавления бюрократии!

За ним вышел я. Несмотря на большое волнение, я говорил громко и отчетливо.

— Террор, проводившийся правительством, — начал я, — отразился не только на экономике страны, но и на всех сторонах советской жизни. Он изменил нас самих. Мы все, от обыкновенного рабочего до писателя, привыкли держать нос по ветру и приспосабливать наши души к текущей политике. Каждый привык послушно голосовать только «за» — и члены Верховного Совета, и члены Центрального комитета, и каждый из нас.

В зале сидели такие же, как я, члены партии, в большинстве не карьеристы, не фанатики. Теперь многие из них, кто с опаской, кто смелее, открывали глаза и начинали думать: «как избежать повторения сталинизма (хотя самого этого термина еще не существовало). Казалось, им нравилось, что я говорил.

— При капитализме, при одних и тех же производительных силах, — продолжал я, — могут существовать различные политические надстройки, от фашизма до демократии. Не существует однозначной связи между производительными силами и политической структурой. И точно так же при социализме: у власти могут стоять убийцы вроде Сталина и Берии, как в Советском Союзе, и может быть более демократический режим, как в Югославии.

— Чтобы больше не повторилось то, что произошло, нам нужна демократия на основе социализма!

Так я закончил. Мои слова о терроре и убийцах никого не шокировали. Антимарксистская идея (которой я очень гордился) об отсутствии детерминизма, была теоретической тонкостью, которая никого, похоже, не заинтересовала. Шумно хлопали не этому, а идее «демократии на основе социализма».

Володя Судаков, талантливый теоретик и секретарь партбюро, сам не выступал, спокойно предоставляя слово каждому, кто просил. Он дал его Вадиму Нестерову, экспериментатору (чей отец позже спрятал у себя дома для сохранности мою речь). И последним из нас выступил член бюро техник Щедрин.

Люди возбужденно аплодировали речам, просили слова. Был поздний вечер и мы приняли решение продолжить собрание на следующий день. Я планировал там изложить свои проекты экономических преобразований — в основном то же, о чем я говорил в 1946 в Моздокской степи.

Но провести самостоятельно еще одно собрание нам не позволили. Приехал начальник политического управления Министерства среднего машиностроения Мезенцев, опытный чекист[5]. Говорили, что он в 1944 году руководил депортацией

крымских татар из Крыма.

— Никому не дозволено критиковать Центральный комитет! — стучал кулаком по столу Мезенцев.

Аудитория нервничала. Я выступил против этого тезиса. Люди кричали с мест. Никто не поддерживал начальника политуправления.

— Я требую принять резолюцию, осуждающую антипартийные выступления Орлова и других! — требовал он.

Но члены партии предложения не поддержали. Клава аккуратно вела протокол.

Собрания прошли. Институт замер в ожидании — что будет? Дело рассматривалось теперь на высоком уровне, на каком мы еще не знали. Выступавшим было приказано писать объяснения в ЦК КПСС. Копии речей шли туда же, включая выступления Мезенцева. Мезенцев отправил в ЦК и свой отдельный рапорт. Клава все перепечатывала, сверяя со своими стенографическими записями.

— Знаешь, — сказала она мне, — Мезенцев подправил свои выступления и исказил твои в своем рапорте. Катит на тебя бочку, сукин сын. Напиши об этом в ЦК.

— А тебе не попадет? — спросил я.

Она махнула рукой. Клава прошла всю войну пулеметчицей. Я написал протест. Мезенцев назвал Клаву «предательницей», но никаких последствий не возникло. К счастью для нее, политическое управление было ликвидировано, а Мезенцева перевели на должность замминистра по кадрам.

Через неделю откуда-то из-за облаков пришло распоряжение об увольнении из института четверых выступавших членов бюро «за невозможностью дальнейшего использования».

Нас вызвал Алиханов. Мы стояли перед ним. Он ходил взад и вперед.

— Слушайте. Если вы знали, что делали и на что шли, то вы герои. Если нет — дураки!

Мы молчали. Дураки? Или герои?

— Я звонил Хрущеву, просил за вас. Он сказал, что в Политбюро он не один. Другие требовали вашего ареста. Сказал, пусть радуются, что отделались увольнением. Прощайте.

Мы вышли на улицу.

— Ну что ж, будем не работать столько, сколько прикажет нам партия, — пошутил я.

Я ощущал странное чувство освобождения — от морального груза и от безостановочной гонки в работе. Зарывшись в науку, я забыл цвет неба, не замечал смен времен года. Теперь я увидел, что на улице весна.

Пятого апреля 1956 появился подвал в «Правде» по проблемам чистоты идеологии. Упоминалось о нас четверых, «певших с голоса меньшевиков и эсеров». Я не читал ничего из меньшевиков и эсеров, которые существовали лишь до моего появления на этот свет и чьи сочинения были запрещены еще раньше. Если, как пишет «Правда», они «пели» так же, как я, то это говорило в их пользу, и мне следовало постараться раздобыть их работы.

Через несколько дней нас четверых привезли в мезенцевское министерство и формально исключили там из партии. У прочих же членов партии в ИТЭФ просто отобрали партбилеты. Чтобы вернуть себе билет каждый должен был теперь письменно осудить наши антипартийные речи и выразить глубокое сожаление, что не дал им отпора на собрании. Почти все так и поступили.

Евгений Третьяков, ветеран войны, с которым мы учились в одной студенческой группе, отказался — и был исключен. К счастью, его не уволили. На своем бетаспектрометре Третьяков проделал массу первоклассных измерений. Но он категорически отказывался писать диссертацию, считая подобный бизнес лежащим вне науки. Ему могли бы, и должны были бы присвоить докторское звание без защиты, прямо по работам. Но как? Исключенному-то из партии, морально неустойчивому гражданину?

Меня предупредили, что мою диссертацию, уже опубликованную в печати, защитить мне не позволят. Статьи, посланные в советский журнал ЖЭТФ, приостановили. К счастью, европейский Nuovo Cimento успел опубликовать первую часть одной моей работы (о гамильтоновой форме описания резонансов нелинейных колебаний), но послать продолжение было теперь невозможно. Мое имя, как соавтора проекта ускорителя, замазали на титульном листе черной тушью. Меня исключили из списков соавторов нескольких докладов, посланных на международную конференцию в ЦЕРН. Только с одним докладом у них вышла осечка. Когда Евгению Куприяновичу Тарасову, моему единственному соавтору этого доклада, предложили исключить мое имя, он предпочел исключить весь доклад. Так, известный специалист по ускорителям, он потерял всякую возможность выезжать за границу.

Когда нас возили в министерство, я интересовался там, по какой причине исключили мое имя из всех научных публикаций?

— Очень просто, — ответили мне. — ВАШЕ ИМЯ ПОЗОРИТ СОВЕТСКУЮ НАУКУ.

Глава десятая
Всякий труд славен

Я стоял, прислонясь к стенке, внутри маленькой проходной института. Начинался рабочий день. Кивая на ходу, проскакивали мимо сотрудники, разворачивая пропуска перед пожилой вахтершей в гимнастерке и юбке защитного цвета, с пистолетом на боку. «Зачем пистолет?.. — думал я. — Ах, да, «котел». Но ведь это не бомба — исследовательский реактор. Его показывают иностранцам, а нас, советских, просеивают сквозь гебистское сито для допуска к «секретным объектам», даже когда они не секретны. Сумасшедший дом».

Я все стоял. Меня, похоже, намеренно томили. «Секретность» отобрали и теперь невозможно было пройти в институт даже за своими документами, а уж о куче научных заметок, оставшихся в столе, — об этом лучше забыть. Хотя я совсем не занимался военными проблемами (и твердо решил никогда не заниматься).

«Нет, это не сумасшедший дом, — поправил я себя. — Это продолжение революции, психология подполья. Всю страну загнали в подполье. Всех опутали сетью «секретов».

Я ждал начальника отдела кадров с моей трудкнижкой, военным билетом и прочим, а предстал предо мной Сергей, сухощавый рыжий физик, с которым мы когда-то учились в одной студенческой группе. Он вытащил записную книжку и ручку.

— Как ты расцениваешь свое увольнение? — спросил деловым тоном, и острый его веснушчатый нос еще больше заострился.

Это было удивительно: он задавал вопросы официально и демонстративно.

— Увольнение незаконно, — ответил я.

— Не-за-конно, — он записал.

— А тогда как ты оцениваешь свою антипартийную речь?

Спросил насмешливо и поставил галочку в книжке, очевидно, против первого вопроса.

— Вот это и незаконно. Какая связь между речью на собрании и способностью к работе?

— То есть как?.. Ну, ты даешь! — изумился он, поставил еще одну галочку.

Я вспомнил один разговор с ним в студенческие годы. «Только коммунисты, — объяснял он, — только они — полноценные граждане. Остальным доверять нельзя, просто глупо». Я счел тогда за лучшее не спорить.

Он жил в центре Москвы в густонаселенной коммунальной квартире внутри старинного особняка напротив министерства обороны. Семья ютилась в маленькой комнатушке. Конечно, там в каждой комнате жило но семье, но одна комнатка, симпатичная, без окна, правда, была отдана ему одному и набита радиотехникой, которой он страстно увлекался с детства. Замечательные родители и добрые соседи, подумалось мне, когда я был у него в гостях. Потому что и безоконная комната — комната, ради которой соседи могли бы еще какой прелестный донос накатать! Теперь, слушая его вопросы, я запоздало сообразил, что добрыми были, видно, не соседи, а чекисты, разрешившие мальчику заниматься любительской радиосвязью в самом центре сталинской Москвы.

Еще через тридцать минут, по таинственному распорядку, появился начальник отдела кадров. Сергей аккуратно сложил записную книжку и ушел.

— Вот ваши документы, — сказал кадровик.

— А у вас там лежат еще акты о сдаче кандидатского минимума.

— Лежат. Но они вам больше не понадобятся.

— Почему? Когда-нибудь в будущем.

— Вы, Орлов, не понимаете? Они вам никогда! Понятно? Никогда не понадобятся!

— Ну, все-таки они не ваши. Отдайте, пожалуйста.

— Я принесу, — сказала его заместитель, которая явилась сюда, может, просто поглядеть на меня. — Подожди.

И принесла документы.

Три года назад, в конце 1952 года, когда врачей-евреев еще пытали на Лубянке, а журналисты, писатели и кое-кто из ученых самовозгорались от гнева на этих выродков, пожелавших отравить самого товарища Сталина, меня, русского, принимали здесь на работу. Эта женщина, вынеся мне в проходную новенький пропуск, поглядела на меня, улыбнулась и ткнула пальцем в фото: «Русский? Русский, да?» Я посмотрел на свою фотокарточку, посмотрел на нее: красивая, смуглая, черноволосая баба. «Ты у них, дура, тоже не сойдешь за славянку», — подумал я, но не сказал. Бывают времена, когда слово — серебро, а молчание — золото. Женщина, впрочем, оказалась вполне, приличным человеком.

Когда люди принимали меня за еврея, мне хотелось ответить: «Нет, я не еврей, я русский». Но сказать так было бы непорядочно в дни гонений на евреев.

Наконец я вышел на улицу. В голове стоял звон.

Веселого все-таки было мало. Лучший физический институт

был теперь закрыт для меня. Да и что уж там, прочие институты тоже…

— Орлов, садитесь!

Я обернулся. Черная «Волга» подплыла неслышно, дверца была уж открыта.

— Куда? — спросил я.

— На кудычкину горочку! — бодро ответил, выглядывая из глубины, человек мезенцевского министерства, знакомый. — Сюда, сюда садись.

ИТЭФ расположен на юго-западной окраине Москвы. Машина катила к центру. Проехали Даниловское кладбище, старое, заросшее, куда, бывало, всей семьей — отец, мать, Петя, Митя, бабушка — ходили на могилу моего деда, подправляли деревянный крест, убирали напавшие за зиму сучья, листья, сидели, закусывали, я гулял вокруг. («Как же я забыл о нем, не разыскал могилы?») Выехали на Полянку, улицу моего детства, свернули в кривое колено переулка, мимо материного как раз подвала («С матерью не попрощался!»), и остановились. ГЛАВАТОМ, Государственный комитет по использованию атомной энергии. Но ведь и Маслянского вначале не на Лубянке встречали…

Без всяких проволочек меня провели сквозь все охраны в какую-то комнату на второй этаж. Министерский человек грузно уселся на стул, глядел угрюмо, замотанно, старый человек. Я разглядывал шкафы с папками, зеленое сукно на столе, казенные занавески на окнах.

Вошли трое в штатском. Министерский подтянулся, выпрямился, выглядел снова молодцом.

— Иванов, — представился один.

— Петров, — сказал другой.

— Сидоров? — спросил я третьего.

— Да. Откуда знаете? Нет, я Николаев.

Они рассмеялись, уселись, закурили.

— Не курите, Юрий Федорович?

— Нет.

— Это хорошо. Курить — здоровью вредить. Может вы и нас поучите воздержанию? А что?

Они еще посмеялись. Нахмурились.

— Вас пригласили, Орлов, для серьезного разговора, — сказал Николаев. — Может быть нашего последнего с вами разговора.

— Ну, ну, бог даст, не последнего, — сказал Петров. — А? Юрий Федорович? Не последнего?

— Нас очень беспокоит, Орлов, ваше, м-м-м, легкомысленное,

я бы сказал, поведение после вашего исключения из партии. Нам не ясно, осознали ли вы, Орлов, всю тяжесть вашего… будем называть вещи своими именами, преступления.

Лицо Николаева посуровело и стало значительным.

Я молчал.

— Ничего он не осознал, — сказал министерский человек. — Это было у них заранее обдуманной провокацией.

— Я не понимаю, — сказал я.

— Не понимаете? Мы вам объясним.

— Все он понимает! — вставил министерский.

— Нет, почему, мы объясним, — сказал Николаев. — Мы по существу организация, я бы назвал ее, воспитательная. Вы, Орлов, подготовили это собрание. Вы произнесли клеветническую, антипартийную речь, возбудившую людей.

— На что я их возбудил?

— Молчать! Вы усугубили вашу клевету на партию и советский народ в своем якобы разъяснении в ЦК. Не для того требовали от вас разъяснений.

— Я же должен был объяснить ЦК, почему считаю себя правым.

— Кто вы такой учить Центральный комитет?! Вы обязаны были объяснить: а — как вы пришли? бэ — что вас завело? и вэ — кто вас привел к вашим антипартийным акциям?!

Иванов и Петров с просветленными лицами восхищенно слушали Николаева.

— Вы должны были разъяснить нам, что вы осознали свои ошибки, а также как вы пришли к такому осознанию. В противном случае это уже не ошибки, Юрий Федорович. Это хуже. Вам не ясно?

— Все ему ясно, — сказал министерский человек.

— Я же не вам писал, — заметил я.

— Он и сейчас! Он и сейчас упорствует! — воскликнул Иванов.

Я замолчал. Замолчали и они. Докурили. Посмотрели на часы и друг на друга.

— Ну, вот что, Орлов. Мы вас пока предупреждаем. Пока. Партия учит нас гуманизму.

— Гуманизьма он не поймет, — сказал министерский человек. — Он не знает, что такое гуманизьм.

— Вы молодой человек, Орлов. У вас все впереди. Но если не осознаете, пеняйте на себя. Другой раз и разговор будет другой. И в другом месте.

Итак — не на Лубянку! Не забирают!

— А как же с работой? — спросил я весело. — У меня дети.

— О детях вспомнил! — воскликнул министерский.

— Безработных у нас нет. В советском обществе каждый обязан трудиться. Но научную работу мы рассматриваем как руководящую, а вы показали, что таковую исполнять не можете. Вы должны были давать моральный пример нижестоящим сотрудникам, а вас самого еще надо воспитывать. Вы не доросли, Орлов, до научной работы. Это не порок, конечно, всякий труд славен, мы поможем вам устроиться на завод. Вас воспитает наш рабочий класс.

— Да я же сам рабочий класс, — сказал я.

— Ты! — вскочил Иванов.

— Спокойно, — сказал Николаев. — Спокойно. Не ты, а вы. С оступившимися нужно проявлять терпение.

Только выйдя на улицу, я сообразил, что как бы им ни хотелось, они ничего страшного не могли со мной сделать. Бояться их было глупо. Потому что, как сказал Хрущев Алиханову, а Алиханов сказал нам, Политбюро решило не арестовывать нас. Выше Политбюро не попрыгаешь. Но с научной работой дело было швах. Я через это тоже не перепрыгну.

От Главатома до смрадного материного подземелья было два шага. В комнате горела электрическая лампочка, но после апрельского солнца на улице здесь было как в густом тумане.

Мать лежала ничком на кушетке.

— Что? — спросил я.

— Больно, — простонала она.

Я побежал в поликлинику на Ордынку.

Прибежала молоденькая сестричка и вместе со мной стала готовить шприцы. Уколы делали бесплатно.

— Вначале мне, — сказала она, высоко-высоко заголила юбку, воткнула в ляжку иглу и выдавила морфий.

— Хорошие глаза, — промолвила, опустив юбку, задумчиво разглядывая мое лицо.

Мать улыбнулась, но ей было не до смеха. Она перенесла уже два инфаркта, ходила с трудом, боли замучили ее.

— Врачи говорят, все разрушено, — пожаловалась она. — Только по женской части все хорошо, как будто я совсем молодая.

Я слушал ее с тоской. Самое ужасное, она не хотела переезжать в нашу ИТЭФовскую квартиру. Первый раз в жизни появилось человеческое жилье — и она отказывалась!

— Куда я там помещусь? — сказала она, когда я снова затеял этот разговор после ухода сестры. — Вас пятеро с детьми, я шестая. Третий этаж. Тут я хоть во двор выйду, посижу. Тихо… Устала я от людей…

— Там воздух, чистота. Смотреть за тобой будем.

— Там! Отберут у тебя квартиру-то. Куда денетесь? Да еще неизвестно, что с тобой самим будет. А тут запасная площадь. Со мной поживете.

Эта мысль поразила меня. Действительно, у них в руках не только моя работа, но и жилье. Квартира институтская. Если уволят Галю, а она пока еще работает в институте, квартиру обязательно отберут. Охотников много, семьи часто ждут квартиру всю жизнь — и бесполезно… Но как мама узнала, что меня уволили? Очевидно, ей показали «Правду» с моей фамилией, а там, что ж, она нашу жизнь знает, вычислила.

— Не отберут, — сказал я. — И вообще у меня все в порядке. Не волнуйся.

— Да? Хорошо бы. Слушай, Юрочка. Я чувствую, помру скоро. Помру — отпой меня в церкви. А в землю тело не клади, червяки… Бррр… Сожги в крематории. Буду рядом с Федей. Там в крематории и захорони урну в земле. Я узнавала, что и как. У меня для могилы и фотографии приготовлены.

Она оживилась, достала из-под подушки фотографии, сделанные совсем недавно, ретушированные так, что она была на них совсем молодая.

— Выбери, какую хочешь, получше. Буду над своей могилой молодая.

Я обещал.

— Не забудь сдать книжки в библиотеку, когда помру.

— Хорошо.

Мать всегда много читала. Особенно обожала Диккенса, может быть, потому, что его книги напоминали ей ее беспризорное детство. Образование ее было два класса дореволюционной гимназии, но соседи по двору этого не знали. «Клавдия Петровна — интеллигентная женщина, — говорили они. — Образо-ованная».

На Алиханова пытались давить, чтобы он уволил Галю, работницу очень уважаемую, но он отмел эти попытки. В результате с квартирой было в порядке. Пока Галя работала, у нас на пятерых были ее тысяча двести рублей, минус помощь моей матери, плюс небольшая пенсия Галиной тетки. На мясо не хватало, зато хлеб стоил рубль кило, так что ситуация не была катастрофической. А кроме того, благодаря солидарности ученых мы скоро получили почти эквивалент моей зарплаты.

Статья в «Правде» и письмо, разосланное Центральным комитетом во все парторганизации, сделали нас, четырех мятежников из ИТЭФ, известными, и ученые начали организовывать помощь, по тысяче рублей на каждого из нас в

месяц. На станции метро «Библиотека им. Ленина» будущий академик Борис Чириков дважды секретно передавал мне деньги, собранные в сибирском Институте ядерной физики. Затем передали тысячу, собранную в Москве в ИТЭФе и ФИАНе, и еще через месяц — в Ленинградском физико-техническом институте. Кажется, впервые в Советском Союзе ученые смогли наладить коллективную помощь своим репрессированным собратьям. При Сталине это было абсолютно невозможно.

Я решил заниматься теоретической физикой дома, как если бы ничего не случилось. Хотя меня угнетало, что приходится жить на иждивении друзей, конец формальной научной карьеры, которая начиналась так удачно, не очень меня беспокоил, настолько я был уверен в своей способности добиваться хороших научных результатов и в этих условиях. Но Галя была расстроена.

— Тебе надо выбрать, — сказала она. — Или наука. Или политика.

Не мои политические взгляды ее беспокоили, а неясность моего будущего. Выбери я твердо из этих двух «или» опасную дорогу политики, с ее почти неминуемым арестом, нет сомнений, она поддержала бы меня. В конце концов она была Папкевич.

Папкевичи происходили из сосланных еще в прошлом веке на сибирские прииски польских повстанцев. Галин дед, польский социал-демократ, после революции примкнул к большевикам и был комиссаром на железных дорогах. Мать дружила с молодой родственницей Троцкого. Однажды, когда у того был обыск, подруга попросила ее постоять за дверью на стреме, предупреждая приходящих. Мать была беременна, но согласилась. Первый, кого она предупредила, оказался чекистом, который и арестовал ее немедленно. Правда, довольно скоро ее освободило вмешательство друзей Дзержинского, создателя и руководителя ленинского ЧК, который симпатизировал землякам, а может, и самому Троцкому. В результате Галя родилась на свободе.

Наш случай стал широко известен, это был пример противоречивости хрущевской «оттепели», когда, с одной стороны, режим избавлялся от наиболее кровавых чекистов и разрешал маленькие свободы прессе, а с другой стороны, жестоко подавлял героических венгров за рубежом и критиков режима дома.

Ко мне довольно часто стали заходить друзья-физики: показать сочувствие, приободрить, пообсуждать политическую ситуацию. В эти дни я очень сблизился с Тарасовым и обнаружил еще одного единомышленника, позже — друга на всю жизнь, физика и математика Валентина Турчина. С ним мы обсуждали

неувядаемый русский вопрос «что делать?». Я считал, что кто-то (но не я) должен создать рабочую партию. Турчин предпочитал беспартийную систему. Я очень много раздумывал позже над этой нашей дискуссией и заключил, что существование различных политических партий и союзов необходимо для предотвращения моральной и интеллектуальной деградации общества. Опасность не в самой политической борьбе — тут мы были согласны, а лишь в средствах, какими она ведется.

Мой старый друг Женя Богомолов, теперь научный работник, тоже пришел с визитом.

— Юр, — произнес он, выпучивая на меня свои всегда виноватые глаза из-за толстеннейших очков, — они меня не трогали три года после смерти «великого вождя». Я уж поверил, что отстанут, ан нет, теперь снова вызвали и велели узнать, что ты думаешь о политике партии, о политике вообще, а также о самом себе, то есть, каковы твои планы. Я это говорю тебе, чтобы ты знал, зачем я пришел. Натрепывай все, что считаешь нужным, а я запишу.

Ничему уже не удивляясь в нашей стране чудес, я наговорил ему три короба галиматьи.

Через день пришел Женя Кузнецов, теперь тоже научный сотрудник ИТЭФ.

— Юр! Меня не вызывали три года…

— А теперь вызвали и велели узнать, что я думаю о политике партии, что думаю вообще, и каковы мои планы?

— Ха-ха-ха! Ты что, тоже у них на крючке?

— Не-ет. Женя Богомолов приходил.

— А, Женька.

И Кузнецов рассказал мне всю историю их трагикомических отношений и кто, по его расчетам, писал доносы. А затем в моем присутствии скомпоновал на меня донос, в котором абсолютная пустота состояла из кристально чистой правды.

Оба Жени погибли через несколько лет.

Женя Богомолов утонул в ванне в своей квартире, которую получил вскоре после окончания института, когда женился на женщине с ребенком, не любившей его и открыто изменявшей.

Женя Кузнецов был найден зарубленным в своем поселке в сараюшке, в котором он провел ночь с девушкой. Отец его прибежал в милицию с окровавленным топором и объявил, что он зарубил сына. В милиции не поверили: он был сильно контужен на фронте, и с ним случались припадки. Они разумно предположили, что человек помутился рассудком с горя, а что сына убили поселковые парни из-за девчонки. Расследование показало, однако, что убил отец — в припадке, конечно. Все

жалели и его, и его несчастную жену. Женя был у них единственный сын. Старика положили в психиатрическую больницу.

Однажды в июне, когда я лежал на кровати в довольно скучном настроении, пришел Лев Окунь, физик-теоретик, и спросил, чего это я валяюсь кверху пузом.

— А что делать?

— Зарабатывать.

— Как?

— Давать уроки абитуриентам. Я дам тебе один телефон, а дальше ты сам разберешься.

Это был известный московским интеллигентам способ поддержания жизни в трудные дни. Но я был еще не очень близок к интеллигенции, и сам, вероятно, не догадался бы, что состоятельные бюрократы много, а по моей шкале, фантастически много, платят за подготовку своих детей к приемным экзаменам.

Совет Окуня изменил всю ситуацию. Скоро у меня появилось множество частных уроков. Все лето я работал с 6–00 до полуночи, семь дней в неделю, прекратил принимать деньги от друзей и впервые в своей жизни приобрел холодильник, радио и хороший костюм. Купил матери и Гале путевки в дома отдыха. И даже начал скапливать деньги на зиму, чтобы посвятить ее целиком одной лишь теоретической физике.

Несмотря на уроки, с их перебежками и переездами по всей Москве, я старался не пропускать те семинары и конференции, на которых не требовался допуск.

Большинство ученых, которых я там встречал, старались поддержать мой дух.

— Ты что повесил голову? — спрашивал Будкер, хотя я головы не вешал. — Помни, что ты герой.

Но Лев Давыдович Ландау был, как обычно, мною недоволен.

— Можно помочь человеку, который знает, чего хочет. Но если он не знает, чего хочет, помочь невозможно.

— Лев Давыдович, — возразил я, очень задетый его замечанием. — Вы рассказывали, как в Харьковской тюрьме, куда вас сунули в 38-м, каждый считал: я ни в чем не виноват, но другие-то должны быть виновны, потому что невозможно, чтобы их посадили ни за что. Теперь вы считаете, что я уволен за дело?

— Вы не поняли, — спокойно ответил Ландау на мое несправедливое замечание. — В те годы было невозможно ничего рассчитать, люди попадали под репрессии по закону случая. Сейчас другое дело. Вы могли рассчитать все последствия, но вы не захотели. Вы сознательно рискнули, потом не захотели поправить и пожертвовали хорошим институтом. Ради чего?

Нужна ли вам в самом деле физика?

Реакция Бруно Понтекорво была чисто идеологической. Перебегая с урока на урок, я наткнулся на этого таинственного «профессора» в центре Москвы. Итальянского физика и коммуниста, по неким причинам переселившегося с Запада в СССР, постепенно рассекречивали, а еще за два года до того его имя было запрещено произносить. Я видел его в Дубне: он гулял вдоль Волги, охранник шел в двадцати шагах позади. Дубна, с ее несекретным синхрофазотроном, была в то время надежно защищена от шпионов и диверсантов колючей проволокой и полосой «пахонки» по периметру, как добротный концлагерь. Окруженная болотами, она и строилась концлагерными зэками. Дубна покоилась на их костях. Физики хорошо знали об этом, но абсолютно никого это не смущало.

Поздоровавшись, Понтекорво спросил на своем приятном итало-русском наречии:

— В чем была суть ваших требований на собрании?

— Мы требовали соединения социализма и демократии.

— Но ведь при социализме невозможны буржуазные свободы, — возразил он.

В тот момент я не понял всей глубинной правды этого замечания. Оно поразило меня, как абсурд. Но я еще не был знаком с «профессором» настолько близко, чтобы так и сказать.

— Это чепуха! — кипятился я перед Александром Герасимовичем, моим старым учителем химии и тем самым директором школы, который в мае 1941 просил членов комсомола не выезжать из Москвы. Теперь, в 1956, как директор уже другой школы, № 7, он помогал мне подобрать учеников на частное репетиторство.

Я зашел к нему, в его кабинет, по дороге к матери. Мы сидели, пили чай и совершенно откровенно обсуждали мою встречу с Понтекорво.

— Чепуха! С какой стати эти свободы именуют буржуазными? Разве права на свободные профсоюзы, забастовки, рабочие партии — не права рабочих? С такими «буржуазными» свободами западные рабочие добились жизни намного лучшей, чем наша. Это народные свободы. Я знаю этот идиотский аргумент: раз у нас нет классов, значит, во-первых, нам не нужны такие свободы, а, во-вторых, они могут привести к реставрации капитализма. Это неверно.

— Нет. Насчет реставрации — это верно, — возразил учитель. — Но я иногда думаю: если нет капиталистов, их следует как-то выдумать. Иначе не подохнуть бы нам с голоду под дырявой крышей.

До этого момента я отбрасывал ногой с порога идею перехода от социализма обратно к капитализму. После этого разговора не отбросил. Купив хлеба, масла и ветчины, я брел, задумавшись, от школы к матери. Было уже темно, когда я свернул в Кривоколенный переулок, спустился по лестнице в подвал и открыл дверь.

Тело матери, убранное в ее лучшее платье, с руками, скрещенными на груди, лежало на двух составленных вместе скамейках. Лицо с закрытыми глазами и с подвязанным белым платком подбородком было печально, сурово и спокойно.

— Вот, обмыли, — сказала соседка. — Отмучилась.

— Когда? Как?

— Сегодня на рассвете. Вскрикнула. Я, как сердце чуяло, вбежала, а она уж не дышит».

— А врач?

— А, конечно, вызывали, все, как следует. И доктор сказал: отмучилась. В церкву повезешь?

— Да, конечно.

— Она уж и не надеялась.

— Она просила в церковь, потом в крематорий.

— Как же — и в церковь, и в крематорий? Нешто так можно?

— Она так просила. Я обещал. Спасибо тебе.

Я захоронил материн прах на маленьком кладбище крематория, возле Донского монастыря, внутри которого размещалась кожгалантерейная фабрика имени Международного юношеского дня, на которой мать провела лучшие годы своей жизни. В сотне метров от крематория начинались корпуса станкостроительного завода имени Орджоникидзе, на котором Петя и я работали и вместе с которым мать эвакуировалась на восток, на уральский танковый завод, которому оставила свое здоровье. Если пойти дальше и перейти через мост над окружной железной дорогой, то там легко отыскать всемирно известный Институт физических проблем, в котором Капица теперь снова был директором и куда я продолжал ходить на семинары. А если не переходить моста, то по правую руку увидятся два полукруглых жилых здания, построенных для научной элиты и высших чинов КГБ, с прекрасными паркетными полами, которые настилал после войны еще не известный тогда миру политический заключенный Александр Солженицын.

Месяцем позже, в конце августа, меня позвал в гости в свою московскую квартиру брат Алиханова. Он был директором Ереванского физического института Армянской академии наук.

— Брат посоветовал мне взять вас на работу в Ереван, — сказал Артемий Исакович Алиханян. — Мы собираемся сооружать

большой электронный ускоритель. Пойдете?

Я посоветовался с Галей. Не хотелось уезжать далеко от Москвы: тут и Галя, и дети, и друзья, и лучшие физические центры. Абитуриенты давали хороший заработок. Я мог обсуждать здесь частным порядком любую физическую проблему — никто из известных ученых не отказал бы, времена были не сталинские. Однако будущее — на волоске. Сегодня это терпят, завтра неизвестно. У меня дети. Работы в научном институте в Москве не дадут ни при каких обстоятельствах… Но оставить московскую квартиру ради черт знает какой дали, ехать туда с двумя малыми детьми и с одной старухой, Галиной теткой, не имея в кармане ключа от хотя бы одной там комнатушки — такое можно делать только фундаментально рехнувшись. И московская прописка — нам ее не сохранить. А это значит потерять навсегда право жить в Москве и всякую возможность дать детям московское образование.

Мы решили, что я соглашусь на эту работу, но поеду в Ереван один. Это была самая большая ошибка в моей жизни.

Глава одиннадцатая
Армения

Две тысячи километров от Москвы до столицы Армении, три дня пути. Последний день дорога шла вдоль многорядных заграждений с заставами, вышками, пограничниками. За заграждениями лежали пустые поля, за полями опять и опять колючие проволоки. А позади всего этого виднелась Турция.

— Заграждений там нету, — сказал я громко.

— Как нэту, как нэту! — закричал гражданин, поспешно сваливаясь с третьей полки.

Другой гражданин поспешно полез на эту полку, чтобы занять лежачее место.

— У них подзэмные заграждения, не понимаешь? Подзэмные! Тэбе что, наша граница не нравится, да?

В Ереване я поселился в общежитии на пять человек в прекрасном зеленом дворике на берегу заросшего ущелья. Из пропасти доносился грохот реки Раздан. За турецкой границей высоко в синем небе в венце курчавых облаков сияла лысина Арарата. Это новое место в этом приятном, не стандартного почерка, городе мне нравилось. Но без семьи было одиноко. Нам бы нужно было всей семьей жить вместе здесь в Ереване. Нужно-то нужно…

Армяне встретили меня радушно. Улыбаясь, люди подходили ко мне на улицах, говорили: «Мы вас знаем. Нравится Армения? Здесь вам плохого не сделают. Здесь все будет хорошо!»

Они еще смотрели на публичное выступление против власти, даже против мертвого Сталина, как на опаснейший трюк. Кто в самом деле знает, может, сталинизм развенчан лишь временно? Сталина армяне ненавидели.

После второй мировой войны он планировал окончательное решение армянского вопроса — не в варварском янычарском стиле, а в духе социалистического гуманизма. Армян было решено не убивать, как делали турки в 1915, животов им не вспарывать, а переселять в Сибирь. Техника массовых депортаций была отработана давно. И в одну ночь вывезли часть Эчмиадзинского района — выборочно, по списку. Эчмиадзин — религиозный центр армян, исповедующих григорианское христианство. Затем по неясным причинам этапы на время отложили. Может быть, потому, что такие дела надо делать бесшумно, быстро, работать чисто, а чисто и быстро не получалось. Железная дорога в Закавказье — одна, а армян везде

— много.

Так или иначе, когда техник, фамилию которого я, к сожалению, забыл, вернулся из командировки, очень довольный, что достал запчасти для колхозных тракторов, в доме его никто не ждал — ни жена, ни дети. Соседей тоже не было. Милиция — была, но молчала. Намекнули, чтоб заглянул в КГБ. Заглянул. Ничего не знаем, говорят, но можем выяснить, подойдите еще разок. Подошел. Ваша семья выселена, говорят, по подозрению в шпионаже.

— Жена? мать?? малолетние дети??? Шпионы???? Не может быть!

— Это, говорят, органам видней, что может, а что не может быть. Вы что, решили с органами спорить?

— Нет-нет, боже упаси! Только, что делать-то?

— Сложное положение, — говорят. — Сочувствуем. Но помочь ничем не можем, поезд ушел.

И это была правда. Техника записали в шпионы перед депортацией, но так как его в ту ночь на месте не оказалось, то его из списков вычеркнули и заменили каким-то холостяком, ранее не шпионом, но тоже смыслившим в технике. А семью поезд увез.

Поломали-поломали голову вместе с местными чекистами, как выйти из положения, и придумали. Техник (армянин) написал признание в шпионаже (в пользу Турции), и оно поехало под конвоем, вместе с техником, вдогонку за родными. Чекисты, как и учила их партия, отнеслись к человеку с пониманием. Он воссоединился с семьей на одной из великих строек коммунизма. Дочек, правда, не застал в живых, умерли по дороге. Но была бы жена! Жена, правда, тоже скоро скончалась. Техник выдюжил.

Эта история плотно укладывается в картину тех времен. Рядовая история. Только техник кажется не рядовым, но, узнав армян поближе, их привязанность к семьям, я понял, что и техник — рядовой.

В 1956 году, когда мне это рассказывали, времена были, конечно, уже совсем другие. Можно было жить без истерии и не бояться ареста просто потому, что для великих строек коммунизма требовались рабы, или потому, что твоя квартира, мебель и жена приглянулись соседу, или за то, что ты не сказал вовремя: «Да здравствует товарищ Икс!» — или сказал, да не вовремя (когда Икса уже арестовали), или вообще неправильно выбрал отца с бабушкой, а, выбрав, не отрекся от них публично. Тот, кого не укатывал этот сюрреалистский каток, никогда по-настоящему не поймет, каким громадным освобождением был для людей хрущевский поворот к элементарной законности, ко

все еще тоталитарному, но уже не копошащемуся в крови и блевотине обществу.

Нужно заметить, что в отличие от Армении в России не все одинаково ощущали освобождение. Если не считать советских интеллигентов, которые после двадцатого съезда почти все стали антисталинистами, включая и тех, кто еще вчера писал стихи о великом вожде или громил врачей-отравителей, если не считать их, то русские делились надвое: примерно половина была за Сталина из-за советской победы в войне. Кроме того, для многих в России социализм оставался магическим словом, идеей фикс, уже не пьянящей, но еще мечтой, оправдывающей все дела Сталина.

В Армении же почти никто не придавал ультимативного значения никакой социальной идее вообще, все внимание было приковано к идее национальной. Социализм там или капитализм, это им было пока безразлично. «Вы, русские, устроили себе революцию в семнадцатом, что ли, году? Так вы и расхлебывайте эту кашу».

Такая насмешливая оценка вполне соответствовала тому пониманию роли социальных идей, которое у меня начало складываться. Люди не рождаются одинаковыми и их невозможно сделать таковыми. 14 так как интересы и ценностные шкалы различны, то не существует единой, приемлемой для всех социальной идеи. Всякая попытка насадить такую есть преступление против человеческой природы и потому рано или поздно потерпит крах. Здоровое общество нуждается во множестве идей, сколь угодно взаимно противоречивых. Каждому следует выбрать, что ему по душе. Возможно, с чьей-то точки зрения наши идеи покажутся ужасными — не это важно. ВАЖНО ТОЛЬКО, ЧТОБЫ НИКТО ИЗ НАС НЕ ПРИМЕНЯЛ НАСИЛИЯ ПРОТИВ ТЕХ, ЧЬИ ИДЕИ НАМ НЕ НРАВЯТСЯ. Нужно быть постоянно начеку, потому что, чем святее или научнее кажется нам наша идея, тем сильнее хочется нам применить насилие против еретиков и тем легче перерастает наше насилие в газовые камеры и в бесконечные тысячи могил с наваленными друг на друга трупами с дырочками от пуль в затылках.

— Что двигало Хрущевым? Зачем ему нужно было так разоблачить Сталина? — спросил меня Алиханян в один из первых же разговоров.

Мы сидели в его ереванской квартире. Прямо передо мной на стене висел портрет Нины Шостакович, физика, жены композитора, внезапно умершей на институтской станции космических лучей. Алиханян часто повторял, что не он украл

жену у своего друга Дмитрия Шостаковича, а как раз наоборот, Шостакович увел подругу у Алиханяна в их студенческие годы. Через много лет она в конце концов вернулась к своей первой любви.

— Коммунисты устали от самопоедания, — ответил я. — Когда жрали других — крестьян, старую интеллигенцию — небось, не поперхнулись.

— Крестьян? Ах, да, коллективизация. О них действительно не вспоминают. Верно. Еще кофе?

Он немного посуетился за столом.

— Интересно. Вы смогли бы, Юра, в принципе, стать шпионом?

— Шпионом? Не знаю. Если бы я был в чем-то страшно убежден… Было бы что-то вроде войны… И важно бы было что-то узнать… Нет. А что?

— Просто интересно.

Он вначале подумал, что только агент КГБ мог позволить себе такую свободу речей.

А. И. Алиханян был беспризорником в гражданскую войну, пока его не подобрал на улицах Тифлиса один раввин. Армянский мальчик получил строгое еврейское воспитание, но в отличие от своего старшего брата, А. И. Алиханова, А. И. Алиханян[6] был сущим Медичи. Лучшие художники, писатели и музыканты, большинство в трудных отношениях с властями, поклонялись ему как смелому меценату и выдающемуся ученому. Ученые же коллеги любили, главным образом, его близость к неофициальным художникам и ослепительные банкеты, которые он устраивал в честь людей, потенциально полезных ему и его институту. На деле он был и активный ученый, и отличный директор, безусловно антисталинист по взглядам, помогший нескольким физикам, попавшим в трудное положение. Но в ответ он ожидал абсолютной лояльности к себе и мог быть очень опасен, когда полагал, что он ее не получил. Ходили слухи, что в сталинское время у него была собственная сеть шпионов для защиты себя и сотрудников от шпионов КГБ. И было бы совершенно в его характере, если бы он сохранил кое-что из того и в мои дни.

— Ваше счастье, что вы в Армении, Юра, — говорил он. — Не торопитесь в Москву, там на вас напишут сразу сто доносов.

Вероятно. Но письма мои вскрывали и в Армении. Пока я жил в общежитии, они посылались на институт, и Амалия, секретарша, выдавала их мне распечатанными.

— Да вы не обращайте внимания, Юра, — говорил Алиханян. — Для Амалии посмотреть в замочную скважину — все

равно что для вас взять интеграл. Вам же не напишут ничего порнографического?

Никто не писал мне ничего «порнографического», и я сам не писал ничего опасного, мы все были учены еще со сталинских времен. Но было неприятно.

Амалия была мастерица на все руки, даже временно вела спецотдел, пока не прислали профессионального гебиста. Все мои численные расчеты по ускорителю я обязан был сдавать в конце рабочего дня ей, после чего они немедленно становились «секретными», и я уже не имел права взять их обратно хотя бы и через час, так как у меня не было допуска к секретным работам. Поэтому я всегда держал копии своих «секретных» бумаг в своем письменном столе, иначе невозможно было бы работать. Проект ускорителя нужно было закончить к осени 1958 года, чтобы Совет министров в Москве имел время утвердить его и внести в план следующей пятилетки. Я отвечал за теоретическую часть. Со мной работали Семен Хейфец в Ереване и Евгений Тарасов в Москве. Через полтора года, к началу последней, самой лихорадочной стадии Алиханян предоставил мне целиком свой кабинет, так что я мог писать свою часть проекта и спать там же на диване без всяких помех.

Мы успели с проектом. Рецензенты похвалили, отметив отдельно мою роль. Совет министров утвердил. И я решил, что настал час добиваться, чтобы приняли к защите мою диссертацию, лежавшую без движения уже два года в Ереванском университете. Они бы и рады были принять ее к защите, объясняли мне, но не могут без указания сверху.

Я сочинил агрессивное заявление на имя Алиханяна: «Прошу считать меня уволенным через две недели. Буду искать работу в любом другом месте, так как здесь не разрешают принимать к защите мою диссертацию, результаты которой я использовал в расчетах ускорителя».

Алиханян, сам беспартийный, немедленно побежал в центральный комитет коммунистической партии Армении.

Все участники понимали нехитрый смысл игры. Они знали, что я знаю, что ни в каком другом месте мне защитить диссертацию не разрешат. Но им было ясно также, что я полон решимости уйти — в момент, когда проект ускорителя был принят на высшем уровне и нужда во мне была теперь даже больше, чем прежде. В октябре армянский ЦК срочно согласовал этот вопрос с Москвой и была спущена директива: пусть Орлов защищает свою диссертацию.

Владимир Борисович Берестецкий немедленно прилетел из Москвы в качестве официального оппонента и защита прошла без

всяких задержек. Я загнал себя в угол.

Теперь вместо того, чтобы вернуться к своей семье и к тем физическим проблемам, которые я когда-то надеялся разрешить, я был морально обязан оставаться в Ереване. Меня не покидало чувство, что я предал и себя, и семью.

В результате защиты повысилась зарплата и, кроме того, появилась приятная отдельная квартира, где меня могла навещать моя семья. И Галя, и я, мы по-прежнему боялись переезжать в Ереван навсегда, так что я продолжал жить отдельно, летая в Москву в командировки, а Дима и Саша приезжали иногда с Галей или домработницей ко мне в Ереван. Я брал своих умных, любознательных малышей в горы, на длинные прогулки в окрестностях станции космических лучей на горе Арагац, пятьдесят километров от Еревана. Мы бродили по альпийским лугам и там же пировали: хлеб, брынза, дикая вкусная зелень, надерганная на берегу и вымытая в газированной минеральной воде небольшого ручья.

После утверждения ускорительного проекта жить вообще стало легче. Хотя я теперь руководил группой и читал лекции в Ереванском университете, часто находилось время и на вечерние прогулки — вниз к Разданскому ущелью, сквозь заросли фруктовых деревьев, по берегам бурлящей реки, и, наконец, в тот сад, где раньше было институтское общежитие.

Старик-сторож зарывал свою медную джезву в сковородку, наполненную раскаленным песком, и начинал наш обычный разговор: он рассказывал, я слушал.

Давным-давно, молодым, он партизанил против турок, а потом против Красной армии, когда она вторглась в республику, управляемую до того дашнаками — националистами социал-демократического толка.

Сороковая годовщина этого события как раз наступила в 1960 году На официальный праздник приехал сам Хрущев. Приехал и Алиханов. Еще раз он бросился в мою защиту — и счетчик КГБ, регистрирующий его грехи, сделал еще один щелчок. На приеме в честь генерального секретаря у президента Армянской академии Амбарцумяна Алиханов спросил Хрущева:

— Никита Сергеевич! Не вернули бы мне в институт Орлова? Помните историю 56-го года? Он работает сейчас в Армении, и хорошо работает.

— Слушайте, эту историю давно пора забыть! — ответил Хрущев.

Слушали кому надо. На следующее утро меня вызвали в спецотдел и без промедления выдали допуск к «секретным» работам. Я-то сперва подумал, что меня наградили в честь

праздника, чтоб я хоть мог изучать в спецотделе свои собственные расчеты. Никто ничего не объяснил мне в тот момент. Алиханов сразу уехал в Москву, Хрущев продолжал свой визит. Алиханян позже мне этот визит описал.

Дальнейшие приключения Никиты Сергеевича в Армении

После успешной экскурсии на знаменитый коньячный завод руководители Армении повезли Хрущева на знаменитое озеро Севан.

— Вот вы мне все уши прожужжали про это озеро… как его… Севан. Ваша будто… это… национальная гордость погибнет, гидростанции остановятся, форель подохнет, — говорил Хрущев вполне твердым языком. — А где она, эта ваша форель? Я ее что-то не видал!

— Никита Сергеевич! Вчера ели!

— Вчера. Откуда я знаю откуда она? Может вы для меня форель из Америки выписали, ха-ха-ха-ха, вот, чтобы я вам этот ваш проект подмахнул. А? Из Америки?

— Никита Сергеевич!

— Что вы понимаете в рыбе? Я — вот таким мальцом — вот таких щук, не — вот таких — на удочку ловил. На удочку! Вот вы мне удочку и давайте. А я разберусь, стоит эта ваша гордость чего-нибудь, или ни хрена не стоит.

Из воздуха сотворились удочки и Никита Сергеевич начал удить форель, как знаток дела.

(Прекрасное горное озеро в самом деле гибло. Через туннели, пробитые в скалах, его воды сбрасывали на гидростанции и преуспели опустить его уровень на десять-пятнадцать метров. Надо бы сократить расход воды и компенсировать недостачу энергии, закрыв энергоемкие производства вроде завода каучука с его жутким оранжевым дымом над целым районом. Вместо этого возник проект громадной длины горного туннеля, направляющего в Севан воды реки Арпачай. Сумасшедший проект требовал сумасшедших всесоюзных миллионов, то есть высочайшей подписи. И не подскочи тут счастливая дата «освобождения Армении», о нем бы скоро забыли.)

Рыбка, между тем, у Хрущева не ловилась. В этом

озере форель с берега плохо ловится. Терпение генсека иссякало, светлые надежды горели на корню. Уж не в спасении озера была суть, награды и карьеры могли кануть на дно. Наступила та решительная минута, когда от одного шага зависел весь дальнейший ход истории. И шаг был сделан.

Секретарь местного райкома спустил в воду водолаза с живыми форелями в авоське. Водолаз нацепил две на два крючка. Мог бы больше, да секретарь больше двух не велел. Форели Никите Сергеевичу попались большие. Ловля удалась на славу и вся высокая компания поднялась в ресторан Ахтамар. Стол был завален форелями, но Никите Сергеевичу приготовили его собственных. Тут же за столом он подписал постановление о строительстве канала, и той же ночью республиканский «Коммунист» подготовил статью о замечательной новой стройке, символизирующей нерушимую дружбу народов СССР.

Через несколько лет после этих событий, когда Хрущев уже не работал в Кремле, а я все еще работал в Армении, тот районный секретарь пригласил меня на первомайские праздники посмотреть его Севанский район. Это было интересно, и я согласился. Он повозил меня по району: гидростанции, селекционная станция, форельное хозяйство и прочее.

На следующее утро мы стояли на маленькой деревянной трибуне в центре города Севан и принимали демонстрацию представителей трудящихся. Я был никто, давно исключенный из партии физик, но демонстранты не знали этого и кричали ура нам обоим равномерно. Прошли мимо трибуны несколько неважно одетых работниц галантерейной, кажется, фабрики с транспарантом про коммунизм. Молча проехали на грузовике синие от холода, смотревшие волчатами пионеры из ближних деревень, в белых рубашечках и красных галстуках. Их привезли заранее и, продержав в кузове грузовика несколько часов направо от трибуны, за одну минуту перевезли налево. Это демонстрировали дети. А потом пошли представители по два, по три человека и, наконец, всего один, с лозунгом про партию.

— Кто это? — спросил я.

— Водолаз.

— Тот самый?

— Тот самый. Он у нас один.

— Может, поговорим с ним?

— Конечно, теперь это не секрет.

Но водолаз мудро уклонился от воспоминаний о Хрущеве.

Конечно, в Хрущеве было много всякого, но в целом я испытываю к нему симпатию. Это был первый советский диктатор, не вовсе бесчувственный к людям. Он развенчал Сталина. Освободил из лагерей оставшихся в живых невинных. Решился покупать для советского народа хлеб на буржуазном Западе. Впервые за годы советской власти начал массовое строительство жилищ. Повысил пенсии городским пенсионерам, существовавшим на грани голодной смерти. Пробил маленькое окошко в железном занавесе. Не будем считать, чего он не сделал. Хрущев перестроил страну с режима тотального самоуничтожения в режим умеренно тоталитарный, в котором среднему гражданину можно было по крайней мере спокойно умереть в своей собственной постели.

Мое положение в институте быстро улучшалось. С 1961 я заведовал лабораторией. Число научных публикаций перевалило за 50.

Однако я устал от ускорительном физики, от жизни вдали от семьи. Когда я сказал Алиханяну, что хотел бы вернуться в Москву, старый Медичи злобно пригрозил, что перекроет мне все возможные пути! Справедливости ради укажем, что его институт еще отчаянно нуждался в помощи теоретика. Ускоритель, который я рассчитывал, еще не был сооружен. Но я был в ловушке. Прошло уже пять лет, как я уехал в Ереван, пять лет разделенной семейной жизни…

На шестой год я ее разрушил совсем.

Она работала радиоинженером в том же алиханяновском институте. Живая, талантливая, играла на фортепьяно, в настольный теннис и ездила на мотоцикле. Ее прадед по матери был известный в прошлом веке литературовед Пыпин, а в боковых ветвях прародственников состоял Чернышевский — это было важно, но не объясняло ничего. Мои ереванские друзья пытались образумить меня, и они были правы по существу. Лучше бы они были правы по форме.

Председатель профкома, физик, собрал профсоюзное собрание для обсуждения недостойного поведения члена профсоюза Иры Лагуновой, моей подруги, разбивающей семью женатого человека. Он верил, что это спасет меня. С радостью и гневом собрание, конечно, «обсудило» и «осудило». Меня там не было: после 1956 года я вышел из профсоюза, не защитившего своего уволенного с работы члена. Собрание только укрепило

мою решимость не покидать подвергнутую остракизму подругу.

На следующий год, глубоко оскорбленный грубой угрозой Алиханяна, я договорился с Будкером работать у него по совместительству на полставки в далеком Институте ядерной физики в Новосибирске. Вместе с Владимиром Байером мы сделали там работу по квантовой деполяризации электронов. Там же я защитил свою докторскую диссертацию. Я летал из Сибири в Ереван и обратно, а в это время Ира, ожидавшая ребенка, жила в Новосибирске у своих родителей.

Будкер создал уникальный научный ансамбль. Все сотрудники, включая техников и рабочих, были специалистами высшего класса, подбираемыми Будкером самим. Он был мудр, как старый раввин, и даже выглядел теперь раввином, начавши отращивать бороду После первой встречи с Ирой, он сказал мне с легким сожалением: «Юра, вы живете в режиме истерии». Но он предоставил нам для нашей новой жизни огромную (три комнаты) новую квартиру.

Наш брак не мог быть счастливым, даже после рождения Льва, названного так мною в честь великого моралиста Льва Толстого. Сознание вины перед двумя другими детьми, для которых все это было катастрофой, отравляло счастье.

Мои эгоистические надежды, что дети будут жить «на две семьи», обернулись, конечно, фантастикой: громом пораженная Галя запретила мне встречаться с ними. Скоро обнаружилось, что и с Ирой мы сильно расходимся в представлениях, как жить. Она была разочарована и через два года после Левиного рождения полюбила другого. Мы продолжали жить вместе, но я был в отчаянии. Решив предоставить дело случаю, я задумал взобраться на восточную вершину горы Арагац.

Миллионы лет назад Арагац был вулканом. Теперь от него оставались только три вершины высотой три с половиной — четыре тысячи метров, окружающие полукилометровой глубины кратер, в котором иногда, как в адском котле, клубился и крутился, как смерч, пар. В октябре мог неожиданно выпасть снег, и тогда взобраться туда было бы трудно.

Я приехал на станцию космических лучей утром, днем бродил по лабораториям, вышел засветло и еще до темноты дошел до подножия вершины. Ночь спустилась внезапно. Камни, руки, ноги — все исчезло вместе с охотой взбираться. Я, однако, карабкался, то обходя на ощупь отвесные стены, то проползая на животе через валуны. Наконец, меж камней я наткнулся на мягкую травянистую ложбинку и тут же рухнул в изнеможении. Надо мной светилось великое небо. Я заснул, а когда проснулся, было прекрасное горное утро, над горизонтом висело огромное,

ярко-малиновое облако. Чувствуя себя круглым дураком, я пошел обратно.

Вскоре после этого я испытал судьбу вторично, пройдя по краешку моста через Раздан позади барьера. Когда же через несколько недель наконец совсем успокоился, то попал под грузовик.

Я занимался всю ночь, а утром оказалось, что нужно было срочно появиться на ученом совете. Еще полусонный, я бежал на автобус, когда, подняв глаза, увидел грузовик, летевший прямо на меня. Последнее, что осталось в памяти, было чувство сожаления.

Очнулся на сидении рядом с шофером. Соображалось тяжело. Глаза залиты кровью. Где это мы едем? Виноградники… Очнулся еще раз. Камни… Не теряй сознания! Куда едем?

— Поворачивай назад, — сказал я шоферу.

Тот не ответил, даже головы не повернул.

— Поворачивай!

Опять без ответа. Машина неслась неизвестно куда.

— Поворачивай, твою мать!

Не глядя на меня, шофер повернул руль и покатил обратно в город. Затормозил у ближайшей поликлиники, я вывалился из кабины, он развернулся, исчез, подбежали санитарки…

Через шесть лет не очень получившейся совместной жизни мы с Ирою, наконец, разошлись. Еще за год до того я помог ей переехать в Москву, в которую она всегда хотела. По предложению Алиханова и Померанчука ученый совет ИТЭФ единогласно избрал меня старшим научным сотрудником в отдел Померанчука. Понималось, что я должен был часть времени уделять, как и прежде, ереванскому ускорителю. Решение ученого совета дало мне право обменять ереванскую квартиру на московскую и получить снова московскую прописку. Но как раз когда такую прописку выдали, и Алиханов на этом основании получил возможность оформить меня на работу, некий сотрудник Военно-промышленного комитета (о самом существовании которого рядовому гражданину знать не положено) пригласил меня на беседу. Фамилия его была Бурлаков.

— Мы поможем вам перейти в любой институт, хотите, даже в Серпухов. Пойдет? Но ИТЭФ мы заблокируем. ИТЭФ для вас, как вы, физики, любите выражаться, — особая точка.

— Почему?

— Почему? Скажу прямо: там сейчас нездоровая морально-политическая обстановка.

Я сходил к Померанчуку.

— Вам не повредит прием меня на работу?

— Меня выбрали в академики, — ответил он. — Мне теперь нечего бояться.

Алиханов, между тем, отдал приказ о зачислении на работу. Если я приму должность, он, конечно, будет твердо стоять на своем… Однако теперь, после разговора с чиновником Военно-промышленного комитета, я понимал, что принять это было бы чудовищным эгоизмом. КГБ открыто точил ножи на Алиханова, отказавшегося уволить Александра Кронрода. Кронрод, блестящий организатор математического отдела и вычислительного центра, работал бок о бок с Алихановым десятки лет. Он подписал письмо в Министерство здравоохранения в защиту математика Александра Есенина-Вольпина, нормального человека и героического диссидента, посаженного в психушку. Алиханову да ли указание уволить Кронрода. Алиханов отказался. В институте организовали тогда большое собрание, чтобы «обсудить» профессиональные качества руководителя матотдела, а одного из замов директора — члена партии — обязали-таки подписать приказ об увольнении. Почти все математики покинули институт в знак протеста.

Подумавши обо всем этом, я приволокся обратно в Армению — помогать запускать ускоритель. Ира со Львом переселились в Москву. В Ереване институт выделил мне временно небольшую квартиру.

У Алиханова вскоре случился инсульт, и уже «по причине плохого здоровья» он был переведен из директоров в заведующие лабораторией. На его место поставили члена партии, физика из Дубны И. В. Чувило.

За десять лет медленного строительства ереванский синхротрон безнадежно устарел. Ускоритель не конфетная фабрика. Тем не менее нужно было запустить его. Как предполагалось начальством — к 7 ноября 1967 года, пятидесятой годовщине Октябрьской революции. К этой круглой дате ожидались ордена, медали, повышения и большие премии, поэтому было очень полезно представить крупные достижения. Меня-то ввиду моей антипартийности никакие награды не ожидали (хотя ученый совет института и представил меня к ордену Ленина), но проблема запуска сильно волновала меня. Как только машина была собрана, мы ее быстро запустили. Я был доволен, счастлив и, наконец-то, свободен от моих моральных обязательств перед Алиханяном.

Раздавали пряники. Орден Ленина, высшую награду, получил замдиректора Сергей Есин, очень толковый инженер и до идиотизма ортодоксальный ленинец. «Орден Ленина —

священная награда для меня, — заявил он. — Я бы не смог жить, если бы мне доказали, что ленинизм ошибочен».

Со мной связался секретарь ЦК КПСС Армении по идеологии.

— Если вы подадите, прямо сейчас, заявление в партию, — сказал он, — то мы договоримся с Москвой не только, чтобы вас приняли, но и чтобы вам восстановили стаж за все двенадцать лет после 1956 года. Не теряйте момента!

Это было доброе и даже смелое предложение, но вне моей системы отсчета.

Из любопытства — что думают разные люди о такой смехотворной чести — я провел опрос общественного мнения: «Нужно ли мне соглашаться на предложение снова вступить в партию?» Все отвечали «да».

В Москве я спросил о том же Алиханова, уже не директора ИТЭФ.

— А зачем вам это надо? — спросил он.

— Да решительно не за чем. Люди говорят, что мне после этого разрешили бы ездить в научные командировки за границу.

— Я бы не полез в это говно даже ради заграничных командировок, — отрезал Алиханов.

Это было именно то, что я хотел услышать от Абрама Исааковича.

Я не полез в это говно.

Глава двенадцатая
Возвращение

В августе 1968 года советская армия во главе войск Варшавского пакта оккупировала Чехословакию. С «пражской весной» было покончено.

В те драматичные дни я не встретил ни одного интеллигента среди моих бесчисленных знакомых, которого бы не взволновала чешская идея перехода от социализма советского типа к «социализму с человеческим лицом». Горячие дебаты разгорались на кухнях Москвы, Ленинграда, Еревана. Никто не стоял на советской стороне, никому эта власть не нравилась, и — и ничего. Дебаты не выплескивались за кухонные пределы. Из имеющих высокое положение никто открыто не протестовал против советской военной акции. Вмешиваться в нашу международную политику? Никогда! Предельно опасно, привлекут за измену! То был эффект постсталинской «инерции страха», как определил ее позже Валентин Турчин в своей одноименной статье.

Но существовала реальная проблема, как именно протестовать. Писать? Тебя не опубликуют. Выйти на улицу с плакатами? Никто за тобой не пойдет, за вычетом КГБ. Никто в Ереване, где армян мало волнует политика по ту сторону Армении. Никто тем более в России, где простой народ проклинает неблагодарных чехов, забывших, что это советская армия спасла их от нацизма. Во время спонтанных уличных дискуссий в Ереване в этом духе высказывались не только некоторые русские, но и некоторые армяне. Я соглашался: «Это абсолютно справедливо. Красная армия освободила чехов от нацистов. А уж раз ты отбил бабу у насильников, конечно, ты имеешь право сам насиловать ее каждый день». Но они ссылались на газеты, а газеты четко доказывали, что, не войди в Чехословакию наши доблестные войска, была бы она захвачена Западной Германией и Америкой. Такой уровень тупости приводил меня в бешенство.

Сам я к тому времени уже предпочитал надежный и проверенный скандинавский вариант капитализма с человеческим лицом и сомневался в реалистичности эксперимента чехов. Тем не менее я был всем сердцем на их стороне, поскольку они решительно отказались от наших методов диктатуры.

Слушая мои речи на этот счет, большинство армян отмалчивались, иногда только осторожно улыбаясь. Нашелся

лишь один армянин, безголосый в то время, но чья гортань прочистилась, когда КГБ понадобилась помощь в моем деле. «Орлов вел антисоветскую агитацию и пропаганду против ввода советских войск в Чехословакию», — читал я десятью годами позже его свидетельские показания. Этот Акоп Алексанян был когда-то нормальным физиком в нашем институте. Все изменилось, когда его симпатичная дочка вышла замуж за сына первого секретаря ЦК КП Армении. Акоп открыл в себе строгую партийную взыскательность. Его звезда разгоралась, он был избран секретарем парткома института и купил себе большой портфель.

Через несколько недель после интервенции в Чехословакию до Еревана дошла из Москвы самиздатская информация, отпечатанная на тончайших прозрачных листочках безвестной отважной машинисткой: в Москве в августе 1968 семь человек протестовали на Красной площади против интервенции[7]. Среди участников мне знакомо было имя Ларисы Богораз, диссидентки и жены диссидента-писателя, сидящего в лагере Юлия Даниэля. Они успели развернуть плакат «ЗА ВАШУ И НАШУ СВОБОДУ!» — как были тут же схвачены, избиты и брошены в подкативший воронок. Читая сообщение, я чувствовал стыд. После 1956 года я уже не делал ничего, чтобы помочь как-то изменить этот жуткий и идиотский режим.

Я был теперь профессором и членом-корреспондентом Академии наук Армении. Но не титулы, не связанная с ними высокая зарплата, и не страх удерживали меня от открытых акций против режима. Суть дела состояла в том, что открыть рот значило быть выкинутым из науки, которую любишь. Это уже случилось однажды, и было непросто решиться на это еще раз. В любом случае уж за такую-то высокую плату следовало сделать что-то существенное, экстраординарно важное. С моей точки зрения, имело, в частности, смысл выступить с ясной положительной программой: какого типа демократией хотим мы заменить нашу тоталитарную систему и как это делать. Однако к тому моменту я понимал «какого типа», но отнюдь не «как?» Хотя я совсем не верил в плановый социализм, я хорошо знал, что любое предложение вернуться к капитализму было бы отвергнуто в советском контексте и потому было бы практически бесполезно. Надо было придумать что-то промежуточное, но что — это пока ускользало от меня.

Время шло, а я по-прежнему не предпринимал ровным счетом ничего. Не в первый раз я чувствовал себя столь некомфортно. В начале шестидесятых годов в нескольких городах были зверски подавлены рабочие волнения. Я знал об этом, но и пальцем не

шевельнул, чтобы хоть информировать общество. Я даже, можно сказать, обследовал один такой случай, забастовку и расстрел рабочих в Новочеркасске в 1962 году. Большинство людей в стране ничего не знало, официальная информация была наглухо перекрыта. В 1965, когда я приезжал вместе с Ирой в Новочеркасск прочесть лекцию в Политехническом институте, друзья рассказали нам в подробностях, что произошло, как и вообще историю этого города. Во время второй поездки в 1967 я узнал больше[8].

Новочеркасск был когда-то де-факто столицей казаков Кубани и нижнего Дона. К концу девятнадцатого века они отгрохали здесь огромный православный собор и затем еще более величественный Политехническим институт и поставили памятники великим казакам — героям русской истории. Казаки вместе с их памятниками были ликвидированы большевиками. В соборе красовался антирелигиозный музей. Лишь Политехнический институт продолжал функционировать, как при царе. Город был полон студентов, когда я читал там лекцию.

Летом 1962 года на большом заводе электровозов, в десяти километрах от города, рабочим снизили расценки примерно на тридцать процентов и одновременно повысили государственные цены на мясо, молоко и яйца. Изменение госцен было, впрочем, явлением потусторонним, вроде знаменитых понижений цен при Сталине: цены существовали, продукты в магазинах — нет. Совсем плохо было у рабочих с жильем — бараки, переполненные коммунальные квартиры, но это как обычно по всей стране.

Рабочие забастовали.

Власти ответили. В завод, в рабочий поселок, в город вошли войска и танки. Дороги, ведущие к месту событий, перекрыли войсками. Начались аресты с избиением арестованных. «Калашниковы» пока молчали. А заводские сирены гудели без перерыва, призывая ко всеобщей стачке. Прекратили работу другие заводы Новочеркасска.

На Западе популярно рассуждение о природной покорности русских, их фатальной любви к культу власти. Но попробуйте стать прямо перед танками: в какую сторону вы пойдете или побежите? Под танки или прочь от них? Рабочие Новочеркасска пошли сквозь танковые заграждения. Колонны рабочих с разных заводов начали стекаться к центру города. Они шли с пением «Интернационала», с портретами Ленина и с красными флагами. Все жители вышли на улицы, дети сидели и висели на крышах и деревьях. Когда демонстранты, прорвав оцепления, захватили здания городского комитета партии и милиции, был дан приказ

стрелять.

Солдаты били из автоматов по крышам, по деревьям, по густой толпе, по танкам, облепленным рабочими, затыкающими смотровые щели рубашками. Танкисты не стреляли[9].

Всю ночь пожарные машины смывали с улиц кровь. Тела убитых и тяжело раненных увозили машинами и хоронили за городом в оврагах, тайно от родственников. Рассказывали о побеге раненого подростка из кузова автомашины, заваленного трупами. Больницы были полны ранеными, но многие прятались и исчезали из района. Один солдат был убит.

Волнения продолжались еще месяц. Два или три члена Политбюро, среди них Микоян, приезжали из Москвы, угрожали административной высылкой всех поголовно жителей Новочеркасска. Судили и осудили более ста рабочих, семерых приговорили к расстрелу. Расценки оставили пониженными, но снабжение улучшили и цены не подняли. Я знал об этом всем…

Теперь, после чешской трагедии, я обдумал мою жизнь еще раз заново и решил, что уйти добровольно из науки не смогу, это будет равносильно смерти. Я буду продолжать научную работу, пока меня не остановят силой. Но эта тоталитарная цивилизация, расползающаяся по миру, как раковая опухоль, неприятна мне, отвратительна, и не сопротивляться ей значит жить с постоянным ощущением вины. Надо что-то делать. Начать с того, что познакомиться с московскими диссидентами, а потом будет видно.

В эту самую осень, после того как я принял мучительное решение разойтись с Ирой, я встретил Ирину Валитову. Москвичка, жившая с матерью и младшим братом в коммунальной квартире, где в каждой из шести комнат кто-нибудь когда-нибудь сидел, половина — по политическим статьям, она работала смотрительницей в музее им. Пушкина и изучала искусство на вечернем отделении университета. Я увидел ее в музее и пригласил в кино. Через несколько месяцев мы сняли комнату в Москве.

Ирина путешествовала со мной в Ереван и обратно, пока через пару лет ей не пришлось вовсе осесть там: Министерство среднего машиностроения решило ограничить мои поездки. Ереванский институт теперь контролировался им так же, как и ИТЭФ.

Очевидно, в этом министерстве и вообразить себе не позволяли, что я, русский, мог пройти в армянскую академию на выборах, проходивших предыдущей весной. Меня выдвинули туда по предложению Алиханяна. К тому времени я давно уже простил

его за попытку сделать из меня раба, а он, если исключить тот оскорбительный эпизод, поступал со мной всегда по-дружески. Когда меня выбрали в академию, заместитель министра по кадрам, мой старый друг чекист Мезенцев, как бы укушенный бешеной собакой, призвал директора физического института к ответу. Генеалогическое дерево Мезенцева корнями уходило, вероятно, в царскую охранку. Известно, что в прошлом веке один Мезенцев был в высоком жандармском чине и по этой причине зарезан революционером в Санкт-Петербурге.

— Как могло случиться, что Орлова выбрали в академию? — кричал он на Алиханяна. — Как вы, директор, могли допустить такое? Решение вашего ученого совета зависело от вас. От вашей позиции зависело голосование в академии. А вы — вы даже не поставили нас в известность, куда идет дело!

Алиханян не рассказал мне, как он защищался, но очень хорошо его зная, я представил себе, как склонял он лысую башку — хороший, известный физик, — изображая раскаяние в содеянной политической глупости. Мне стало неловко.

— А дело-то сделано! — заключил Алиханян, смеясь. — Вас выбрали. Не переголосуешь.

Он ошибся. В 1979, когда я был в лагере, а он в могиле, академия переголосовала.

В 1970 году министерство произвело на свет приказ, согласно которому «с целью экономии средств» ученых имели право командировать в Москву не более чем на шесть дней не чаще двух раз в год. «В исключительных случаях допускается…» Но я под такие исключительные случаи никогда не подпадал. Министерству трудно было выбрать более подходящий момент для ограничения поездок. Я выдвинул идею сооружения сверхбольшого (100 ГэВ) электрон-позитронного коллайдера, моя ереванская лаборатория начала его рассчитывать и обсуждения с физиками в Москве были критически важны. Я хотел также развивать контакты с диссидентами. И у меня улучшились отношения с Галей, я мог встречаться в Москве с Димой и Сашей сколько угодно и в любое время.

В моих теперь редких научных поездках за пределы Армении одно крысоподобное лицо, министерский чиновник Макаров-Землянский, часто пересекало мне дорогу. Этот тип фактически заблокировал ее на небольшом совещании в Тбилиси, посвященном советской программе по ускорителям элементарных частиц. Неофициально меня пригласил туда Алиханян, потому что должен был обсуждаться и мой проект нового коллайдера. Макаров-Землянский не позволил мне пройти в зал. Я пропустил все доклады, включая обзор Виктора Вайсскопфа по советской

программе, ради которого он прилетел из США. Выйдя, Вайсскопф поглядел на меня с укоризной, но я решил не суетиться и не объясняться.

Я проработал еще два года в Ереване в таких условиях, разрабатывая проект коллайдера. В 1972 году мое терпение наконец лопнуло. Меня вызвали телеграммой в Москву на заседание научного совета по ускорителям Академии наук СССР как члена президиума этого совета. Две официально разрешенных командировки в Москву были мной в этом году исчерпаны и, договорившись с Алиханяном, я полетел туда за свой счет. Макаров-Землянский меня видел, и, когда я вернулся в Армению, уже лежал приказ министерства: выговор с вычетом из зарплаты за те дни, что я «отсутствовал на работе» в Ереване. С меня было довольно. Они, видно, забыли, что прописка-то у меня московская. Что я не очень-то завишу от них. Я уволился.

В это же самое время Артемия Исаковича Алиханяна снимали с директоров. Легко могли бы и посадить. Когда еще в 1967 году запускали ускоритель, нужно было, чтобы рабочие и техники вкалывали, не считаясь со временем. Поэтому нужна была сверхзарплата за сверхработу выше разрешенного законом предела. Алиханян вышел из положения, оформив сотрудниками жен, в глаза не видевших этого ускорителя. Такого рода трюки делались по Союзу повсеместно. И так как эта техника работала, то высшее начальство смотрело сквозь пальцы. Зато если у тебя с начальством — коса на камень, то посадить тебя или хотя бы уволить было, как говорится, плюнуть и растереть. На этот раз плюнули. Алиханян был уволен. К счастью, у него еще оставалась лаборатория в физическом институте имени Лебедева в Москве. Он покинул Армению вскоре после меня.

После шестнадцати лет в некотором роде ссылки в Армению мне было грустно ее покидать. Я полюбил покрытые выгоревшей травой горы, раскрашенные разноцветным лишайником камни, террасы с бегающими вверх-вниз ребятишками, старые дворики и улочки, доброжелательных, мирных, работящих людей.

В нашей стране, однако, в свое удовольствие не погрустишь. Как и не соскучишься. Чтобы получить расчет, надо было вернуть в институт мою временную квартиру. Я ее уже освободил и почистил, когда жена моего друга и сотрудника Гарика вошла в нее, заперла дверь на ключ изнутри и села на пол. Она ожидала второго ребенка и решила оккупировать территорию силой. Их семью тем или иным способом постоянно обходили при распределении жилья. Многие годы они жили с ребенком в одной комнате в институтской гостинице. Кабинетом Гарику служила крошечная уборная, где он работал, сидя на толчке и ведя свои

вычисления на столике, который специально для этого соорудил.

В это время мои сыновья, Дима и Саша, ожидали на Черном море приезда моего и Ирины. Но я не мог выехать, не получив официальный расчет. Вдобавок секретарь парткома Акоп Алексанян начал уже объявлять всему свету, что Гарик (у которого не задерживалось в кармане и двадцати копеек) купил у Орлова ключ от институтской квартиры за двадцать тысяч рублей.

— Гарик, — взмолился я, — объясни ты ей, ради Христа!

— Ты же ее знаешь, — пожал Гарик плечами. — Если ей что втемяшится, это уж ничем не выбьешь.

— Освободи квартиру! — заорал я, рискуя нашей многолетней дружбой.

После полусуток переговоров через дверную щелку Гарик уговорил жену уйти.

Рассчитавшись с квартирой, я направился за следующей подписью в спецотдел. Начальник спецотдела, человек приятный и быстрый на работу, подписал обходной лист и протянул мне руку. Я бездумно пожал ее и только тогда вспомнил: вчера рассказывали, что какая-то старуха в троллейбусе вдруг вцепилась ему в волосы и пронзительно кричала: «Ты пытал моего мужа! Ты пытал моего мужа!» Он еле отделался от нее. Дело было, объяснили мне, двадцатилетней давности. Армяне — советские солдаты, убежавшие из немецких лагерей военнопленных, воевали в рядах итальянского сопротивления, а вернувшись в Советы, были, естественно, арестованы: слишком много общались с заграничными людьми. Они прошли якобы через руки и этого гебиста, который, говорили мне, жестоко избивал их на допросах и отправил в сибирские лагеря. Кто знает, подумал я, может, те лагеря соскучатся и по мне. Я решил провести мои последние часы в Ереване с Костей.

Костя лежал на диване непробудимо пьян. Среди армян пьянство редкость, но Костя был армянин только по паспорту. Совсем юным партизаном-коммунистом он сражался в горах родной Греции сначала с нацистами, потом с англичанами. «Для нас не было разницы между немецким империализмом и английским», — объяснил он. В одном бою их отряд взял в плен сотню англичан, и Косте приказали просто расстрелять их. Он их расстрелял из пулемета, и за этот подвиг был приговорен греческим судом к смертной казни заочно. Затем с документами армян-репатриантов он и его родители, тоже коммунисты, были эвакуированы на советском теплоходе в Советский Союз.

В Ереване он начал учиться в университете. Но скоро трое студентов, армян-репатриантов, предложили ему бежать вместе с

ними через турецкую границу на Запад. Они объяснили, что, когда ехали в СССР, знали о социализме из книг, и он казался хорошим, но то, что увидели здесь, не померещилось бы и в самых дурных кошмарах. Костя, разумеется, отказался. Один из троих был ранен, но переплыл через бурный Аракс на ту сторону, другого пограничники убили, а третий испугался плыть и был схвачен. На допросах он показал, что Костя знал об их планах. Костю арестовали. Отказавшись давать какие бы то ни было показания даже на очной ставке с этим идиотом, так как не знал, что сталось с двумя другими, Костя получил 25 лет за измену родине, гражданином которой еще не был. Со смертью Сталина его освободили, продержав в лагерях только семь лет, зато — в самых знаменитых. Он заведовал в институте складом, писал рассказы, которые передавались по радио на Грецию из Будапешта, и, кроме того, работал на киностудии. Поглядев на его серое лицо, я вышел[10].

Итак, летом 1972 года я наконец вернулся в родную Москву. Теперь можно было присоединиться к диссидентам и в особенности к великому Сахарову, который открыто порвал с государственной идеологией и программой ядерного вооружения. Большинство ученых, которым не хватало смелости быть независимыми даже на собственных кухнях, воздвигли невидимую стену между собой и Сахаровым. Я встречал его прежде на научных семинарах. Он знал мою историю 1956 года в ИТЭФ и видел мое желание поддержать его борьбу за права человека. Но вначале, вплоть до 1973, то ли моя стеснительность, то ли сдержанность не позволили мне пойти к нему прямо домой, чтобы обсудить наши точки зрения. Потом я узнал, что он и его жена Елена Боннэр всегда держали двери открытыми. Их дом был оазисом независимой мысли и постоянной готовности помочь тем, кто страдал от властей за идеи, за критику, за национальность. В логичном, спокойном, как бы спящем иногда Андрее Дмитриевиче и его быстрой, взрывчатой Елене я нашел близкие мне души.

Той осенью мы с Ириной поженились формально и поселились в центре Москвы. Мы сняли небольшую комнату в коммунальной квартире на пятом этаже хорошего старого дома без лифта. Хозяйка, Нина Сергеевна, громкая и веселая пятидесятилетняя вдова летчика-генерала, жила в комнате рядом. Еще в одной комнате жила маленькая старушка-сморчок, каким-то образом не помирающая на свою пенсию. Жил также престарелый Нинин фокстерьер, которого она вечно забывала

вывести.

Однажды утром веселая громкая Нина Сергеевна легла на железнодорожное полотно, положив свою полную белую шею на рельс. Все это произошло после того, как ее сын-солдат, получив воскресную увольнительную, на ее глазах выкинулся из окна ее комнаты. Он был пьян, но причина была не в этом. Дело было в том, что Нина Сергеевна при своих старых связях могла бы освободить его от призыва. Вместо этого она, наоборот, сама затащила его в армию. Все ей говорили, и она всем говорила, что армия сделает из него настоящего мужчину. Однако ее картинка военной службы покоилась на памяти о сороковых годах, времени молодости ее мужа, моей молодости. Служба в те годы была другая, в некотором смысле лучше. Не было избиений молодых солдат старшими да еще в таких масштабах, о каких и в царские времена не слыхали. Парень не выдержал. Что сталось с Нининой бедной собакой, мы не знаем, потому что переехали на другое место.

Это был старый дом на Арбате, в котором Пушкин и его молодая Наталья жили сразу после венчания. Мой друг (Гарик Мерзон) предоставил нам комнату, в которой раньше жил его отец, недавно умерший. Прописываться в ней не разрешалось, но зато никто не имел права и занять ее, потому что весь дом планировали отреставрировать и передать Пушкинскому музею. Можно было жить, пока не выгонит милиция. Комната была большая, о двух окнах и с голландской печкой. Было приятно думать, что эти вот изразцы помнили Пушкина, гревшего об них спину 150 лет тому назад.

Еще раз я был в Москве без работы, снова зарабатывал частными уроками. Правда, теперь добавлялось 150 рублей в месяц за мое член-корреспондентство в Армянской академии. В целом хватало и на жизнь самим, и на помощь детям. Но быть безработным в сорок восемь лет намного неприятнее, чем в тридцать два. Этой безработицы я не ожидал. У меня была твердая договоренность с Московским университетом о должности профессора на новой кафедре физики, организуемой на мехмате теоретиком Алексеем Абрикосовым. Уже и документы были приняты. Но Алексею было заявлено, что он не подходит потому, что без разрешения женился на француженке, а Орлов не подходит, потому что был шестнадцать лет назад исключен из партии и по партийной линии никогда не реабилитировался. Так же не получилось с оформлением меня на работу и у Ленинградского физико-технического института.

Я оставался без работы несколько месяцев, пока академики Л. А. Арцимович и Р. З. Сагдеев не помогли мне получить

должность старшего научного сотрудника в Институте земного магнетизма и распространения радиоволн. Получив работу, я получил и право купить квартиру в кооперативе. Мать Саши Барабанова дала мне взаймы денег на первичный взнос, и в первый раз за нашу с Ириной жизнь в Москве мы зажили в более или менее нормальных условиях. По счастливому совпадению новое жилье было в самом центре «диссидентского квартала». Совсем рядом жили мой старый друг Валентин Турчин, который вместе с Сахаровым и Роем Медведевым уже написал свою знаменитую самиздатскую статью — обращение к властям; Александр Гинзбург, журналист и один из основателей самиздата; Людмила Алексеева, историк и редактор; Елена Арманд, внучка подруги Ленина; и несколько семей отказников.

— Ты прекрасно знаешь, что это было не совпадение, — сказала мне Ирина через несколько лет. — Ты получил в точности то, что хотел.

Глава тринадцатая
В оппозиции

В сентябре 1973 началась бешеная травля Сахарова. В «Правде» появилось заявление кучки известных академиков, осуждавших его антипатриотическую деятельность. Затем пошли злобные письма бригадиров, если и существовавших в реальности, то в глаза не видавших сочинений Сахарова. Академики, однако, существовали в реальности. Я знал, что большинство из них — хорошие ученые, но знал также и истинную цену публичных заявлений такого сорта.

Мне хорошо запомнились заклинания тридцатых годов, в которых одни академики требовали смертной казни для других, уже арестованных. Затем некоторые из этих академиков были арестованы сами, и тогда третьи, еще живые, публично требовали смертной казни для них.

Из самиздата мне было известно, что в архивах КГБ хранится немало доносов академиков друг на друга. Ладно, то были тридцатые годы. В семидесятых чиновник Академии наук сообщил мне, не называя фамилий, что среди академиков имеются стукачи КГБ, и что в обмен на этот милый сервис КГБ помогал или в любом случае не препятствовал движению их научных карьер.

Моральная стоимость академических кампаний против Сахарова была нуль без палочки, как говаривала моя мать. Приличные академики не участвовали в них. Одни, как Будкер, исчезали на время, немногочисленные герои, вроде Капицы и Сагдеева, отказывались напрямик.

Сахарова, с которым я был знаком теперь хорошо, надо было поддержать немедленно. К концу недели я закончил с этой целью «Тринадцать вопросов Брежневу». Гебисты положили в свои сейфы первые вещественные доказательства моего будущего уголовного дела.

«Тринадцать вопросов Брежневу»[11] были письмом не столько в защиту, сколько в честь Сахарова. Так как наши взгляды не точно совпадали, то наилучшим способом его защиты и моральной поддержки была моя собственная критика режима. В основе моего письма лежала та мысль, что фанатичная приверженность идеологии, отрицающей существование свободы выбора и свободы самовыражения как врожденных потребностей человека, ведет к феодальному характеру отношений между государством и гражданином и к научной, экономической и

культурной деградации. Среди моих требований были: отмена цензуры, свободный обмен идеями, гласность. Экономические предложения состояли в том, чтобы, формально сохраняя государственную собственность, имитировать Запад с помощью таких стимулов экономического развития, как введение свободы частной инициативы для руководителей производства по регионам, с зарплатой, зависящей от прибыли.

Я попытался таким образом дать предварительный ответ на наиболее мучительный вопрос: каким путем можно было бы начать мирный переход от дремучего советского «социализма» к современной демократии? Учитывая практический характер письма и широкий круг обсуждаемых вопросов, в нем не имело смысла углублять темы, относящиеся к природе человека, и я опустил тот важный для меня пункт, что сосуществование взаимно противоречивых социальных концепций внутри одной и той же социальной системы неизбежно, что они сосуществуют даже в одном и том же сознании, так как человеческая натура разрывается на части от желания двигаться одновременно в разных направлениях. Однако феномен такого сосуществования глубоко заинтересовал меня с чисто научной точки зрения, и я уже начал искать для него математический аппарат (годом позже я назвал его «волновой логикой»). Что до моих экономических замечании, то предложение промежуточного варианта — свободы частной инициативы в рамках государственной собственности — появилось но той простой причине, что прямой прыжок в современную западную форму капитализма в российском контексте казался невозможным. Массовое сознание относилось к частнопредпринимательской деятельности с огромным недоверием.

Пятнадцатью годами позже мои предложения были частично реализованы Горбачевым, хотя и совсем не с той целью (как он сам часто повторял), чтобы воспроизвести демократию западного типа. Однако то, что было умеренно прогрессивным и своевременным в те годы, когда я это предлагал, стало абсолютно запоздалым и уже слишком консервативным сегодня.

Конечно, я ни секунды не верил, что конструктивный разговор с режимом был возможен, но решил, что в первом публичном выступлении не следует исходить из такого постулата. Власти должны доказать на деле, что никакого плюрализма в идеях они не признают и никакой серьезный диалог со мной вести не будут. Письмо, размноженное на машинке, с подписью и домашним адресом, было послано Брежневу, в редакции официальных газет, а кроме того, пущено по общественным кругам Москвы, Новосибирска, Еревана. Ответ

Брежнева пришел в форме вопроса в анонимном телефонном звонке («Это вы послали письмо?»), а затем в виде десяти одинаковомордых типов, начавших фланировать у входа в наш подъезд, натыкаясь, спотыкаясь и поскальзываясь перед самым моим носом, чтобы как следует разглядеть мое лицо. Освоившись с этим этапом, они оборудовали затем штаб-квартиру в соседнем подъезде. В течение следующих трех с половиной лет, когда одна смена агентов КГБ располагалась в ней на сон (дрыхнуть они любили), следующая прогуливалась в окрестностях, стараясь не выпускать меня из виду. Вне района чекисты следовали за мной лишь иногда, пешком или на машине, пока я не организовал Хельсинкскую группу. После того они следовали за мной везде и всегда.

Так как почти все, что публиковалось в СССР официальными специалистами по экономике, философии или социальным наукам было примитивным и нечистым бредом сивой кобылы, интеллигенты радовались любым новым, честным и разумным идеям, развиваемым неспециалистами. Поэтому письмо Брежневу читалось с интересом и распространялось в разных городах отнюдь не всегда диссидентами. Некоторые люди специально приезжали в Москву пообсуждать его со мной. Это и было моей главной целью. Диссиденты письмо тоже читали, но без особого возбуждения, потому что каждый из них сам давно работал над своими собственными идеями.

Прочел «Тринадцать вопросов» Солженицын, и с этого началось наше знакомство. Поздним осенним вечером меня повезла к Александру Исаевичу Аня Брыксина, дочь общего знакомого. Мы вышли на подмосковной железнодорожной станции, название которой я не стал запоминать, и через полчаса ходьбы вошли в темный проулок дачного поселка. Перед нами встал глухой высокий забор, за забором — большой неосвещенный дом. Аня ушла в темноту, где ее уже ждали, вернулась за мной и мы последовали за среднего роста плотным человеком. Бесшумно прошли через калитку, которую он тут же замкнул (я узнал Солженицына по огромному лбу), и вошли в дом. Он тщательно закрылся и прислонил — я не понял что — к двери.

— Вилы, — шепнула Аня.

— Если попытаются напасть, — пояснил Солженицын вполголоса.

Узкий свет ночной лампы освещал рукопись на столе. В маленькой комнате стоял еще электрический обогреватель, стул и скамья; окна были плотно занавешены.

— Здравствуйте, — сказал он.

Он расспросил меня обо мне. Я дал ему письмо Брежневу:

— Да, — сказал он, прочтя внимательно, — можно подходить с разных сторон, но с какой ни подойди, результат все тот же: у этой системы будущего нет.

— На каком минимуме вы смогли бы заключить перемирие с режимом? — поинтересовался я.

— На свободе печати.

Примерно через час мы с Аней ушли.

В сталинское время Анин отец сидел вместе с Солженицыным в той научной шараге, которая описана в романе «В круге первом». Это Иван Емельянович Брыксин смог вынести из зоны известный рисованный портрет заключенного Солженицына. Мать Ани, Екатерина Михайловна, тоже сидела, забранная от двух маленьких детей за одно замечание, сделанное на коммунальной кухне, что в ее городе немцы-оккупанты вели себя неплохо. Они познакомились в лагере, поженились после освобождения и были реабилитированы после смерти Сталина.

Ко времени нашего знакомства Брыксин заведовал большой электрохимической лабораторией, старшие дети жили со своими семьями, а младшая, Аня, училась в институте. Теперь они оставались втроем в трехкомнатной московской квартире. Но по воскресеньям комнаты заполнялись бесчисленными друзьями, родственниками — стол, выпивка, политические разговоры, фокстрот. Иногда мы пели русские песни и романсы. Аня, мать и ее сестра Нонна имели отличные голоса. Сидя у них, я всегда чувствовал, что нет, не все убили в русском народе. Только в глазах у Ивана Емельяновича темнели тюрьмы, шмоны да этапы.

Анечка давала друзьям-студентам читать Солженицына. Естественно, в середине выпускных экзаменов ей позвонили домой: комсомольский секретарь просил зайти в институтский комитет комсомола. Что-то показалось ей подозрительным и в его голосе и в неурочности просьбы, но делать было нечего — она поехала. Екатерина Михайловна на всякий случай быстро унесла из дома весь сам- и тамиздат. У дверей института Аню встретили два статных незнакомца и, взяв милую девушку под руки, любезно проводили, но не в комитет, конечно, комсомола, а в особую комнату, где и начали допрос.

Аня — дочь своих отца с матерью. От начала и до конца она держалась «отрицаловки» — лучшего способа никого не подвести.

— Ну, зачем же так, Анна Ивановна, — говорил один из молодцов. — Ведь у нас свидетельства есть.

Он порылся в портфеле и достал папочку, из папочки бумажку. Студент доносил, что на репетиции хорового кружка

студентка Брыксина дала ему книгу Солженицына «В круге первом».

— Да это никакое не свидетельство, тут подписи нет, — сказала Аня.

— Да зачем тебе подпись? Ну, если ты… Если вы настаиваете…

Он порылся в папочке и достал еще одну бумажку — вторую страницу доноса с подписью.

— Ничего не знаю, — сказала Аня. — Все это он выдумал зачем-то. Может, приревновал?

— А-а-нна Ивановна! У нас есть и другие свидетельства.

Он порылся еще и вытащил еще бумажку. Это был уже не донос, а нервное признание одного студента, где он повторял и повторял, что да, это имело место, но он сам лично попросил у Брыксиной книжку. Аня знала, кто это писал, но на этот-то раз подписи как раз и не было.

— Недействительна, — сказала Аня. — На ней подписи нет.

— Но… Анна Ивановна! Это же все правда?

— Нет, это все ложь!

Она их изумила и была отпущена. Ее исключили из комсомола, в чем беды не было никакой. Но затем попытались завалить на экзамене по научному атеизму, все научные доказательства которого она знала наизусть. В конце концов диплом ей выдали. Я уверен, что власти побоялись шума, который поднял бы друг семьи Солженицын: отец с матерью отсидели ни за что, а теперь и дочери надо отсиживать? От нее отстали и она начала работать инженером на ЗИЛе.

Так же как и моя Ирина, Аня вошла в первый состав советской группы «Международной амнистии», организованной в октябре 1973 года Валентином Турчиным как часть нашего общего плана — способствовать образованию как можно большего числа неофициальных правозащитных групп, вовлекая людей в разнообразную мирную деятельность, независимую от правительства. Андрей Твердохлебов, физик, один из основателей Комитета по правам человека, взял на себя почти всю практическую часть: собрать людей, связаться с «Международной амнистией» в Лондоне, составить нечто вроде устава. Нас набралось двадцать пять — тридцать человек, главным образом научных работников и писателей из Москвы, Ленинграда, Киева, Тбилиси, желавших дать советским гражданам пример преданности плюрализму и терпимости к различным идеям, не связанным с насилием. Соответственно, мы выступали в защиту южновьетнамского левого профсоюзного лидера, югославской

узницы правых взглядов, индонезийских коммунистов, сидящих без суда только за принадлежность к партии, рабочих-забастовщиков Польши.

В слякотном ноябре профком моего института выделил мне дешевую «горящую» путевку в подмосковный дом отдыха.

Целыми днями я гулял там один в мокром лесу, заходя в помещение только поспать да поесть, и никто не следил за мной, не топал вслед. Отдыхали там люди простые — канцеляристы, техники, рабочие, машинистки. С ними было легко и бездумно. Когда шли ливни, я проводил время в приятных беседах с одним старым бухгалтером, количество историй которого стремилось к бесконечности.

— Наш народ… Ему нужен кулак, кулак, а потом еще кулак, — учил он меня одним вечером, не спеша потягивая хороший коньяк. — Анархия, не народ. Я вот помню революцию. Нас, матросов, послали по деревням организовывать комбеды. Приезжаем в одно село, собираем мужиков, разъясняем: мир, свобода, земля крестьянам, расходись. Было у них там помещичье имение, дом в полной сохранности, двухэтажный, богатейший, двери-окна заколочены.

Сам хозяин, говорят, убит еще на германском фронте, где семья — неизвестно. Вешаю бумагу: «Народная собственность, не трогать». Мужики читают. День-два проходят, влетает вестовой — грабят! Мы на тачанку и туда. Вот картина! Мужики, бабы, ребятишки тащат все подряд, что в дверь не проходит, нет, чтобы разобрать, а вместо этого пилят, рубят, кидают в окна по частям, волокут половинки шкафов, диванов, суета, как на пожаре. Мы дали из пулемета поверх голов. Визг, из дверей, из окон посыпались, как горох, и разбежались… А что толку? Почти все разбито, растащено, а что не растащено — растащат. Я уж сам приказал: ладно, подбирайте остатки да не ломайте же, сволочи. Так они что придумали? Рояль и трюмо с большим зеркалом вытащили аккуратненько, смогли же, подлецы, и поставили у деревенского колодца. Раз ни в какую избу не лезет, говорят, пусть все бабы одинаково в зеркало смотрятся, когда за водой ходят. А рояль пусть тоже на забаву стоит, пока не найдем приложения.

Но ведь и скот по улице ходит. Бык посмотрел на свою морду, не понравилась, разбежался, трах — зеркало вдребезги. Опять неплохо: в каждом доме повесили по осколку. И роялю нашли приложение, струны на тяги пошли. Дом тоже по кирпичику растащили. Вот так. А вы говорите — демократия. Этому народу нужна такая демократия, какая при царе на каторге не снилась.

Не говорите.

— А разве я что сказал?

— Не знаю. Здесь болтают, может, украл что, иначе чего тут за ним, за вами то есть, посматривают. А мне кажется, ляпнул чего не надо. А?

Вот тебе раз! А я-то думал — у меня здесь свобода…

— И что интеллигенция ворошится? — спросил он. — Вроде новая интеллигенция — из рабочих, а все равно чем-то недовольна. Вот вы, говорите, научный сотрудник? Чего вам не хватает?

— Происхождение не важно, — сказал я. — Интеллигенту, раз уж он стал им, нужна свобода мысли и выражения мысли. Это способ его жизни, условие его существования. Без этого он не интеллигент.

— Вот как?

Вернувшись в институт через неделю, я узнал, что Московский университет и Физический институт имени Лебедева выдвинули меня, вместе с Соколовым, Терновым, Лебедевым и Коломенским, на Государственную премию и что я уволен с работы с 1 января. Директор моего института, глядя мне прямо в глаза, объявил, что уволен я просто по сокращению штатов. Сахаров и математик Игорь Шафаревич направили в Академию наук протест по этому поводу, передав его текст иностранным корреспондентам. Без поддержки из-за рубежа чисто внутренние протесты пользы не приносили.

Третий раз в моей жизни я снова оказался без работы. На устройство в Москве рассчитывать было глупо. Но оставалось еще членкорство в Армянской академии, и, по правилам, она должна была обеспечить меня работой в Армении. Армения была прекрасной страной, встретившей меня когда-то добром, и хоть не хотелось снова жить за пределами своей стороны, выхода у меня опять не было. Я договорился с президентом Армянской академии Виктором Амбарцумяном, когда он был в Москве, что он берет меня на работу в свою Бюроканскую обсерваторию.

Немного позже я прилетел в Армению на свои последние деньги и поднялся в Бюрокан. В первый день Амбарцумян встретил меня радушно, поводил по обсерватории и показал телескопы. Во второй день он исчез.

Понимая, что это означает, я спустился с гор в «Ереван и поговорил с директором Математического института Академии наук Джрбашяном о работе у него. Джрбашян был согласен, но, добавил он, в моем случае придется получить еще и согласие президента.

Пришлось пойти еще раз к Амбарцумяну. Разговор вышел коротким.

— Мы помогли вам восемнадцать лет назад, в 1956, — сказал он. — Второй раз мы сделать этого не сможем.

Очевидно, Виктор Амбарцумян, всемирно известный ученый, всесильный человек в Армении, член ЦК компартии республики, сносился с Москвой и получил указание непосредственно оттуда.

Через год, в 1975, в компании с еще 71 ученым, Амбарцумян подпишет протест против присуждения Сахарову Нобелевской премии мира. Еще через четыре года его академия секретно исключит меня из своего состава, а он будет лгать обо мне в газете «Монд».

Напоминать ему об обязанностях академии перед своими членами было напрасно.

Я вернулся в Москву ни с чем и уже никогда не работал в своей стране как научный сотрудник.

Вскоре после этого Коломенский и Лебедев попросили свидания со мной на частной квартире.

— Слушай, Юр, — сказал Андрей Лебедев. — Нас предупредили, что если мы не исключим тебя из списка на Государственную премию, то в центральных газетах появятся погромные статьи о наших работах и премии мы не получим Мне это не нравится, но и работ жалко — хорошие ведь работы. Что делать?

— Выход один, — сказал Андрей Коломенский. — Вам надо, Юра, добровольно исключить себя из списка. Нам сказали, что вы подписали какую-то коллективку. Сами знаете, что это значит.

— Я не знаю, что это значит, — заметил я.

Под «коллективкой» они имели в виду, конечно, декларацию об образовании группы «Международной амнистии».

— Вы подписали какой-то документ против государства, и, естественно, государство имеет право отказать вам в своей премии.

— Мне не нравится эта логика, — сказал Лебедев.

— Это просто параноидальное государство, — сказал я.

— Но вы живете в этом государстве, — сказал Коломенский.

— Я не играю, — отрезал я.

Никаких погромных статей в газетах не появилось, и дальше я за ходом этого дела не следил.

В конце января 1974 у Брыксиных — в последний раз — сидел в гостях Солженицын. Обычно страшно скупой на время и совсем не пьющий, он просидел с нами более двух часов и выпил рюмку водки. В августе госбезопасность раскрыла тайник с

машинописной копией труда «Архипелаг ГУЛАГ». Он рассказал нам трагическую историю машинистки.

У этой пожилой ленинградки, тайно печатавшей для него «Архипелаг», оставалась на руках последняя, некачественная, копия. Солженицын настойчиво требовал: уничтожьте. Он хотел обнародовать этот взрывной документ гораздо позже, а до тех пор держал его в собственном, недосягаемом для КГБ, архиве. Она, однако, сохранила рукопись на память. Прошло некоторое время и, не понимая, что делает, она дала почитать ее близкому другу, старичку. Старичок, по-видимому, проболтался своим близким друзьям. Через какое-то время об этом стало известно КГБ. Идя по цепочке назад, КГБ без шума вышел на машинистку, и ее взяли. В конце пятого дня допросов она выдала свой тайник. «Архипелаг» вместе с именами множества свидетелей, на показания которых опирался Солженицын, попал в руки КГБ. Старушку отпустили. Придя домой, она тут же повесилась.

Друзья знали о допросах. Лев Копелев, в свое время сидевший, как и Брыксин, в одной шараге вместе с Солженицыным, немедленно позвонил ему из Ленинграда. Солженицын немедленно дал команду своему адвокату в Женеве публиковать «ГУЛАГ» и сделал об этом открытое заявление.

Теперь он ожидал ареста. Жил он в это время в Москве.

— Я не вижу слежки, — сказал он. — Это значит не сегодня завтра арестуют.

Он говорил об этом спокойно. Твердость и ум были выписаны на его лице с предельной, фантастической силой.

Меньше чем через две недели Солженицын был арестован и обвинен в «измене родине». Затем, по личной просьбе Генриха Белля и по согласованию с западногерманским правительством, но не спрашивая, конечно, согласия самого Солженицына, его депортировали из советской тюрьмы прямо в ФРГ, лишив на ходу гражданства.

Сразу после его высылки я присоединил свою подпись к обращению-протесту московских интеллигентов, в котором, в частности, предполагалось учредить международный трибунал типа Нюрнбергского для расследования преступлений, описанных в «Архипелаге ГУЛАГ».

Я не считал и не считаю, что по прошествии стольких лет после красного террора — как бы ни были кошмарны его методы и масштабы — следует казнить или сажать в тюрьмы доживающих свой век преступников. Бывшие вожди, члены троек, прокуроры, следователи, охранники, писатели ложных доносов и многочисленные писатели-теоретики и пропагандисты террора — пусть живут. Но они должны быть публично судимы. И все

злодеяния, независимо от того, живы или мертвы преступники, должны быть публично расследованы.

Как и всегда, когда я попадал в трудные положения, Евгений Тарасов (теперь глава лаборатории в ИТЭФ) без промедления оказал мне материальную поддержку. На протяжении нескольких месяцев поступила также помощь из Еревана, из Новосибирска от Будкера, из Цюриха от Солженицына. Позже, когда Сахаров получил Нобелевскую премию мира, Елена Боннэр перевела мне деньги на сыновей из своего «Детского фонда». Друг-журналист Игорь Вирко вместе с другими журналистами устроил мне договорные работы в Москве: я редактировал научные диафильмы. (До Горбачева все такие договорные работы за работу не считались и, не будь я членом-корреспондентом Армянской академии, меня бы привлекли за «тунеядство». Так случилось с поэтом Иосифом Бродским, будущим Нобелевским лауреатом.) Все же главным заработком для меня, как восемнадцать лет назад, было частное репетиторство. А что касается физики, то я подключился к независимому научному семинару руководимому Александром Воронелем и Марком Азбелем. Семинар собирался каждую неделю, участвовали в нем безработные физики, по преимуществу отказники.

В ту весну Воронель и Азбель организовали неофициальную научную конференцию, приуроченную к летнему визиту в Москву президента США. Многие иностранные ученые, в их числе Нобелевские лауреаты, желали участвовать и добивались советских виз. Виз Нобелевские лауреаты не сподобились, зато Воронель, Азбель и другие советские участники были вывезены из Москвы и посажены в каталажку. Вениамин Левич, членкор АН СССР, и я оказались под домашним арестом.

Формально арест не объявлялся. Живя с Ириной на первом этаже, мы просто увидели из окошка, что у подъезда стоял милиционер, задерживавший посетителей, на лавочке под окнами уселись три дюжих чекиста, на другой лавочке подальше сели еще трое, а на асфальтовых дорожках между домами маячили уже не десять, как обычно, а двадцать топтунов с переговорниками в карманах, оравшими довольно громко.

— Можно моему мужу выйти из дома? — спросила Ирина милиционера с балкона.

— Да мне-то что, — ответил тот. — Вот те как бы не забрали.

Теперь, когда бы она ни выходила в магазин, ее плотно сопровождали два громилы, зажимая маленькую фигурку между собой.

— Много получаете? — спрашивала она.

— На водку хватает, — отвечали.

Когда пыталась позвонить больной матери из автомата (наш телефон отключили), сзади нажали на рычажок. К автобусу прорваться ей тоже не удалось — перехватили и пригрозили арестом.

— Не стыдно вам, дармоеды? — укоряла она.

Молчали. Она давала им тащить свои авоськи с картошкой.

Но все живое хочет жить, как говаривал еще Никита Хрущев. По ночам они дремали, по ночам у нас были гости. Первой «пришла», взобравшись через боковое окно, Анечка Брыксина с букетом цветов. Мы проговорили до рассвета. В пять она выскочила, когда те еще дремали. Позже она остановила милицейскую машину и всунула им копию моего заявления, оригинал которого послала в Моссовет. «Какие-то неизвестные мужчины, — писал я в заявлении, — преследуют мою жену на улицах. Прошу оградить жену от возможного насилия». Документ помог! — гебисты стали топтаться в десяти шагах позади нее.

Вторым гостем был русоголовым Веня, мой ученик, живший в соседнем доме. Его отец, Михаил Агурский, безработный кандидат технических наук, православный верующий, еврейский отказник и тоже участник семинара, сидел в это время в каталажке. У дверей его квартиры дежурил милиционер. Веничкина русская мама, участковый врач, ходила к больным в сопровождении двух охранников, тогда как Веничку конвоировал в школу, из школы и на прогулках по окрестностям всего один, потому что Веничка был еще маленький, десять лет. Гулять с чекистами Вене нравилось. «Гол!» — говорил он и перелетал через забор. Пока дядя уныло перелезал, Веничка исчезал за углом. Так он появился и у нас — просто прилетел.

Не узнанный чекистами, прорвался в подъезд и далее, к нам, Валентин Турчин, чтобы обсудить мое и его положение. Его выживали из вычислительного центра промышленного института. До этого он был уволен по политическим причинам из Института прикладной математики. Он не был намерен сидеть без работы, теряя лучшие годы: если его безработица затянется, он уедет из СССР, приняв давнишнее приглашение Колумбийского университета США.

Домашний арест сняли через десять дней. Мы узнали об этом по заработавшему телефону, по исчезновению милиционера и дополнительной квоты чекистов.

Позднее в этом же месяце в Москву приехали три представителя «Международной амнистии». Встретившись с официальными лицами, они передали им список советских узников совести — верующих. Затем пришли к Турчину для переговоров о статусе нашей организации, все еще формально не

зарегистрированной «Амнистией», хотя мы сформировались чуть ли не год назад. С нашей стороны присутствовали Турчин, как председатель, Твердохлебов, как секретарь, я и Татьяна Литвинова, дочь знаменитого наркома иностранных дел Максима Литвинова. Она помогала как переводчица. Гости приводили аргументы против статуса «секции» для советской «Амнистии». С тоталитарной страной, говорили они, дело иметь трудно, можно наткнуться на провокацию КГБ. Твердохлебову, советовали они, было бы разумнее посвятить себя деятельности, более эффективной, чем «Амнистия», «если вы хотите свергнуть эту систему».

— Мы не ставим перед собой такой цели, — заметил я в потолок на всякий случай.

После многих часов переговоров они согласились на компромисс: «Амнистия» зарегистрирует нас как «группу» — наинизший статус, не позволяющий посылать делегатов на международные конгрессы «Международной амнистии». Мне было видно, что им не хотелось иметь трудностей с нами. Возможно также, что очарованное советской политической игрой руководство «Амнистии» решило не осложнять свои отношения с Советами слишком близкими связями с диссидентами.

Когда в 1977 году Шон Макбрайд получил Ленинскую премию мира, многие из нас уже были советскими узниками совести.

Глава четырнадцатая
Топтуны

Не было свободы печати. Редкая семья имела домашний телефон. И отчаявшиеся люди ехали со всех огромных просторов страны в Москву, находили диссидентов и просили о помощи. Мы были их последней надеждой, могли, по крайней мере, рассказать миру о нарушениях прав человека. И мы их защищали, правых и левых, монархистов и троцкистов, верующих и атеистов, независимо от их идей, если только они не призывали к насилию. Нас было каких-то несколько десятков и приходилось вести лихорадочную, сумасшедшую жизнь: поездки по стране на политические суды, составление протестов и воззваний, сбор и выпуск правозащитных новостей, самиздат. Летом 1974 ко мне стали приходить даже письма из уголовных лагерей с просьбами о помощи. Я передавал их знакомому адвокату-профессионалу. Дважды просили присутствовать на судах общины пятидесятников.

Христианские фундаменталисты-пацифисты — пятидесятники — терпели от властей всегда и везде, даже на далеком Дальнем Востоке. К ним врывались на молитвенные собрания, у них конфисковывали религиозную литературу, их молодежь шла в лагеря за отказы от службы в армии.

Первый суд, на котором я присутствовал, был гражданским и проходил в индустриальном городе недалеко от Москвы. Второй раз это было «уголовное» дело епископа Ивана Федотова, рабочего, обвиненного в организации нелегального съезда пятидесятников под видом собственной свадьбы. Он пригласил на свадьбу не только единоверцев, но и друзей-рабочих и соседей. Следствие интерпретировало это как «ширму». Все свидетели, кроме милиции, отрицали версию «съезда». Прокурор, войдя постепенно в экстаз, как это бывает с прокурорами, требовал пять лет строгого режима. Он называл это гуманным решением, и был прав: при Хрущеве, когда советские журналисты и «деятели искусств» изображали баптистов и пятидесятников фанатиками-изуверами, пресвитер Иван Федотов отсидел не пять, а полных десять лет.

Прервав заключительную речь прокурора, я громким голосом произнес, что никаких доказательств у суда нет. Изумленное правосудие раскрыло по-рыбьи рот, судья промямлил: «Вы не можете решать за суд», прокурор затем продолжал свою речь, но уже без экстаза. Когда через несколько часов зачитывали

приговор, версии «съезда» там не появилось. Федотов получил два года усиленного режима за два антисоветских высказывания: «Фашисты!» — когда отряд милиции ворвался к нему в дом среди ночи в надежде захватить молитвенное собрание, и «Ваша политика противоречит Ленинскому декрету!» — когда комиссия при райисполкоме проводила с ним воспитательно-профилактическую беседу. Как говорят советские люди, «привлечен — значит осужден».

В ту же осень мы вместе с Татьяной Сергеевной Ходорович летали в Ереван на суд над Паруйром Айрикяном, основателем подпольной Армянской национальной партии (к которой мы относились, правда, с некоторой настороженностью). Татьяна Ходорович, лингвист, женщина строгая и решительная, была одним из бесстрашных редакторов знаменитой самиздатовской «Хроники текущих событий», в которой публиковалась подробная и аккуратная информация о нарушениях прав человека; она выходила годами, несмотря на неистовые усилия КГБ. Таня это делала вместе с биологом Сергеем Ковалевым и математиком Татьяной Великановой.

В Ереване я настоял, как членкор Армянской академии наук, чтобы нас с Татьяной пропустили в зал суда. (Когда пройти туда же попыталась невеста Паруйра Лена Сиротенко, ее просто арестовали и сунули в КПЗ.) Стойкость Айрикяна вызывала изумление. Со студенческих дней он переходил из тюрьмы в лагерь, из лагеря в тюрьму, и обратно, и теперь его снова судили за «антисоветскую агитацию и пропаганду» на основе писем, писанных из лагеря и конфискованных лагерной цензурой. Получалось, что он агитировал цензоров, но прокурора это не смущало, он требовал десять лет особого режима и четыре года ссылки.

Перед зачтением приговора я вошел в совещательную комнату, где «решалось» его дело. Вместе с судьей и заседателями там сидел прокурор!

— Это нарушение закона, — заметил я.

Они смотрели на меня молча.

— На каком основании вы требуете такой срок? Его письма не дошли до адресатов. И что в письмах? Ничего!

Я вышел.

Началось чтение приговора.

—.. приговаривается к…

Мать Паруйра упала.

Натренированная публика не шелохнулась, судья замолк, охрана схватила Айрикяна, гебисты и прокурор бросились к матери, стали разжимать ей сжатый рот, употребляя столовый

нож, и, поломав пять зубов, в этих действиях преуспели.

— …приговаривается к семи годам исправительно-трудовой колонии строгого режима… трем годам ссылки.

Вечером мы приехали к Айрикянам. Мать лежала на постели со счастливым заплаканным лицом. Ее сын не погибнет.

Пока мы были в Ереване, КГБ исполнял захватывающие пируэты. То, что черные «Волги», набитые армянскими чекистами, следовали не по пятам, а рядом — мы по асфальту, а они сбоку по мостовой, — это было тривиально. Что они сидели в зале, когда я делал научный доклад в физическом институте, а затем дежурили под дверью кабинета, когда мы с моим старым другом Гариком обсуждали нашу общую научную статью, — это уж вовсе тривиально. Не тривиально было, что они перекрыли всю телефонную связь между Москвой и Ереваном, когда обнаружили, какую неприятную информацию передавала в Москву Татьяна Ходорович. «Связь с Москвой неисправна», — отвечали целый день телефонные операторы.

Я бы не поверил, что КГБ способен принимать столь простые, дорогие и эффективные решения, если бы не аналогичный случай с Таней Плющ (Житниковой), которая пыталась провезти из Киева в Москву особо шокирующую информацию об издевательствах над ее мужем Леонидом в СПБ, специальной психиатрической «больнице». На железнодорожном вокзале билетов на Москву не было. Тане показалось это подозрительным, и она прошлась по всем кассам, опрашивая кассирш. И одна наконец призналась: «Есть, есть билеты! Но нам их только что запретили продавать». Таня кинулась на автобусную станцию. Билеты имелись, но на первой же остановке украинские гебисты сняли ее с автобуса и вернули в Киев.

Но какой же смысл — перекрывать информацию на время, зная, что она все равно просочится позже?

А на всякий случай. Запоздалая информация не столь опасна. И потом, может, завтра мы, КГБ, арестуем носителя информации, вот и не просочится.

Почему же не арестовали сразу?

А потому, что раньше не арестовывали. Вам смешно? Нам нет. Видите, новое дело еще только начато, не очень толстое. А обещает быть толстым. Нам нужны большие дела. Большое дело — больше по службе продвижение. Так что подождем.

Хотя диссиденты были все едины в борьбе с режимом, у нас не было согласия в том, «что делать?». Никто из моих близких друзей не верил, как я, что политические реформы в этой стране могли бы начаться сверху под нашим давлением. Несомненно, что и Горбачев такой точки зрения тогда не разделял.

10 декабря 1975 года, в Международный день прав человека, я распространил мое обращение к режиму, в котором настаивал, что обладая неограниченным репрессивным аппаратом, власть могла бы без всякой боязни начать сверху проведение минимума реформ, в которых так нуждается страна. Я перечислил: всеобщая политическая амнистия, свобода передвижения граждан за границу, обратно и внутри страны, возможность независимых издательств, создание законодательства о забастовках. Именно этот последний пункт был неприемлем для моих друзей. Так, Валентин Турчин и Андрей Сахаров указывали, что забастовки способны разрушить экономику. Я был согласен, но принимал во внимание, что у рабочих нет иного оружия для улучшения своей жизни. Поэтому забастовки, как я считал и считаю, есть нормальное явление здорового общества.

В конце декабря Сергей Ковалев, один из самых уважаемых диссидентов, был арестован…

Потом, в лагере, я буду вспоминать 1975 как мой последний счастливый и спокойный год. Дети были здоровы и часто заходили в гости. Я закончил три физических статьи, две из которых мои соавторы смогли опубликовать в советских журналах (третья застряла у Макарова-Землянского со товарищи). Институт философии, не спросив КГБ, отправил мою первую статью по волновой логике на международную конференцию по методологии, логике, и философии науки в Канаде, и она была опубликована там в материалах конференции. У меня был стабильный режим работы. Время было поделено поровну на науку, частное репетиторство и права человека. Меня не обыскивали, не допрашивали, не арестовывали. И вокруг — все еще десять топтунов. Черные «Волги» с четырьмя чекистами, шофер пятый, еще не дежурили круглосуточно под нашими окнами. Это начнется на следующий год — постоянно работающие моторы, визг тормозов, крики переговорников — круглые сутки, семь дней в неделю. Топтуны гуляли туда, сюда, поперек и обратно по микрорайону. Ирина подходила, тыкала пальцем в живот, говорила: «Скажите вашему начальнику, чтобы вас заменили!» Агент молча уходил и больше не появлялся. Его действительно заменяли другим, но у всех у них печати на лбу, и Ирина подходила к другому, снова говорила: «Мы вас узнали». И этот тоже исчезал. Вполне возможно, что весь юридический факультет университета прошел у нас производственную практику.

Но все-таки они еще не сопровождали нас в лес, в наши

обычные воскресные прогулки за город, не сопровождали даже летом, даже когда мы посещали Брыксиных (и довольно часто) на их даче. Неутомимый Иван Емельянович постоянно улучшал что-нибудь вокруг дома, я помогал ему немножко. Пройдет еще полтора года и мы расстанемся навсегда: меня зимой арестует КГБ, а его летом убьют по дороге с дачи на станцию, и убийц не разыщут… Но в этом 1975 все было тихо и мирно для нас обоих. И от Ани КГБ отстал.

А предыдущей осенью они вызывали ее на Кузнецкий, 24, в один из их домов. Разговор шел о ее путешествии вместе с отцом и Солженицыным к брату Ивана Емельяновича в тамбовскую деревню. Солженицын хотел записать народный говор. Братова семья обрадовалась гостям необычайно и Солженицына не испугалась. Самогон ставился на стол не то что каждый день, а каждый час. Ане с отцом приходилось пить за троих: Солженицын не пил. Так что Аня не могла решительно ничего вспомнить об этой поездке, забыла даже имена.

— Нам все известно о ваших отношениях с Солженицыным, — сказал тогда чекист. — Фотографии показать?

Он полез в стол, глядя на нее рачьими глазами. Медленно открыл ящик и стал вытаскивать. Вытащил — белый лист. Перевернул — опять бело.

— Слушайте! Хотите поехать за границу?

Через несколько дней ей опять позвонили, приглашая снова на Кузнецкий, 24.

— Мусор. Проигнорируй, — сказали мы ей на семейном совете. — Пусть шлют повестку. Ты обязана являться только по повестке.

Она проигнорировала и они отстали. Это была у них проба.

Несмотря на все попытки КГБ остановить ее, Таня Плющ продолжала прорываться из Киева в Москву и передавать нам информацию о муже.

Леонид Плющ, киевский математик, член одной из самых ранних диссидентских организаций — Инициативной группы по защите прав человека в СССР, был брошен в СПБ в частности за то, что подписал обращение против злоупотребления психиатрией в политических целях. КГБ использовал специальные психбольницы для наказания активных и устрашения потенциальных диссидентов. Люди боялись их больше, чем лагерей: политических «пациентов» пытали мучительными нейролептиками, избивали руками санитаров-уголовников, помещали вместе с буйными. Единственным способом бороться с этим дьявольским изобретением медицины было — посылать

информацию за рубеж. Борьбу начали за несколько лет до нас Владимир Буковский и Семен Глузман. К середине семидесятых диссиденты вцепились в эту проблему когтями и зубами.

Центральной фигурой для нас был генерал-майор Петр Григоренко, ветеран второй мировой войны. Он начал с критики партии в начале шестидесятых, а затем стал одним из ведущих правозащитников, убежденных сторонников плюрализма, противников насильственных и подпольных методов. В наказание и в назидание, лишив звания и генеральской пенсии, его дважды запирали в спецпсихушку. Однако под напором международного общественного мнения, опиравшегося на информацию, посылаемую его отважной женой Зинаидой Михайловной, а также, конечно, Сахаровым, Шафаревичем и другими диссидентами, генерал был освобожден из СПБ в июне 1974. Он вышел оттуда таким же страстным, добрым, благородным и внутренне совершенно свободным человеком.

Я сконцентрировал свои усилия на Плюще, присоединившись к Татьяне Ходорович. Мы систематически давали интервью иностранным корреспондентам, писали обращения к международным союзам математиков, психиатров, юристов. Информация шла в основном от жены Плюща Тани, других к Плющу не допускали. Весной 1975 мы с нею решили пробиться к главному советскому психиатру профессору Снежневскому прямо домой, в его огромные московские апартаменты. Он казался мне преступником не по своей воле. Настоящим, матерым негодяем был, например, директор знаменитого института им. Сербского профессор Владимир Морозов, сотрудничавший с КГБ с молодых лет. К нему ходить было бы абсолютно беспредметно.

Увидев Таню Плющ, Снежневский понял, что это за визит, но отказываться было поздно. Я не медля приступил к делу.

— Мы просим вас вмешаться в действия профессора Блохиной против Плюща в Днепропетровской тюремной спецбольнице. После каждой экспертизы она пишет все более и более ужасные протоколы. Он был помещен туда с вашим диагнозом «вялотекущая шизофрения», а теперь у него, оказывается, «шизофрения параноидального типа».

Болезнь «вялотекущая шизофрения» — нечто среднее между нормой и болезнью — было изобретением профессора Снежневского.

— Ваш муж болен, — вежливо, но твердо произнес профессор, отвечая вместо меня Тане. — Прежде чем поставить диагноз, мы вели за ним наблюдение».

— Да, но люди, наблюдавшие за ним, были уголовники, — возразил я.

Я-то имел в виду уголовников в прямом смысле. Перед первой экспертизой Плюща «наблюдали» не в больнице, а непосредственно в уголовной тюрьме, следовательно кто же это делал, если не сокамерники-уголовники? Снежневский, однако, принял замечание на свой счет и слегка покраснел.

— У меня нет оснований сомневаться в квалификации Днепропетровских врачей, — сказал он. — Они постоянно консультируются со мной.

— Вот как? — сказал я. — Это очень интересно. Я не знаю, читали ли вы свой учебник психиатрии, но я читал. Там написано черным по белому, что ваша вялотекущая шизофрения никогда не развивается в шизофрению параноидального тина!

Он замолк. Таня с тоской и злобой осматривала седовласого «главного психиатра».

— Хорошо, скажите, — промолвил он наконец, — разве было бы лучше, если бы Плюща отправили в лагерь?

— Лучше! — мы крикнули одновременно.

— Вы растоптали его человеческое достоинство, — с ненавистью заговорила Таня. — Вы обрекли его на бессрочные — бессрочные! — мучения, вместо семи лет лагерей. И какие мучения! Он распух от инъекций. Ему вкалывают трифтазин, от боли можно сойти с ума. Его запирают вместе с буйными. Вы!..

Он встал. Мы встали тоже.

— Когда будете докладывать, кому вам надо докладывать, — сказал я, — будьте добры, объясните, что психиатрические репрессии подрывают престиж государства.

Снежневский побледнел.

— Вы снова оскорбляете!

Мы вышли.

— Он чуть не откусил вам ухо, — сказала Таня.

На моем суде в 1978 я потребовал вызова Снежневского в качестве свидетеля, чтобы он мог повторить этот разговор. Ведь пять моих обращений в защиту Плюща вменялись мне как клевета на советский общественный и государственный строй. Снежневский отказался, сославшись на командировку, в которую его якобы послали в первый же день суда надо мной.

Решающим ударом в защиту Плюща был грандиозный митинг в Париже, организованный «левыми без иллюзий», не коммунистами, осенью 1975. Я продиктовал свою речь по телефону. Французские коммунисты вначале отказались участвовать, но затем осознали, что совершили тактическую ошибку. Жорж Марше, их генеральный секретарь, поговорил о Плюще с Брежневым, и сразу после этого в процессе все большего и большего углубления шизофрении Плющ внезапно выздоровел

и в январе 1976 был депортирован вместе с семьей за границу, в Париж.

В то лето я написал «Возможен ли социализм не тоталитарного типа?» — по существу более глубокое развитие идей «Тринадцати вопросов» и даже кое-чего из речи 1956 года в ИТЭФ. В этом эссе я предупреждал западных левых о потенциальной опасности централизованной плановой экономики: если в каких-либо критических обстоятельствах понадобится временно и централизация политической власти, то возникшая таким образом комбинация политической и экономической централизации может породить необратимую супертоталитарную систему — ловушку, вырваться из которой будет почти невозможно. Для тех же, кому все же нравилась идея социализма, я предложил промежуточную схему, социалистическую по форме, капиталистическую по содержанию. Крупные средства производства могут оставаться в руках государства, но, чтобы существовали нужные стимулы, руководители производства должны быть полностью свободны в своих действиях, как если бы они были частными владельцами; их зарплаты должны зависеть от их прибыли. При этом и рабочие должны обладать всеми демократическими правами: независимые профсоюзы, неконтролируемые газеты, право на забастовки. В таких условиях в этом обществе «частной инициативы без частной собственности», как я его назвал, будет автоматически развиваться давление в сторону все более полной демократизации.

Предварительный вариант этой самиздатской статьи я раздал друзьям для критики. Первым читателем был Андрей Амальрик. Ему статья понравилась, но ему нравилось все, что я делал, может быть потому, что мне нравилось все, что делал он.

В своем самом знаменитом и самом элегантном эссе «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года» он предсказывал скорый развал советской системы — и не слишком ошибался.

КГБ его ненавидел: за независимость, за быстроту ума, за холодную ненависть к режиму, закутанную в облако шуток и издевок. Он только что вернулся из ссылки, а до того был в лагере, а еще раньше — в ссылке же. В Москве жить ему было запрещено. Можно было, правда, гостить у жены — трое суток по закону. Милиции полюбилось, однако, подымать его с постели уже в середине третьей ночи и запирать в вонявшую блевотиной КПЗ — пристанище уголовников и бездомных. Наконец Андрей и Гюзель нашли нелегальную квартиру недалеко от нас и исчезли,

выходя из тайника подышать свежим воздухом только по ночам. Мы с Ириной пробирались к ним на приемы, замысловато петляя между домами и деревьями. Из укрытия Амальрики вышли в 1976, когда голландское правительство добилось для них разрешения эмигрировать в Голландию.

Среди прочих подготовок к отъезду Андрей стал брать уроки английского языка. Анатолий Щаранский давал их у меня на дому. Нам был нужен английский, Толе — официально зарегистрированный источник дохода.

В декабре 1975 года десятки диссидентов из Москвы, Ленинграда, Прибалтики поехали в Вильнюс, место суда над Сергеем Ковалевым, арестованным год назад за редактирование «Хроники текущих событий» (он был также членом «Амнистии» и членом Инициативной группы по защите прав человека в СССР). Его судили теперь по статье «антисоветская агитация и пропаганда». Сахаров был тоже в Вильнюсе, а Елена Боннэр зачитывала в это время его Нобелевскую речь в Осло. Только жене и сыну Сергея позволили присутствовать в зале суда, да и то было удивительно. Суд объявили «открытым для публики», но, как обычно на процессах известных диссидентов, в особых автобусах привозили особую «публику», а затем объявляли, что свободных мест нет. И как обычно мы собирались по вечерам на квартирах местных диссидентов и протоколировали судебные заседания со слов родных; официальные протоколы были де-факто засекречены, а кроме того, не содержали почти ничего общего с реальным процессом. Днем же собирались около суда, окруженные тайными агентами и явными чинами КГБ, спорили с милицией около дверей, подписывали обращения и петиции, собирали деньги, обсуждали события, волновались, пытались увидеть подсудимого, махнуть ему рукой, и кричали: «Сережа! Сережа!» — когда появлялся обшитый жестью «черный ворон», в котором может быть, мы точно не знали, увозили Сергея Ковалева. И бежали за машиной и кричали: «Сережа!» — пока «ворон» не исчезал, чтобы душевно поддержать заключенного товарища.

Никто из интеллектуалов, имевших устойчивое положение внутри системы, не выступил открыто в защиту Сергея. То не был у них только страх. «Там наверху — безусловно мафия, — объяснял мне в то время физик Игорь Кобзарев, — но я за них, потому что этих (он показал на улицу) боюсь еще больше». Это была популярная теория. Интеллигенция одновременно и симпатизировала диссидентам, и боялась, что их пропаганда против властей разбудит темные инстинкты толпы. Однако

самоубийственным было именно то, что делали, вернее, не делали интеллектуалы: не давили на власть имущих, на систему изнутри, требуя быстрых демократических реформ. Именно при отсутствии реформ следовало ожидать взрыва темных инстинктов.

Я написал частные письма-предупреждения в этом духе нескольким академикам старшего поколения — В. Л. Гинзбургу, Н. Н. Боголюбову и другим, прося использовать все свое влияние для освобождения Плюща и Ковалева. Я пытался убедить, что необходимо помогать нам толкать правительство в сторону демократизации и гуманизации режима до того, как это станет слишком поздно. (Андрею Дмитриевичу текст очень понравился. Но никто из адресатов мне не ответил.)

В один из четвергов марта 1976, когда я беседовал с гениальной кошкой Амальрика, а Ирина варила картошку для участников моего домашнего научного семинара, проводимого раз в две недели, Толя Щаранский приехал с предложением.

— Давайте, — сказал он, — обратимся к европейцам, пусть они организуют у себя общественные комиссии по проверке выполнения правозащитных статей Заключительного акта Хельсинкской конференции по безопасности и сотрудничеству, который был подписан Советским Союзом. Если они сделают это и это станет нормой на Западе, то через какое-то время и мы сможем создать такую же комиссию, не опасаясь больших преследований.

С тех самых пор как 1 августа 1975 года были подписаны эти Хельсинкские соглашения, многие из нас, диссидентов, а также религиозные активисты и даже политические заключенные мордовских лагерей, ссылались на них в своих обращениях к Западу по поводу нарушений прав человека в СССР.

Втроем было недолго доработать принесенный Толей текст обращения. Мы сговорились собрать несколько подписей московских интеллигентов. Подписей, однако, не собрали. Стимул был утерян. Непохоже было, чтобы на Западе нас услышали, а даже и услышав, раскачались.

Но я понимал очень хорошо, как важны для Советского Союза Хельсинкские соглашения: они фактически заменяли мирный договор и **закрепляли послевоенные границы в Европе** — выгодные Советскому блоку — в обмен на определенные обязательства, включая обязательства по правам человека (позже я развил эту идею в Документе группы № 10). Соглашения формально перевели права человека из сферы добрых пожеланий и «наших внутренних дел» в сферу конкретной международной политики, хотя на деле советский режим этого не признавал, а

Запад пока что не использовал.

Простые обращения к западной общественности не помогут, думал я. Нужно создать нашу собственную комиссию, которая будет посылать заинтересованным правительствам экспертные документы о нарушениях советскими властями подписанных ими международных обязательств.

Итак, я решил перевернуть идею Щаранского, начав с другого конца. После этого я еще месяца два обсуждал идею образования группы с Людмилой Алексеевой, Александром Гинзбургом, Ларисой Богораз, Виталием Рубиным и Щаранским и составил проект краткой декларации. В ней заявлялось, что документы группы будут передаваться главам правительств, подписавших Хельсинкские соглашения, и предлагалось образовывать на Западе аналогичные общественные группы — для наблюдения за соблюдением прав человека в их странах. Я назвал группу «Общественная группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР».

Оставалось подобрать окончательный состав. Я пригласил Татьяну Ходорович. Она категорически отказалась.

— Вся эта затея с Хельсинкским актом — советская и идет на пользу лишь этому режиму! Ваше название особенно безобразно. Кому вы собираетесь содействовать? Содействие этим соглашениям означает содействие советскому режиму. Нет, я не участвую.

— Я с вами не согласен, — возразил я. — Это политические соглашения, в этом их недостаток, но в этом же их достоинства. Политические рычаги можно использовать для защиты прав человека.

— Вот это-то и скверно, что вы играете в политику. Вы их не переиграете. Они переиграют вас.

Как и Андрей Дмитриевич Сахаров в то время, Татьяна Ходорович считала, что советскую систему в обозримую эпоху изменить невозможно, и это было, вероятно, еще одной причиной, почему она в своей собственной правозащитной деятельности отказывалась от какой бы то ни было политической тактики.

Примерно в тех же словах мне дала поворот от ворот и Мальва Ланда, геолог, горячая защитница прав человека.

— Группа содействия! — кипятилась она. — Содействия — властям?

Она смотрела на меня с сожалением.

— Дорогая Мальва, — отвечал я. — Не в названии же дело. Дело в том, кто руководит группой.

Она посмотрела на меня как-то оценочно и отошла. Наконец

группа была почти сформирована. Это была комбинация асов, ветеранов движения, и новых диссидентов: Людмила Алексеева, Михаил Бернштам, Александр Гинзбург, Александр Корчак, Анатолий Марченко, Виталий Рубин и Анатолий Щаранский. Марченко был в сибирской ссылке и узнал о группе от Ларисы Богораз, своей жены. Мы никогда не встречались. Я только писал заявления в защиту Марченко да читал в «тамиздате» его книгу о лагерной жизни «Мои показания». У автора не было большого формального образования, много лет было загублено в лагерях, и тем не менее эта его первая книга была шедевром. Очевидное сочетание чистоты, мужества и ума вызывали глубокую симпатию, у меня всегда было такое чувство, будто я знал Марченко лично. Иметь в своих рядах такого человека было для нас честью.

Я не спешил с объявлением о группе, так как окончательный текст декларации был обсужден еще не со всеми членами. Но 12 мая 1976 года в моем почтовом ящике обнаружилась повестка — явиться в районный КГБ в 11 часов утра. Никаких писаных законов, регулирующих взаимные отношения КГБ и гражданина, не существовало, поэтому я ничего не нарушил, проигнорировав повестку.

В час дня к моему дому подкатил газик и пара стандартных юношей направилась к моему балкону, где я стоял, наблюдая.

— Юрий Федорович.

— Сожалею, но занят.

— Ничего. Вот повесточка на попозже, на 4–00. Не опоздайте. Адрес на ней найдете.

Я взял бумажку, иначе бы они забрали меня тут же.

Юноши укатили.

Итак, в КГБ узнали о моих планах и начали их блокировать. Надо было объявлять о группе немедленно, до того, как раскрутится их машина. К счастью, у меня в гостях сидел Миша Бернштам, человек быстрый. Следовало объехать всех, с кем договорились. Согласны ли они на немедленное объявление их имен в составе группы? Мы условились с Мишей подъехать к десяти тридцати вечера на квартиру Сахарова.

К этому времени мы не успели найти только Щаранского. Все подтвердили свое согласие и, кроме того, к группе присоединился генерал Григоренко. Дав Андрею Дмитриевичу текст нашей декларации, я спросил, не согласится ли он стать во главе нашей группы.

— Юра, у меня скорее отрицательный опыт с организациями. В группу я не войду Но документ очень серьезный, Я

поддерживаю.

Я не настаивал. Сказать правду, мне подумалось, что организация дела у меня получится лучше.

— Я войду в группу, — сказала Елена Георгиевна и тут же села перепечатывать декларацию, с именами участников, их адресами и телефонами, если таковые имелись.

Андрей Дмитриевич позвонил корреспонденту английской газеты. Как только тот приехал, я зачитал ему текст декларации. Прочтя имена членов, я отдал декларацию корреспонденту. Пробило полночь.

Я вернулся домой в час. Утром КГБ заберет меня и тогда корреспонденты уделят все свое внимание аресту, а не более важной новости о создании группы. Им надо дать два или три спокойных дня, чтобы сообщали только о группе. Значит…

Я оделся потеплее. Ирина потушила свет. Квартира прослушивалась. Мы инсценировали укладывание спать. Затем Ирина открыла окно, я вылез первым. Густые кусты и деревья скрывали нас, пока мы проходили вдоль стены. Она поцеловала меня, и я исчез. Меня не было два дня.

Глава пятнадцатая
Хельсинкская группа

Я прятался у моих друзей Корчаков, законопатившись в их квартире в маленьком академическом городке Троицке. Доктор Корчак, астрофизик, ветеран войны, происхождением из оренбургских казаков, был новичок среди диссидентов. Он работал в том самом институте, из которого меня уволили два с половиной года назад.

Отлавливая «Голос Америки» и другие «голоса», мы наконец услышали комментарии на сообщения западных корреспондентов о создании нашей группы. Это было то, что надо, и на рассвете 15 мая я вернулся домой. Топтуны еще дремали по своим щелям.

Утром подъехала Мальва Ланда, еще два-три человека. В десять мы вышли из моего дома, и когда пересекли одну из аллей, меня внезапно схватили из-за спины за руки, втащили в неслышно подкатившую машину и на большой скорости увезли.

Они привезли меня в районный КГБ, заперев в пустой комнате, очевидно, в чьем-то кабинете: на полках лежали брошюры с грифом «для служебного пользования». Что ж, вы сюда меня сунули, ваши и заботы, подумал я и взялся читать секретные книжечки. Листая бюллетени о Китае, я не нашел там ничего похожего на обычный бред советской прессы о блоке лидеров КНР с мировым империализмом, бюллетени содержали реальную информацию.

Наконец меня вывели из этой комнаты и провели к начальнику районного КГБ, стандартного вида полковнику в штатском. Скучным голосом он зачитал мне некий указ Президиума Верховного Совета СССР, а затем формальное предостережение: если организованная мной группа начнет действовать, дело будет передано в прокуратуру.

Итак, первый тур был выигран! — все передвинулось на одну ступеньку вверх. Три дня назад они предупредили бы не о начале работы группы, а о самом ее образовании. Подписать бумагу, что предупрежден, я отказался. Прочитанный полковником указ ПВС никогда не публиковался и следовательно согласно другому указу ПВС, указом ПВС не являлся.

— Этот указ — самиздат, — сказал я. — Так же, как и ваше предупреждение. Я не против вашего самиздата. Боже упаси, но вы же не подписываете мои декларации.

Политический выигрыш получился на самом деле гораздо больше, чем я ожидал. В тот самый час, когда КГБ стало ясно, что

я не отступлю, ТАСС выпустил заявление, только для Запада, по поводу образования группы. В нем утверждалось, что Советское правительство не против наблюдения за соблюдением Хельсинкских соглашений (это была ложь). Важно, однако, кто этим занимается, (это была правда). Занимается Орлов, профессиональный антисоветчик, давно забросивший науку (это была ложь). Группа же его — антиконституционна (и это была чистая правда; по советской Конституции всякая организация должна быть руководима коммунистической партией). Группа образована, говорилось там, с целью подорвать разрядку и посеять сомнения в соблюдении Советским Союзом его международных обязательств.

Ну, на счет сомнений — главы западных стран НЕ СОМНЕВАЛИСЬ, подписывая Хельсинкский акт, что Советский Союз свои обязательства в области прав человека выполнять НЕ БУДЕТ; они шли на это, как на неизбежное зло. Цель нашей группы в том и состояла, чтобы изменить этот «мюнхенский» подход Запада.

Что касается разрядки, это как раз то, ради чего Запад готов был пожертвовать правами человека в СССР. Фактически же он искомой разрядки при Брежневе не получил. Под разговоры о детанте шло стремительное наращивание советских ракет средней дальности в Европе и советского военного присутствия в Латинской Америке, Африке и Азии, в то время как у диссидентов не было возможности не только протестовать против авантюрного подрыва детанта советским руководством, но даже и получать информацию, необходимую для протестов. Все диссиденты-демократы понимали, что только демократизация Советского Союза, включая свободу информации и протестов плюс открытые границы, способна обеспечить взаимную международную безопасность. Однако весьма немногие на Западе понимали это и еще меньше верили, что демократизация в этой стране вообще возможна. Московская Хельсинкская группа действовала так, как если бы это было возможно. И через десять лет история доказала, что мы были правы в принципе.

Так или иначе, заявление ТАСС от 15 мая создало нам «паблисити», которое помогло расчистить проходы к западным правительствам для наших документов. С другой стороны, благодаря «голосам» все больше и больше людей внутри страны стало искать международной защиты своих прав с помощью нашей группы. Обращение за помощью к международным организациям, столь обычное в современном цивилизованном мире, было до той поры явлением экстраординарным в изолированном от внешнего мира СССР.

Не зная, чем может закончиться мое похищение в КГБ, вся группа в полном составе, за исключением, конечно, Марченко, собралась у Сахаровых, полная решимости объявить о начале своей работы. Были приглашены западные корреспонденты. Мальва Ланда сделала заявление, что в возникшей ситуации она считает своим моральным долгом присоединиться к группе. Я пошел сперва домой, когда районный КГБ в конце концов выпустил меня, но, узнав о собрании у Сахаровых, немедленно поехал туда, чтобы представить формальное объявление: с 15 мая 1976 года Московская Хельсинкская группа начинает свою работу. Что меня поразило тогда, это удивление западных корреспондентов. Они все переспрашивали, действительно ли мы начнем работу после предостережения КГБ и заявления ТАСС. Один из них даже успел послать сообщение, что группа, очевидно, самораспустится.

У адвентистов Седьмого Дня была подпольная типография с очень хорошими шрифтами, в которой они печатали книги о своем толковании христианства и о терроре государственного атеизма, который, утверждали они, противоречит ленинским декретам. Их лидер Владимир Шелков, человек очень пожилой, будет через несколько лет арестован и погибнет в сибирском лагере под Якутском, а типография будет разгромлена, но в те дни адвентисты, установив связи с Гинзбургом и со мной, начали печатать по нашему дизайну бланки для группы. Наши друзья были готовы печатать и сами документы, но это нарушило бы принятый нами предельно высокий темп.

Целых девять месяцев КГБ не арестовывал никого из членов группы, подготавливая против нас многообещающие крупные дела. Никто из нас не выговаривал вслух, что надо спешить, пока мы на свободе. Возможно даже, что только Александр Гинзбург да я и предвидели аресты. Но удачное начало, боязнь упустить момент и наконец сильные личности участников обеспечили стремительный темп нашей работы. Каждые две недели мы выпускали по большому нумерованному информационному документу и, кроме того, ненумерованные обращения. Каждый из документов был скрупулезно аккуратен, сознательно академичен — даже педантичен — и точно сфокусирован на нарушениях специфических статей именно Хельсинкского акта. Все документы редактировались и печатались Людмилой Алексеевой. Я установил гибкое правило, по которому каждый член группы подписывал только то, что согласен был подписывать: требование консенсуса задержало бы быстрый выпуск полезных документов.

Уже 18 мая мы представили первый документ на пресс-

конференции у Сахаровых. Составленный Петром Григоренко и Михаилом Бернштамом, подписанный всеми членами группы, Документ № 1 описывал драматический суд над Мустафой Джемилевым, проходивший в Омске. На этот суд ездили Сахаровы. Андрея Дмитриевича в зал суда не пропустили, а Елену Георгиевну вытолкали так грубо, что Андрею Дмитриевичу пришлось отвесить милиционеру пощечину. Главный свидетель против Джемилева, сам заключенный, объявил на суде, что отказывается от своих показаний, данных на предварительном следствии, так как КГБ получил их с применением физического и морального насилия. Суд, тем не менее, осудил Джемилева за «измышления, порочащие и т. д.», использовав показания этого свидетеля, данные не на судебном следствии.

Джемилев был лидером мирного движения крымских татар за возвращение в Крым. В 1944 году их всех поголовно — и только что рожденных, и столетних стариков — депортировали из Крыма на восток, и, как они помнили, половина народа при этом погибла. В 1967 году, через четырнадцать лет после смерти Сталина, с крымских татар официально сняли обвинение в сотрудничестве с нацистами в годы войны, однако возвратиться на родину не разрешили. Это ограничение свободы передвижения и выбора места проживания граждан внутри страны вкупе с неравенством де-факто национальностей перед законом, было грубым нарушением обязательств, зафиксированных в Хельсинкском договоре.

Документ № 2 — о нарушениях Советской стороной по политическим соображениям почтовой и телеграфной связи между гражданами СССР и Запада — был представлен Щаранским, Виталием Рубиным и мною. Сюда вошли случаи отключения телефонов, недоставки телеграмм, писем и т. п. Мы продемонстрировали, что и практика, и официальные правила почтовой и телефонной связи СССР не соответствовали взятым в Хельсинки обязательствам.

Участие в группе отказников, то есть, людей, желающих уехать из СССР, таких как Щаранский и Рубин, было для нас существенным: диссиденты вроде меня, не намеренные эмигрировать, не были детально знакомы с советской практикой нарушения свободы выезда из страны, в частности выезда по соображениям семейным или трудовой активности. Разумеется, Щаранский, Рубин и Владимир Слепак, который впоследствии заменил Рубина, не замыкались только на этой теме, это были диссиденты-правозащитники, боровшиеся за права всех людей.

Кандидат наук Виталий Рубин, синолог, специалист по Конфуцию, старый знакомый моей жены Ирины, был человек

умный, смелый и сочувствовавший всякому людскому горю, как и Щаранский, но в отличие от Толи был скорее кабинетный ученый, чем прирожденным лидером. Однажды вскоре после того, как Рубину дали разрешение на выезд, я увидел в свое кухонное окошко, что он ведет ко мне какого-то человека. Унаследовав осторожность от матери, я, открыв дверь, внутрь их не пропустил. Это было страшно грубо по отношению к Виталию Рубину, которого я очень любил, но впустить этого второго было выше моих сил, настолько мне не нравилось его лицо.

— Юра, — сказал Рубин, — это Саня Липавский, прекрасный человек, он остается вместо меня руководить семинаром еврейской культуры. Но, кроме того, он готов помогать вам. Он врач и у него автомашина — две добродетели сразу.

— Очень хорошо, — сказал я. — Телефон у вас есть?

Липавский выдал мне телефон, адрес и комплименты, дверь я по-прежнему загораживал, и они ушли.

Этот Липавский, секретный агент КГБ и (может быть) ЦРУ, втерся-таки в доверие к Щаранскому. Они даже пытались снимать квартиру на двоих в Москве. Годом позже он дал ложные показания, нужные КГБ для обвинения Щаранского в «измене родине». Сам я никогда больше Липавского не видел и никогда его ни о чем не просил — вычеркнул из памяти.

Виталий Рубин, которого мы объявили представителем группы за рубежом, скоро погиб в автомобильной катастрофе в Израиле.

Амальрик не присоединился к группе по той причине, что они с Гюзелью уезжали за границу. Проводы проходили у нас с Ириной. Амальрики раздали друзьям все свое имущество — нам достался огромный концертный рояль и огромная книжная полка — и уехали в страну Голландию, прихватив лишь смены белья да гениальную свою кошку. Несколько лет спустя они катили на машине в Мадрид, на третью Конференцию по безопасности и сотрудничеству в Европе. Андрей правил, красавица Гюзель сидела рядом, друзья диссиденты — сзади. Навстречу ехал грузовик, груженный тонкими трубами, одна труба свешивалась сбоку. С треском лопнуло стекло, машина остановилась, Гюзель захохотала, потом закричала. Все были на своих местах, но горло Амальрика прошила стальная трубой.

КГБ теперь следовал за мной по пятам — пешком, на машине, на поезде; в городах, в поселках, деревнях; в лесах, горах и морских волнах. Это было чудным развлечением для детишек наших друзей. Однажды мы гуляли в лесу с семьей психиатра и поэта Марата Векслера. Его дочь Катька каждый раз кричала от

восторга: «Вот он! Вот он!» — обнаруживая темные пиджаки гэбэшников то за одной березой, то за другой. Их было, пожалуй, многовато, с их перебежечками туда-сюда, в костюмчиках для городской, не лесной работы. Ясно, они преследовали нас от самой Москвы. Но все же их было меньше тыщи, и когда Кате все это наскучило, я увел от них всю компанию. В лесу мне ли не уйти?

В других местах это требовало некоторого искусства. Однажды мы ехали с Ириной в автобусе за грибами, когда я обратил внимание на легковую машину позади: она двигалась и останавливалась совершенно синхронно с автобусом. Тут и мухомор разобрался бы. Бригада затем поменялась, и машина изменила цвет, но повторяла все те же фигуры. Не собирать же грибы вместе с ними.

— Выпрыгивай!» — шепнул я Ирине на остановке перед самым закрытием двери.

Мы прыгнули, автобус тут же отъехал, мы присели за будочкой для ожидающих. Четверо выскочили из машины и промчались мимо нас в поселок направо, глядя себе под ноги. Этим кабанам трудно было поднять головы и они нас не заметили. Когда последний исчез, мы поднялись, помахали шоферу, который нас видел, но у которого переговорник, можно не сомневаться, если был, то был не в порядке. Помахали еще раз и, перейдя дорогу, ушли в лес. Свободное воскресенье было отвоевано.

Попадались чекисты и среди моих многочисленных теперь посетителей. Один наивно пытался оставить у меня пухлый портфель, содержащий переписку, как он говорил, с министерством обороны по поводу незаконного закрытия детского сада. Другой уже оставил свой фотоаппарат с пленкой внутри, но Ирина заметила, схватила камеру и догнала благодетеля. Он говорил, что там засняты избиения людей в милиции. В милиции, конечно, бьют, кто этого не знает. Но, добавил он, главные снимки зарыты в земле, и указал место, с которым меня уже, так сказать, познакомили — как раз напротив районного КГБ. В КГБ, видно, и вправду верили, что мы бегом побежим туда с лопатками. Из чего было ясно, как много там дураков.

Настоящие сумасшедшие тоже врывались к нам.

Однако большинство посетителей, не чекистов и не больных, приходили рассказать о реальных бедах. Из далеких провинций привозили душераздирающие истории беззаконий и страданий. Типичная последовательность событий начиналась с попытки разоблачения местной коррупции, после чего следовало

увольнение с приличной работы, хождение к московским бюрократам за правдой, исключение из партии, помещение в психушку, распад семьи, распад всего… попытка прорваться в американское посольство — попросить убежище… и снова психушка.

Среди гостей-рабочих был уральский крановщик Дубов. Он распространял вместо листовок странички из «Программы КПСС», в которой трудящимся за ближайшим углом обещалась лучшая жизнь. Он ставил на них печать «НЕ ВЫПОЛНЕНО». Получил год психушки.

Неоднократно заходил Владимир Клебанов, шахтер, которого отправили в спецпсихушку за замечательно независимую политику в бытность его председателем шахткома. Теперь он планировал организовать независимый профсоюз. Уже после моего ареста его за это снова арестовали и послали в психушку.

Самыми же регулярными посетителями были активисты религиозных меньшинств, чьи проблемы непосредственно относились к правозащитным статьям Заключительного акта. Группа собрала огромную информацию о преследовании религиозных семей — штрафы, снос домов, отбирание детей на основе Кодекса о семье и браке с его загадочной статьей 52, требующей от родителей «воспитывать своих детей в духе Морального кодекса строителя коммунизма». Такого кодекса в своде законов не числилось. Феномен изымания детей у родителей по идеологическим мотивам существовал в России и до большевиков. Еще Лев Толстой боролся с этим в прошлом веке. Мы с Ириной очень хорошо знали ситуацию с детьми в религиозных семьях от нашего друга рабочего Анатолия Власова, пятидесятника.

Право на духовную связь родителей со своими детьми является, с моей точки зрения, наиболее существенным из прав. Было важно бороться за него с максимальной интенсивностью. Я составил на эту тему обстоятельный обзор (Документ № 5). Позже КГБ, допросив десятки свидетелей, не смог добиться от них ни одного опровержения этого документа. Один из типичных эпизодов, который КГБ, очевидно, не хотел бы предавать огласке, был описан в заявлении крестьян украинской деревни Илятка. Его доставили мне адвентисты. В деревню прибыла милиция, чтобы отобрать дочь у матери-адвентистки. Девочка убежала в лес. Милиция уехала ни с чем, но мать была вынуждена теперь прятать свою дочь, и девочка росла без документов, то есть по законам этого государства была вне закона.

К сожалению, внутри СССР никто из атеистов, исключая диссидентов, не опротестовывал гнусную политику конфискации

детей. Все же протесты и информация, посылаемые диссидентами и членами христианских общин на Запад, определенно помогали: ситуация с детьми религиозных семей начала постепенно улучшаться еще до Горбачева.

Восемнадцать документов было выпущено группой до моего ареста, включая проведенный мною анализ того, как можно было использовать Хельсинкский акт в борьбе за права человека (Документ № 10). В целом мы покрывали достаточно обширную область: положение заключенных, злоупотребление психиатрией, преследование религиозных и национальных меньшинств, несвобода эмиграции и т. д. Группа документов о ситуации с заключенными была приготовлена Мальвой Ланда, Людмилой Алексеевой и Александром Гинзбургом (который еще до появления группы стал также распорядителем солженицынского Российского фонда помощи политическим заключенным и их семьям). Имея широкую сеть связей с заключенными и с диссидентами России, Прибалтики, Украины, они могли тайно получать информацию из мест лишения свободы и такие документы о правилах внутреннего распорядка, которые были помечены грифом «для служебного пользования». (Засекречивание властями этих документов было само по себе нарушением прав человека.) Документ № 3 с большой точностью описывал питание, работу и преступное «медицинское обслуживание» в политических лагерях и тюрьмах, а также наказание голодом и холодом в карцерах и штрафных изоляторах. Другие документы описывали преследования семей заключенных, административные преследования заключенных после освобождения, представляли списки новых политических арестов и т. п.

Один любопытный документ (Документ № 9) был посвящен русской деревне Ильинке, Воронежской области, часть жителей которой желала уехать в Израиль. Благообразный старец из этой деревни появился раз у московской синагоги и стал выспрашивать, нет ли там активистов-отказников. Взамен паспорта у него была лишь справка сельсовета, разрешавшая пятидневную отлучку. Он рассказал, что деревня с давних пор исповедует иудаизм, что жить из-за этого всегда было нелегко и что теперь вот они собрались совсем покинуть российские пределы. Однако вызовы, присланные из Израиля, председатель сельсовета конфисковал. Нельзя ли прислать новые? Щаранский и Слепак, организовав новые вызовы, отправились на машине Липавского в Ильинку — раздать их людям, а заодно проверить корректность информации о деревне. Восемь месяцев спустя КГБ будет инкриминировать Щаранскому эту поездку как

«шпионскую», а мне попытается приклеить «содействие шпионажу».

Путешествия такого рода, за свой счет, имевшие целью одновременно проверить информацию и помочь людям, практиковались членами группы постоянно. Людмила Алексеева ездила в Литву по делам двух преследуемых католических священников и нескольких школьников, исключенных из школы за участие в религиозном кружке. Лидия Воронина путешествовала на Дальний Восток, чтобы проверить на месте положение общины пятидесятников, числом до двух тысяч, решивших вместе с единоверцами Северного Кавказа эмигрировать из страны, в которой их преследовали десятилетиями. Александр Гинзбург и Валентин Турчин ездили во Львов, Щаранский и Слепак — в Ленинград.

Я сам вместе с Ириной и сыном Сашей поехал на Западную Украину, чтобы понять ее дух и проблемы. Мы встретились с братьями Горынями — интеллектуалами, прошлыми (и будущими) политзаключенными, работавшими в то время кочегарами. Посетили и подбодрили семью политзаключенного Геля.

Незачем объяснять, что украинская ГБ держала нас под массированным наблюдением, вначале сильно забавлявшим Сашу, но потом надоевшим даже ему.

Побыв в семьях, осмотрев Львов и посетив некоторые западно-украинские села, мы с Ириной отправились на автобусе в гости к Ивану Кандыбе в поселок Пустомыты, оставив Сашу в целях его безопасности во Львове. Кандыба, адвокат, только что освободившийся после пятнадцати лет строгого режима, полученных (вместе с адвокатом Лукьяненко) за декларацию конституционного права Украины на независимость, находился под административным надзором. В своей квартире во Львове ему было жить запрещено. Мы его знали, он заходил к нам в Москве сразу после лагеря. Это был некрупный мужчина, с измученным, но очень живым лицом. Мы преподнесли ему подарки, выпили немного, погуляли по поселку и все уговаривали, как до нас это пытались делать Гинзбург с Турчиным, не вступать в Московскую Хельсинкскую группу. (Вместе с братьями Горынями он, однако, присоединился позже к Украинской Хельсинкской группе.) Вышли из дома ровно в восемь, оставив его одного, потому что после восьми вечера ему было запрещено показывать нос на улице. Едва он все же высунулся на полшага за калитку, чтобы еще раз обнять нас, как был тут же схвачен выросшими из-под земли нештатными агентами и отвезен в милицию. Там составили акт и продлили

надзор на полгода. Еще одно нарушение и тогда суд и лагерь или ссылка, как сделали с Анатолием Марченко… Нас с Ириной продержали в милиции почти до рассвета.

С тяжелым сердцем отправились мы затем на отдых. Знакомая украинка привезла нас троих из Львова в далекую карпатскую деревню, где по ее рекомендации — «Они русские, но хорошие!» — нам удалось снять жилье. Видимых «хвостов» там не было, так что мы, можно сказать, свободно гуляли в буковых лесах, собирая грибы да наблюдая черных с ярко-желтыми пятнами беспомощных саламандр. Мне удалось увидеть также весьма способного дождевого червя, который скатился на землю с безнадежно высокого плоского камня, вдруг свернувшись в жесткую 2,5-витковуто жесткую спираль 1,5 сантиметров в диаметре.

Проотдыхав месяц, мы вернулись в Москву.

В конце осени и зимой 1976–1977 началось Хельсинкское движение. Оно росло быстро. В ноябре при поддержке нашей группы были созданы Украинская и Литовская группы. В декабре Глеб Якунин сформировал Христианский комитет защиты прав верующих, также при нашей поддержке. В январе образовалась Грузинская группа, а в феврале — Хельсинкская группа в Англии и объединенная группа парламентариев из девяти европейских стран. В апреле, уже после моего ареста, была образована Армянская Хельсинкская группа[12].

Республиканские Хельсинкские группы не могли работать без нашей поддержки, так как они тоже направляли документы главам тридцати пяти стран, подписавших Хельсинкский акт, а все посольства, через которые это можно было делать, располагались в Москве. Мы взяли на себя задачу передачи их документов и организации пресс-конференций.

Еще в самом начале работы нашей группы я предпринял попытку посылки документов в посольства, а также Брежневу, по почте. Из конторы Брежнева уведомления о вручении приходили, из прочих — нет. Разумеется, я не ожидал ничего другого, но попытку следовало предпринять. После чего мы объявили на одной из наших пресс-конференций, проводимых раз в две недели, что вынуждены отказаться от почтовой связи и будем передавать документы послам через западных корреспондентов. На практике же и это оказалось делом нелегким. Хотя несколько западных корреспондентов великодушно брали наши, иногда объемистые, бумаги, отнюдь не все посольства были готовы принять эти бумаги (не говоря уже о том, что журналисты социалистического лагеря нами вообще как бы не интересовались).

— Ваша группа объявлена вне закона, — объяснил мне политический секретарь западногерманского посольства, социал-демократ. — Мы не можем иметь с вами никаких дел.

Неизменно принимали документы только американцы (передавая их также англичанам и канадцам), итальянцы и бельгийцы, иногда французы и скандинавы. В моем уголовном деле, в томе, посвященном Белградской конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе, я обнаружил только английские и итальянские переводы всех документов Московской группы.

Генеральное наступление КГБ началось после 18 декабря 1976 года, когда советского (антисоветского) героя Владимира Буковского обменяли на чилийского (просоветского) лидера коммунистов Луиса Корвалана. Под шум обмена КГБ начал интенсивные обыски у членов Хельсинкских групп. 24 декабря — у руководителя Украинской группы Миколы Руденко. Во время обыска ему подкинули доллары в надежде обвинить в незаконных валютных операциях. (От этого он потом отбился, обвинения не появилось.) В тот же день — у двух других членов его группы, писателя Олеся Бердника, с подкидыванием порнографии, и школьного сельского учителя Опексы Тихого, которому подсунули в сарай немецкую винтовку военных лет. (Тихий умер в лагере.) 4 января — у членов Московской группы Люды Алексеевой, Лидии Ворониной и Александра Гинзбурга, у которого в уборной торжественно «обнаружили» иностранную валюту (От этого эпизода им пришлось потом отказаться.)

В тот день начался обыск и в нашей квартире. Их особый стук в дверь раздался в десять утра.

— Ира, не открывай! — крикнул я. — Жги эти бумаги и эти. Я спущу остальное в туалет.

Стук через десять минут прекратился. Привели, видимо, дворника с ломом и начали выламывать дверь. Когда вломились, кухня была полна дыма, мы с Ириной спокойно и грустно сидели рядом на стульях.

— На каком основании ворвались-то? — спросил я.

Их было четверо: прокурор по фамилии Тихонов, два следователя, понятой. Предъявили документы и разрешение прокуратуры на обыск. В эту минуту, вычисливший, что у меня должен быть обыск, появился Александр Подрабинек. Они обчистили его карманы и велели остаться. Но он для этого и входил.

Копались трое, отбирая подозрительные книги и бумаги. Стихи Ахматовой и Цветаевой, изданные за границей, отложили

без колебаний. «Петербург» Белого, издания советского, но тридцатых годов, которым я очень дорожил, задал Тихонову работу: он то клал его себе в кучу, то обратно на полку, то в кучу, то на полку. Последовательность сошлась, как говорят математики, на полке. Я сочувствовал ему. Трудно принимать решения при отсутствии дефиниций, как говорят философы, т. е. четких определений, что есть что, а что не есть что. Одно лишь классовое чутье может подвести. Понятой, молодой парень, немного стеснялся и стоял бездельно посреди комнаты.

— Не подходите к вещам!» — приказал я ему.

Трое против троих, мы могли контролировать ситуацию, не отступая от них ни на шаг, ни на секунду.

— В этой квартире вам не удастся ничего подложить, — предупредил я.

Они молчали, но двигались нервно. Мы поняли почему, когда Ирина включила радио: Би-би-си передавало, что, согласно сообщению ТАСС, у Орлова был произведен обыск и были обнаружены документы, изобличающие его связи с НТС. (НТС — реально действующая эмигрантская организация, но в то время я был почти уверен, что это выдумка КГБ.) Следователи, не осмотревшие еще и половины бумаг, прервались и внимательно слушали вместе с нами. Ирина наконец не выдержала, губы побелели.

— От вас можно ожидать всего! — крикнула она. — У вас нет совести! Но здесь вы ничего, ничего не подкинете, ничего!

И они не подкинули, побоявшись шума. Эти ядовитые гадюки Орловы заметили бы, а потом описали западным корреспондентам в красках, как непрофессионально работает КГБ, и попросили бы прислать в другой раз людей более компетентных.

Обыск длился около восьми часов.

На следующий день, когда члены группы вышли из дома Турчина на очередную пресс-конференцию, к нам подбежали два человека и попытались схватить меня. Женщины — Мальва, Люда, Лида — заблокировали их и, помня наставление Солженицына в «Архипелаге», закричали: «Помогите! Помогите!» — привлекая внимание прохожих. Прохожие не привлекались. Я наскоро объяснил, что хотел бы объявить на пресс-конференции. Тут новые гебисты налетели со всех сторон, вырвали меня, втолкнули в машину и, дав газ, увезли.

Они доставили меня в Московскую прокуратуру, к тому самому прокурору Тихонову, что вел обыск. Он формально объявил, что я буду допрошен как свидетель по делу о «Хронике

текущих событий».

Всегда так делали: человека, чью судьбу давно уже решили, допрашивали сперва как свидетеля по чьему-нибудь делу, потом — как подозреваемого по собственному делу и лишь после этого — как обвиняемого, в надежде, что в роли «свидетеля» человек, глядишь, наговорит на себя. По закону обвиняемый имеет право отказываться давать показания, свидетель — нет. Наказание свидетелю за отказ — не ахти какое, но следователи обманывают новичков, стращая сроками.

Тихонов допрашивал меня о конфискованных на обыске конкретных бумагах (среди которых не было ни одного выпуска «Хроники»!), я отвечал однообразно, что, преследуя людей за их убеждения и за передачу информации о нарушениях прав человека, прокуратура нарушает Хельсинкские соглашения, подписанные советским правительством.

Прокурор Тихонов был, конечно, всего лишь пешкой. Допросив без энтузиазма, он позвонил куда следует: что, мол, делать с Орловым? Очевидно, приказали пока отпустить, и он сам повел меня на улицу. На ходу поинтересовался моим мнением о разделении или объединении властей — законодательной, исполнительной и судебной.

— Объединение этих функций, — сказал он, — позволяет быстрее добиваться поставленных целей.

— Методы, однако, важнее целей, — заметил я.

— Бы хотите сказать, что методы могут погубить цели? — спросил он, удивив меня некоторым пониманием проблемы.

В тот же день, 5 января 1977 года, объявила о начале своей работы комиссия Александра Подрабинека. Рабочая комиссия по расследованию использования психиатрии в политических целях возникла вначале как ветвь Хельсинкской группы. Экспертизы Комиссии проводились на очень высоком медицинском и юридическом уровне. Создать такую группу — в такой момент!

8 января в вагоне московского метро произошел взрыв. ТАСС объявил о гибели людей. Советский журналист Виктор Луи, открыто связанный с КГБ, тут же передал на Запад, что взрывчатку подложили диссиденты и националисты. Прошли слухи о взрывах в магазинах. В интервью журналистам я высказал мнение, что все это провокация КГБ. Я сравнивал взрывы в Москве с поджогом рейхстага в Берлине в 1933, который был использован нацистами против коммунистов. КГБ, объяснял я, хочет использовать взрывы для разгрома диссидентского движения. Через несколько дней на специальной пресс-конференции в моей квартире все Хельсинкские группы СССР, а также другие правозащитные организации, выпустили совместное

заявление, осуждающее терроризм и вероятную причастность к нему КГБ. Еще через несколько дней секретарь нашей группы «Международной амнистии» Владимир Альбрехт уже допрашивался по делу о взрыве. Однако, когда допрашивали меня еще два раза как «свидетеля», разговора о взрывах не было. Только автомашины без опознавательных номеров теперь постоянно сопровождали меня на улицах.

В промежутке между этими допросами умер мой старый учитель, профессор Берестецкий.

Я был отрезан от научного сообщества и не знал об этой смерти, пока его жена, Ольга Артемьевна, не попросила меня через Евгения Куприяновича Тарасова прийти на открытую для публики официальную панихиду в ИТЭФ. Лев Окунь провел меня туда. Вечером на панихиде домашней я сказал Ольге Артемьевне, что моральный пример Владимира Борисовича сыграл огромную роль в моей жизни. Она обняла меня и заплакала.

В день похорон друзья, работавшие в издательстве (дочь Льва Окуня и др.), сообщили мне, что в «Литературной газете» против меня готовится статья, что ее носили в Центральный комитет КПСС на проверку, поправляли, снова носили в ЦК, снова поправляли — и так много раз. 2 февраля статья наконец вышла — очень примитивная клевета: Орлов оставил своих детей без поддержки, а Александр Гинзбург подкупил пресвитеров-пятидесятников, чтоб они присылали ему ложную информацию о преследованиях. В этот же день после обеда Валентин Турчин сообщил мне, что к нему приходил человек и просил передать, что на следующий день меня арестуют. Я не стал уточнять подробности. Мне давно было видно самому, что они готовят арест.

— В сталинские времена, — сказала Валя, — люди уезжали на время, а потом арест иногда отменялся. Может быть, и тебе попробовать? Ты можешь переждать у моего брата, его не заподозрят.

Я подумал, что действительно, если уйти в укрытие, как сделал когда-то Амальрик, то в принципе можно будет работать с группой и даже встречаться с журналистами в разных непредусмотренных местах. Существовало и радикальное решение проблемы — эмиграция, но это я не рассматривал. Я уже несколько раз публично объявлял, что меня удастся выкинуть из страны только силой[13].

Вечером этого длинного дня мы созвали пресс-конференцию в квартире Гинзбурга по поводу статьи в «Литературной газете». Свидетели, в том числе Анатолий и Валентина Власовы, приехавшие с другого конца Москвы со своими тремя

ребятишками, рассказывали об «авторе» статьи — не об истинных авторах из ЦК КПСС, а о том человеке, за именем которого они не побрезговали спрятаться. Это оказался известный мошенник, сумевший между прочим обобрать общину доверчивых пятидесятников, представившись их репрессированным собратом. (Через десять лет я встречу его имя снова: он будет отбывать новый срок в заполярном лагере за какое-то незапланированное в ЦК КПСС — КГБ мошенничество. Клеветническая статья в «Литературке», видно, не очень поспособствовала ему.) После Власовых выступил Гинзбург. Он представил корреспондентам отчет о деятельности Российского фонда помощи политзаключенным. Всего было роздано, сообщил он, 250 тысяч рублей, из них 70 тысяч собрано внутри страны, остальное — от Солженицына. Было удивительно, почему он вдруг решил отчитаться на этой пресс-конференции. Потом я сообразил, что он тоже ожидал ареста… Все эти годы его заматывали обысками и задержаниями; как бывшему политзеку ему было запрещено проводить в Москве с женой и детьми больше трех дней подряд. Единственное, что приструнивало до сих пор КГБ, это его близкие связи с Солженицыным и Сахаровым.

Когда мы с Ириной вернулись домой, я сказал ей, что мне надо на время исчезнуть. Прямо предупредить об аресте у меня не хватило духу. Но она поняла, она думала об этом постоянно. В десять, когда я уже собрался уйти, позвонили в дверь. У нас теперь был глазок, который поставил нам вместе с дверью — бесплатно — рабочий фирмы «Заря». (Меня попросили: «Помоги Орлову», объяснил он.) Ирина поглядела в глазок. Милиционер один. Не арест. Я прошел в заднюю комнату и погасил там свет. Разговор был хорошо слышен. Очень вежливый капитан принес повестку — утром на допрос. Значит, арестовать решили там, подумал я, как было с Ковалевым. Ирина не взяла повестку — повестка не ей.

— А муж?

— Муж уехал.

— Куда?

— Не знаю. Уехал.

Капитан ушел, ему не все ли равно.

Теперь надо было уходить немедленно, они поднимут сейчас тревогу. В гостях был Марат Векслер, мы поменялись с ним шапками и пальто, я обнял Ирину и выпрыгнул в окно. Своего дома я больше не увижу.

Вначале я долго наблюдал, что происходит, из подъезда соседнего здания. Когда ни одной души не стало видно, вышел и, сильно изменив походку, поковылял в направлении от центра

Москвы. На первом же большом перекрестке увидел дежурившую черную «Волгу», набитую типичными чуть наклоненными вперед зоркими фигурами. На большой улице дальше — еще одна такая же черная «Волга». Неужели они подняли тревогу, пока я пробирался? Но не все ли равно. Ясно, что КГБ ведет большую операцию, и я могу попасть в сеть… Я шел от центра час, затем впрыгнул в пустой автобус, идущий назад к центру, долго ехал и сошел после окружной железной дороги.

В переулке во дворике какого-то промышленного института стоял одинокий грузовик «Хлеб». Никаких булочных в округе не было. Было два часа ночи. Два человека и четыре глаза смотрели на меня из кабины. Выйдя из их поля зрения, я побежал изо всех сил и, оглянувшись, увидел, что грузовик выкатился из укрытия. Перебегая большую улицу, успел заметить справа черную «Волгу», выезжавшую в мою сторону из другого переулка. Вбежал в какой-то микрорайон, пошел — нельзя останавливаться — на выход, в проход между домами. Две фары стоявшей в конце прохода машины вдруг ослепили меня, я отскочил, перебежал в тень, пошел в другой проход… Прямо в глаза засветили фары другой, а может быть, той же самой машины. Я побежал назад, затем направо.

Справа лежала большая, хорошо освещенная улица. Автобусная остановка. Ни одной черной «Волги».

Автобус! — какая удача — я выскочил из тени и вскочил в открывшуюся дверь. Нужный рейс — опять удача!..

Я вышел у дома, где жили мои сыновья Дима и Саша и мой друг Женя Тарасов. Пройдя калитку, вошел в дом и позвонил. Открыл Женя. Все спали, я шепотом объяснил дело. Он выдал мне телогрейку, другую шапку и адрес. Я вышел через ту же калитку и снова сел в автобус. На Курский вокзал. Было три утра.

Поезд дальнего следования, проходивший через Тулу, отбывал в пять. Общий вагон был набит, на скамьях и полках сидели, лежали. Одна боковая верхняя была свободна, грязная полка, но это уже не имело значения. Я улегся, не вытирая.

Глава шестнадцатая
Арест

Как рассказывал капитан КГБ Орехов диссиденту Морозову, сидя у него в гостях, а через пять лет Морозов рассказывал мне, сидя со мной в лагере у КГБ «в гостях», генералы КГБ денно и нощно дежурили на телефонах, руководя поисками Орлова. Хотя, собственно, я никому не давал обязательств сидеть безвылазно в своей квартире, да никто и не просил меня об этом.

В пять часов утра третьего февраля я вышел из поезда в городе Туле и, пройдя окраинами на улицу Замочную, остановился перед глухим деревянным забором с калиткой. Постучал. Калитку открыла маленькая женщина с приветливым, изрезанным морщинами лицом — мать Тарасова.

— Зинаида Афанасьевна. Приютите? На несколько дней.

— А, проходи, проходи, Юра, не спрашивай, живи, сколько хочешь. Места хватит.

И закрыла калитку на все засовы. Она поняла сразу.

Мне не приходилось бывать здесь. Это был деревенский дом в центре современного квартала, с тремя небольшими комнатами, русской печкой, кухней и уборной снаружи, в большом саду. Тарасовы, семья старообрядцев, построились еще до революции. Женин отец, рабочий, умер, мать жила одна. Я знал ее столько же, сколько Женю, а с Женей мы были друзьями с начала пятидесятых.

Улица называлась Замочной потому, объяснила Зинаида Афанасьевна, что когда-то по домам здесь делали замки, помимо того, конечно, что работали на заводах, вокруг которых крутилась вся жизнь этого древнего индустриального города. Позже Замочная наладилась на гармошки. Каждый дом делал какую-нибудь одну деталь. Выручку делили. Правда, с выручкой получилась задача: советский закон запретил частнопредпринимательскую деятельность с целью наживы. Однажды она послала Женю, еще мальчишку, на базар продать гармошку, и милиционер зацапал его. Посадил в будку до отправки в КПЗ, но, слава богу, отвернулся, и Женя убежал. Гармонь — да тут разве до гармони — досталась милиции. С тех пор она зареклась давать ему такие поручения, ведь чуть не отправила сына в тюрьму! Но все это было в далеком прошлом. В новые времена рабочие ничего такого во внерабочее время не совершали, эту охоту у них отбили, а трудились на заводах да пили в три ведра.

Как если б ничего не происходило и я был гость обыкновенный, Зинаида Афанасьевна садилась попить со мной чаю, обсудить погоду, снег на крыше, начинала разговор про старую Тулу в старые дни. Было так приятно слушать ее мягкий спокойный голос, прекрасную русскую речь. Она ни о чем не спрашивала, я ничего не объяснял — был гость обыкновенный. Но что происходило в Москве? Сколько времени пережидать мне в Туле? И пережидать — чего? Ни радио, ни новостей…

Оказалось, Женина сестра с мужем и двумя детьми жила в пяти минутах ходьбы в отдельной квартире. Время от времени они, конечно, ловили «голоса» и 8 февраля услышали, что Государственный департамент США сделал заявление в связи с арестом Гинзбурга. Это меняло ситуацию. Аморально руководителю группы прятаться, когда арестовывают членов. И не только это. Подозрительная черная «Волга», набитая людьми, появилась на нижнем конце Замочной и с тех пор торчала на одном и том же месте. На улице по моему лицу уже дважды прогуливались слишком пристальные взгляды. Подвергнуться аресту здесь было подло по отношению к Тарасовым. Надо возвращаться в Москву.

Ночью с восьмого на девятое, когда я уж собрался в дорогу, Женина жена Мила привезла из Москвы записки от Турчина и Алексеевой. Они тоже считали, что надо приезжать. Я стал прощаться.

— Ты подумал? — спросила Зинаида Афанасьевна.

— Конечно, — ответил я.

— Хорошо подумал?

— Хорошо.

Умные глаза всматривались в меня. Мы поцеловались. Я был опять в новом наряде и, кроме того, в ее очках, делавших меня совершенно неузнаваемым. Я в них, правда, и сам никого не узнавал.

Когда я вышел из поезда в юго-западном пригороде Москвы, автобусы уже ходили. В центре я пересел на троллейбус и, делая петлю, поехал почти в обратном направлении — к дому Людмилы Алексеевой. Хотелось домой, но Мила сказала, гебисты дежурили теперь прямо у двери моей квартиры. Как-то пришел сын Саша, и они кучей бросились на него, и только разглядев, отступили.

Было восемь утра, открылись магазины. Я купил хлеб, мороженую курицу, сыр и, держа эту кучу перед лицом, вошел в подъезд — житель дома, возвращавшийся с покупками. Лифт просматривался с улицы, лестница — нет. Я пошел пешком на пятнадцатый этаж. Дверь открыла Людина мать. Черт возьми, все

были дома, кроме Люды, она — на допросе.

Время утекало. Созвать быстро пресс-конференцию не получалось, надо было дожидаться Люды: звонки по телефону выдали бы меня. Я решил подготовить тексты заявлений для передачи корреспондентам. Первейший долг — что-то сделать для Гинзбурга, поддержать его. В протесте, формально обращенном к властям, я написал, что было бы лучше им вместо охоты за диссидентами позаботиться о хлебе для своего народа. В другом заявлении — к Белградской конференции по безопасности и сотрудничеству — я развивал свою старую идею о проведении серии международных конференций — в рамках Хельсинкского договора — по взаимному рассекречиванию гуманитарной информации: болезни, преступность, пищевые ресурсы, содержание заключенных и т. д. Все это было засекречено в СССР. Не имеет значения, подумал я, будет или не будет хоть какой-нибудь результат от этих заявлений. Мой долг сделать их.

Прошло десять часов, Люда вернулась с допроса. Я попросил позвать друзей и корреспондентов. Телефон в квартире работал, но она пошла звонить с улицы. Скоро приехали Валя Турчин и Толя Щаранский обсудить ситуацию. Вначале я прогулялся с Валей и Людиным сыном Мишей по чердаку. Чердак выглядел проходимым, можно, значит, было уйти отсюда через другой подъезд. Вернувшись, я изложил свой план: скрыться снова и руководить группой из подполья, время от времени встречая иностранных корреспондентов в секретных местах. Но Люда, Валя и Толя решительно отвергли его. Руководитель Хельсинкской группы не должен скрываться, объяснял Валя, это дискредитирует саму идею группы, действующей принципиально открыто.

Это было верно. Открытость была нашим принципом — хотя мы никогда не изучали проблему внимательно. У меня было только два выхода: спрятаться от КГБ или дать КГБ упрятать меня в лагерь. Из этих двух единственным открытым действием было дать себя арестовать.

— Как-то глупо самоарестовываться, — сказал я.

— Конечно. Но откуда такая паника? — спросил Толя.

— Да не паника. Здравый смысл, — возразил я.

— Вас не арестуют, — сказала Люда. — На допросы вызывать будут, да, но не более.

Толя и Люда не верили в мой арест! Толя не верил и в свой арест. Это было поразительно. Гинзбург, Руденко, Тихий уже были схвачены, и было абсолютно ясно, что КГБ решил довести дело до конца. Но не в этом проблема, думал я. Проблема в том, что если мы скроемся, мощный аппарат дезинформации убедит людей, что раз мы прячемся, стало быть, мы преступники. Так

что, по-видимому, я не прав. Во всяком случае у меня нет морального права действовать против воли членов группы. Все-таки, сказал я, выйду отсюда через чердак и проведу эту ночь в таком месте, о котором никакой черт не догадается.

Прибыли журналисты — два американца и один англичанин. Они объяснили, что из-за арестов интерес к группе на Западе теперь резко возрос (слушать это было грустно). Задали вопросы, получили ответы, забрали мои воззвания и уехали. Тут же был отключен Людин телефон, и три черных «Волги» подкатили к подъезду. Миша выглянул за дверь: некий человек стоял прямо за ней, другой — на лестнице, третий — у входа на чердак.

— Поздно, — буркнул я Люде с упреком.

Она с упреком же посмотрела на меня. Ей была отвратительна идея подполья.

В квартиру пока не вошли, Толю и Валю не задержали, когда они уходили. Я расписал очередность смены руководителей группы при последовательных арестах и отдал Люде. Итак, моя последняя свободная ночь, думал я, укладываясь на раскладушке. Я окружен. Уж лучше бы пойти домой, успел бы проститься с Ириной… Нет, не прорвался бы…

В десять утра постучали. Люда открыла. Восемь человек — не вошли — влетели, один бросился к шкафу и принялся искать меня там. Идиот: я сидел перед ним на стуле.

Меня вывели гурьбой. В узком лифте сопровождали двое. Один спросил:

— А Алексееву?

— Пусть сгниет на Западе! — ответил другой.

Я улыбнулся.

— Чего смеетесь?

Я не ответил. Они не сомневались, что на Западе гниют.

Внизу в подъезде толпились, ожидая моего вывода, два десятка уличных агентов низшего разряда. По одеждам — кто студенты, кто хиппи. Семь-восемь старушек-пенсионерок, «шампиньонов», как звала их Ирина, с нищими, затертыми хозяйственными сумками. Они работали на КГБ за двадцать-тридцать дополнительных рублей.

Привезли в районную милицию.

Ба! Прокурор Тихонов. Он вежливо поздоровался, попросил расписаться в протоколе задержания. Я взял протокол, чтобы написать только, что этот Тихонов подложил во время обыска в январе валюту Гинзбургу. Может, через пятьдесят или сто лет, подумал я, советские историки пожелают узнать правду и прочтут эту запись.

Чего-то ждали. Я попросился в уборную, безразличный милиционер показал пальцем. В тяжелом раздумье стоял я перед незарешетчатым окном. Еще есть возможность…

Нет. Люда права.

Приехали на черной «Волге». Меня посадили на заднее сиденье, обсадили двумя чекистами, третий — впереди плюс шофер. Вторая полная гебистов «Волга» мчалась позади. Они везли меня в «Лефортово», следственную тюрьму КГБ. Шло десятое февраля 1977 года. Казалось, это все происходило с кем-то другим, меня не было.

Пейзаж, который разворачивался вдоль Красноказарменной, моей последней улице перед тюрьмой, выглядел интереснее того, что был в Людином подъезде. Через каждый километр, справа по ходу, стояли, как дредноуты, черные машины, полные людьми. Да. Размах.

Неисчерпаема матушка Россия. Генералы в тысячу послушных рук ловят интеллигентов, говорящих своими словами. Генеральные секретари в тысячу послушных умов рассуждают, торговать ли гражданам гармошками. Генеральные конструкторы в тысячный раз барабанят: «Заключенный Королев», «Заключенный Туполев» — и в тысячу первый нечаянно освобождаются и — смотрите! смотрите! вот! — уже летят в космос ракеты, бороздят просторы самолеты… Но это иллюзия. Ничто не вечно. Россию — почти — исчерпали.

После бесконечных вопросов, общупываний, раздвиганий, разглядываний — каждой складки, каждого зуба — отдали, наконец, одежду и отвели в камеру. Две железных застеленных кровати, одна незастеленная. Человек. С грохотом захлопнулась дверь. Открылся глазок. Закрылся.

Я улегся на койку и растянулся. Научные расчеты, гонка документов, игры КГБ — все позади. Можно отдохнуть, наконец отдохнуть, хотя бы и в тюрьме.

«Лефортово» — тюрьма со знаком качества. Клопы, блохи здесь не ночевали. В камерах по двое, трое, четверо заключенных, а не по пятьдесят два, пятьдесят три, пятьдесят четыре. Подъем в шесть, и я успевал даже сделать зарядку вместе с сокамерником — наседкой, сменяемым периодически. Затем входил офицер с врачом. Главная забота врача была, конечно, — не сушим ли мы носки на решетке радиатора. Радиатор был наглухо отгорожен от нас фанерой с этой решеткой наверху, а под решеткой, как знала вся Москва, располагались микрофоны. Наседкам велено было заводить политические разговоры — авось выдам чего-нибудь. Я использовал точно тот же канал, чтобы передать следователям

кой-какие полезные замечания. Однажды я сказал громко: «Дзержиморда Яковлев копирует психопата Дзержинского. Садится нос к носу и впивается в меня огненным взором». После чего Яковлев изменил на допросах позу на менее отвратительную.

В семь завтрак — глинистый, перепеченный, из огрызков хлеб-«вторяк» и каша либо грязного цвета лапша — боярский, как говорили ветераны, сравнивая с прочими московскими тюрьмами и с лагерями. Совалось это через откидное металлическое окошко в двери — «кормушку». Затем — часовая прогулка, но могла быть и в любое другое время. Десять гулких шагов — от выхода из тюремного корпуса до прогулочных двориков — по тюремному двору, окруженному четырехэтажными тюремными стенами, с решеткой и щитами на окнах, но с широким небом над головой, — это десять шагов почти свободы. Прогулочные же дворики — просто камеры без крыши, три на пять метров, со стенками трехметровой высоты. Тебя закрывают на замок, охранник наблюдает сверху из будки. Бегая трусцой по маленькому кругу, можешь неотрывно глядеть на небо. Или наблюдать воробьев.

На моих глазах создавались и рушились семьи. Старый муж неосторожно отлучался от своей супруги, и вот молодой любовник уже занимал его гнездо под тюремной крышей. Старик прилетал — потасовка. Леди, сидя неподалеку, наблюдала с восхищением. Юный любовник, конечно, побеждал.

В девять утра обычно входил прапорщик, общупывал и выводил. В гробовой тишине этой очень тихой и темной тюрьмы мы проходили с этажа на этаж, с перехода на переход, я впереди, руки за спину, он позади, прищелкивая языком или пальцами, чтобы встречные знали и не пересекались с нами. С остановками, лицом к стене, проходило иногда минут пятнадцать, пока мы доходили до следственного корпуса.

В долгие месяцы допросов, шагая по светлым коридорам этого корпуса с их большими незарешетчатыми окнами, я с волнением изучал, что за окнами. Пробить стекло и прыгнуть. Смотри, в этом месте внизу двухэтажная пристройка, не разобьешься, а за ней — нет забора — прыгай — ну! Но не хватало смелости или безумия.

Первые месяцев десять меня допрашивали по моему делу и по делам других Хельсинкских групп по семь-восемь часов в день, с девяти утра до пяти, шести, семи вечера, с перерывом на обед. Воскресенье — выходной. Вечерами и воскресеньями я играл в шашки с сокамерником или читал что-нибудь из тюремной библиотеки. Это была отличная, уже разворованная, правда, библиотека. Много русских классиков, конфискованных у

интеллигентных арестантов тридцатых годов. Каждый день выдавали тоже «Правду», которую я внимательно прочитывал.

Последние два месяца шли дополнительные допросы по делу Щаранского — вечерами, с шести-семи и до десяти-одиннадцати, с захватом иногда и воскресений. В конце следствия допросы велись иногда с семи утра до десяти вечера с перерывами на обед и ужин. Это была битва, день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем. Только ярость и презрение и убеждение в своей правоте и в их вине держали меня в состоянии некоторого равновесия.

Они работали со мной в одиночку или парами, по одному и тому же образцу. Следователь диктовал формальный вопрос, я диктовал формальный ответ, он записывал. Если в его записях были хоть незначительные искажения по сравнению с моими, я твердо отказывался подписывать страницу. Первые шесть месяцев я во многих случаях давал ответы «Не помню» или «Ваш вопрос наводящий», или «Я не отвечаю на вопросы о других людях». Я никогда не называл фамилий и за исключением очень специальных случаев (например, человек уже не проживал в СССР), не подтверждал эпизодов, имеющих отношение к другим. Следователи долго и безуспешно атаковали этот подход.

— Вы утверждаете, что ваша деятельность и деятельность вашей группы является открытой, но одновременно утаиваете от следствия факты, не отвечаете на прямо поставленные вопросы. Объясните ваши действия.

— Потому что, — диктовал я, — КГБ любой мой ответ, данный в оправдание других людей, будет использовать против них и меня. Если я дам объяснение и покажу законность чьих-либо действий, вы просто напишете в их приговорах, что я признал и подтвердил совершение ими «противозаконных акций». Вы ведете не следствие, а расправу.

Нередко я диктовал гораздо более длинные ответы, с большим числом подчиненных предложений, встроенных друг в друга, но потом приходилось подсчитывать грамматические ошибки следователя — от десяти до пятнадцати на страницу в случае Юрия Сергеевича Яковлева.

— Социализм держится на плечах КГБ, на наших плечах! — воскликнул однажды обиженный Яковлев.

Прост Юрий Сергеевич, а попал в точку.

— Это отчетливо видно, — соглашался я. — Чем ближе к коммунизму, тем больше штаты КГБ. На чем же еще держаться социализму?

Впрочем, я избегал неформальных дискуссий.

В ответах я никогда не упускал случая указать следователям и КГБ в целом на нарушение ими законов и интересов того самого государства, которое они представляли. Кроме того, я курил. Один из следователей сказал мне как-то, что он не курит. До того момента и я в тюрьме не курил, но после этого начал.

— Почему? — спросил он, закашлявшись.

— Чтобы отравить вас.

После шести месяцев всего этого я решил, что говорить больше не о чем, и, записав вопрос, неважно какой, отвечал просто: «Смотри ответ на предыдущий вопрос». В ответе же на самый первый вопрос значилось: «Я отказываюсь отвечать». Множество страниц моего 58-томного дела построены по этому алгоритму. Пятьдесят восемь томов возникли элементарно. Яковлев заполнял их макулатурой: кипа пустых бланков нашей группы могла, например, составить том, другая кипа — другой том.

Когда еще через четыре месяца начались допросы по делу Щаранского, мне пришлось опять поменять алгоритм в расчете разговорить самого следователя и получить важную информацию. Я отвечал на вопросы по этому делу. Надо было понять, как именно хочет КГБ использовать это грубо фальсифицированное дело Щаранского против группы, и попытаться отвести удар и от группы, и от него. Одно из обвинений в адрес Щаранского и одновременно группы состояло в том, что он якобы использовал группу и правозащитную деятельность вообще в качестве ширмы для шпионажа. Конечно, сами они не верили в это обвинение ни секунды.

— Не передавал ли каким-либо образом Щаранский шпионскую информацию иностранцам на ваших пресс-конференциях? — спрашивал меня следователь и наглядно показывал, каким именно образом это можно было сделать.

Я отвечал, что никто конкретно не передавал документы из рук в руки, они просто лежали на столах.

— Кто и как раскладывал их, кто и как брал ваши документы?

— Я сам раскладывал. Брал кто хотел.

И так далее.

Но когда ты уже влез в режим неотказа от ответов, тренированный следователь может сформулировать такие вопросы, на которые опасно селективно отвечать молчанием! И ты чувствуешь, что гуляешь по острию бритвы. Когда закончились эти вязкие вечерние допросы, я был на пределе своих физических сил.

Допросы по моему собственному делу проводились в это

время так, как будто следствие уже доказало «измену родине». А именно, что я использовал Хельсинкскую группу в качестве ширмы для «помощи иностранным государствам в проведении враждебной деятельности против СССР». Статья 64.

— Сознаете ли вы всю тяжесть содеянных вами преступлений?

— Смотри ответ на предыдущий вопрос.

— Готовы ли вы искупить свою вину перед советским государством и советским народом?

— Смотри предыдущий ответ.

— Вы все смеетесь, Орлов, — предупредил Яковлев. — А дело об измене, 64-я статья, вот здесь, в этой папке.

В качестве «доказательства» фигурировало письмо ко мне Данте Фассела, председателя Комиссии по безопасности и сотрудничеству при Конгрессе США, идею которой выдвинула после поездки в Москву Милисент Фенвик и которая была создана в мае 1976. Фассел писал, что делегации Комиссии было отказано в советских визах, что они хотели бы встретиться со мной, но не могут, и что он желает мне всяческих успехов. Это пожелание успехов интерпретировалось КГБ, как «инструкция». Я интерпретировал их интерпретацию как запугивание, но не исключал и худшего. Для КГБ все возможно.

В течение этих долгих месяцев у меня не было сведений о родных, у них — обо мне. Я видел только, что Ирина не арестована: она продолжала составлять и подписывать списки продуктов, которые имела право посылать мне раз в месяц, а я имел право сверять списки с наличностью. Был бы поумнее, разработал бы заранее какой-нибудь «продуктовый код», чтобы по посылке узнавать, что происходит за лефортовскими стенами. Ирине, например, объявили вначале, что я просто «задержан», не арестован — вероятно, чтобы заграница не шумела. Затем ей сказали, что мне предъявлена статья 190 прим, легчайшая политическая статья Уголовного кодекса. В «Лефортове» же мне сразу сообщили: «У вас будет много статей — от спекуляции до измены!» Я вначале и не вник в эту угрозу. Восемь месяцев спустя разговор внутри «Лефортово» в основном шел об «измене», вне — все о той же 190 прим.

Главной проблемой для меня была, однако, не «измена», а уборная. От тюремной еды и от малоподвижности вздувалось брюхо, и было каждый раз невыносимо стыдно сидеть на толчке в камере в присутствии других заключенных.

Я шел иногда на допросы, как на спасательную операцию. Там прапорщик мог вывести в нормальный сортир для следователей.

Хотя я был заперт в тюрьме, никто не смог бы обвинить меня в паразитизме. В «Лефортове» я обеспечивал зарплатой целый полк следователей, занятых все рабочее время одним моим делом, и значит, кормил их детей, одевал жен, и посылал их всех отдыхать на Черное море. Следователи, со своей стороны, выказывали великое рвение в своей героической работе. И то ли я еще узнал, когда ознакомился с томами своего дела в конце следствия! Добросовестные работники, они посвятили весь 1977 год поискам того, как состряпать обвинение Ирине и мне в уголовных «валютных операциях» и «спекуляции». Допросили десятки наших соседей на предмет продаж и проверили документы всех комиссионных магазинов на предмет сдачи вещей на комиссию. Ура! — Орлов сдавал шерстяные нитки! Целых три квитанции! Спекуляция. Три сдачи на комиссию были, конечно, не противозаконны, но не для КГБ же писаны законы. К счастью, я вспомнил, что это была на самом деле одна сдача и, соответственно, обнаружил на трех квитанциях три последовательных номера. Я подал протест прокурору, в котором поздравил следователя Яковлева и его начальника Трофимова с выдающимся изобретением нового метода обвинения граждан в спекуляции. Им пришлось после этого официально допросить приемщицу. Та держалась, однако, твердо.

— Это я поделила шерсть на три части и выдала три квитанции Орлову вместо одной. Так было удобнее продавать. Я повторяю еще раз, это была одна сдача.

Ошалев, они кинулись допрашивать женщин во всех комиссионных магазинах, допросили сорок (!) приемщиц, но «спекуляцию» из них так и не выжали.

Допрашивались продавщицы, допрашивались и академики: Роальд Сагдеев, Лев Окунь, Артем Алиханян, Вадим Белоцерковский, Михаил Леонтович, Владимир Мигулин. Нет, Орлов не вел с ними антисоветских разговоров. Нет. Академик Леонтович, один из создателей термодиффузионного разделения изотопов, попросил записать в протоколе, что я физик продуктивный, публикуюсь часто. Член-корреспондент Мигулин, однако, в отдельном рапорте, поданном в КГБ, в противоречие с Леонтовичем утверждал, что я в физике не работал уже много лет и не публиковался аж с 1963 года. Фактически-то я публиковался больше Мигулина. Но он был одним из моих учителей, мне не хотелось позорить его имя при защите себя на суде от любимой версии КГБ, будто я давно не ученый.

— Академия никогда после этого не изберет его в действительные члены, — объяснял я Яковлеву, прося убрать рапорт Мигулина из моего дела.

Но Яковлев не убрал. Я не молчал на суде. Мигулин не стал академиком.

Академик Будкер, пионер встречных пучков, изобретатель электронного охлаждения антипротонов, не допрашивался. После моего ареста он, лежа в больнице, послал (попросил жену Аллу послать) телеграмму Ирине, чтобы она прилетела к нему в Новосибирск для разговора обо мне. Телеграмма была перехвачена КГБ и подшита к моему делу. Ирина ее не видела. Будкер вскоре умер.

Допросили, конечно, и моих семейных, так же как и Галю с Ирой, матерью Левы. Галя решительно опровергла моральное обвинение, будто я не помогал детям: помогал, сказала она, больше, чем это требовалось по закону. Ира опровергла точно такое же обвинение в отношении Льва. Лева не допрашивался по возрасту, Саша описал мои положительные качества, а Дима решил совсем не отвечать на вопросы, записав только в первом ответе: «Я люблю своего отца». Ирина потребовала, чтобы ей дали записывать свои показания собственноручно. Следователь согласился. «Я люблю тебя, Рыжи…» прочитал я в протоколе. Вместо последней буквы тянулась линия вниз на всю страницу: следователь рванул ее за руку.

Вечерами я часто писал протесты в прокуратуру. После допроса об отобранных на обыске «запрещенных» книгах я жаловался, что КГБ еще не развился даже до уровня святой инквизиции, которая по крайней мере имела списки запрещенных книг, так что люди знали, что было запрещено, что нет… Я писал, что либо все государство шизофреники, либо Плющ здоров, так как Щаранского осудили на 13 лет за содействие в передачу журналисту «секретного» сочинения по парапсихологии, а Плюща объявили шизофреником и осудили на спецпсихушку за интерес к лженаучной парапсихологии… Я просил проверить умственные способности следователей… Протестов набрался целый том. Хотя прокуратура и отвечала на них однотипно: «Нарушений закона не усматривается», этот составленный мной реестр идиотских противоречий и произвольных суждений КГБ помог разрушить золотую мечту: «У вас будет много статей — от спекуляции до измены».

«Следствие» закончилось в феврале 1978, через год после ареста. Срывающимся, переходящим на крик голосом Яковлев объявил о переквалификации статьи 190 прим на статью 70 — «антисоветская агитация и пропаганда с целью подрыва или ослабления советской власти… Клеветнические измышления, порочащие советский общественный и государственный строй». Я с трудом узнавал его. Он крепился целый год и вот, на тебе,

сорвался. Тяжелы, что ли, были допросы? Не выдержали нервы? Мне вспомнилось, как однажды он заметил с неподдельною обидою: «Вы считаете себя гуманистом. А какие заявления на меня пишете?» Я боялся в тот момент, что у меня от смеха отвалится челюсть, как бывало часто с моим отчимом. Хотя я, в общем, знал, как решалась эта проблема: надо сильно дать себе кулаком по челюсти снизу.

Зол был Яковлев, очевидно, потому, что вместо ожидаемых «от спекуляции до измены» у меня осталась одна лишь почетная статья 70. Испортил ему карьеру? Через несколько дней мне принесли в камеру его литературное эссе под названием «Обвинительное заключение». Затем несколько недель подряд вся дивизия следователей перепечатывала своими собственными руками все пятьдесят восемь томов моего дела.

— Почему не машинистки? — спросил я следователя Каталикова.

— Но ведь это будет распространение!

— Распространение… чего??

— Антисоветской пропаганды — ваших документов и заявлений.

— Распространение моей пропаганды среди ваших же машинисток???

Это был тот самый Каталиков, который спросил меня однажды, волнуясь и чуть не краснея: «Юрий Федорович… Скажите… Это правда? Вы можете не отвечать… Неужели диссиденты действительно осуждают поступок Павлика Морозова?»

Мне было дано два месяца на ознакомление с готовыми, наконец, томами дела, с выводом на эту работу каждый день. Под наблюдением следователя Капаева, в специальной комнате, я заполнил четыре толстых тетради выписками из своего дела и из Уголовно-процессуального кодекса. Обычно они не давали заключенным даже посмотреть в этот кодекс, но в моем случае по каким-то причинам сделали исключение. Закон запрещал мне иметь адвоката до стадии ознакомления со своим делом. Зато теперь адвокат присоединялся к нашей трудовой компании каждый день. Найти защитника честного и одновременно опытного в политических делах, а в то же время и не лишенного за это прав на практику, было невозможно.

Е. С. Шальман был честен, но вел до этого лишь бытовые уголовные дела.

Однажды, когда Капаев вышел, Шальман нарисовал на бумаге: NOBEL. «Не дадут, конечно, но…», — добавил он вслух. Итак, Хельсинкские группы выдвинуты на Нобелевскую премию

мира. Я был рад, но никакого потрясения не испытывал. Мы определенно заслужили эту премию, но определенно ее не получим.

Ознакомившись с делом, Шальман написал свое официальное заключение: он считает меня невиновным. Капаев и другие, все были поражены и возмущены до глубин своих прозрачных душ. Они видно не ждали от этого тихого, благоразумного юриста, публиковавшего литературоведческие статьи о Пушкине, что он поступит, как реальный адвокат своего подзащитного. С ним побеседовали на высоком уровне. Потом еще раз и еще.

— Юрий Федорович! — сказал он мне после этого. — Я берусь защищать вашу честь, но политическую сторону дела вам придется взять целиком на себя.

Глава семнадцатая
«Напиши о нас книгу!»

В добрые сталинские времена знали, как вести дела, судебные спектакли сверкали как бриллианты. А теперь с этими новыми диссидентами все валилось из рук. Подсудимые не учили ролей, суфлеры путали пьесы, свидетели не слушали суфлеров, судьи не понимали подсказок, а пока добегали от суфлерских будок до своих кресел, забывали инструкции.

Суд надо мной начался 15 мая 1978 года, почти точно во вторую годовщину Московской Хельсинкской группы — неосторожное напоминание о том, за что в действительности судили. Перед зданием суда собрались сто-двести диссидентов и сочувствующих: А. Д. Сахаров, иностранные корреспонденты, наблюдатель из посольства США. Меня изолировали от друзей пятнадцать месяцев, не в расчетах КГБ было свидание с ними и теперь, но расчеты не срабатывали. Каждое утро в 6–00 меня сажали в «воронок», везли час на другой конец города и подгоняли машину впритык к боковому входу в здание суда, чтоб никто не видел подсудимого. Но, задержавшись меж «воронком» и дверью, я успевал увидеть друзей в двухстах метрах от себя, за милицейским кордоном, и даже вскинуть в приветствии руку. Тут же сыпались удары в шею и спину и я влетал в дверь.

Внутри запирали в вонявшую блевотиной КПЗ, чтобы продержать в холодном сумраке два или три часа до начала заседания. Только после этого выводили в «суд». А там — там можно было увидеть Ирину, Диму и Сашу: из-за международного внимания к этому суду он был объявлен «открытым для публики». «Публику» играли специально подобранные, привезенные на автобусах исполнители, снабженные специальными пропусками. Истинная публика стояла снаружи, ей объявлялось: «Зал полон, мест нет!» Так что, не считая меня, моей семьи и адвоката, внутри этого театра размещались только актеры, игравшие для себя и для авторов. Один такой автор персонально присутствовал на первом утреннем представлении: зампредседателя КГБ, муж сестры жены самого генерального секретаря, и сам генерал — Семен Кузьмич Цвигун. Человек скромный, он оделся в гражданское. Другие артисты не подозревали, однако, что на самом деле он был тоже — и притом величайший — артист. Вместе с министром внутренних дел Щелоковым и зятем генсека Чурбановым (его «сыном-в-законе», сказали бы по-английски), вместе с сотнями других чинов КПСС, КГБ, МВД и прокуратуры

Цвигун копался рылом в государственном корыте. Это была коррупция века, не имевшая прецедентов не только в советской, но и во всей, кажется, новейшей истории. Пройдет несколько лет после моего суда и Цвигун исчезнет с политического горизонта, прошуршит молва о самоубийстве. Но в те дни он еще держался на вершине власти, и политические суды вроде моего были ему нужны, как воздух, чтобы отвлекать внимание от его чавканья в корыте.

Он сидел на лучшем месте — в первом ряду, насупротив судейского стола.

Судейский стол был красиво украшен черными томами моего дела, которых стало теперь 59, а с протоколом суда должно было стать 60 — без всякого сомнения, круглая контрольная цифра. На всех томах чудесным образом выросли теперь белые наклеечки с грифом «секретно». За столом сидели В. Г. Лубенцова, судья московского городского суда, и народные заседатели, в просторечьи «кивалы». Когда-то, при царях, на Руси заседали присяжные, но о том уже все забыли.

Я сидел за барьером высотой по пояс под охраной двух солдат. У стены напротив меня сидел за своим столом прокурор Емельянов, а меж Цвигуном и мною — Шальман. Теперь только здесь, в суде, и только с такой дистанции я видел своего защитника: КГБ вразумил его основательно. У меня был и другой защитник, который мог не бояться вести реальную защиту, но он был далеко, в Лондоне, — Джон Макдональд, адвокат высшего ранга, международно известный юрист-либерал. Советские власти не пустили его в страну[14].

Охранники поправили пистолеты на поясах, и пьеса началась. Лубенцова заговорила, подглядывая нервно в честные глаза Цвигуна, кивалы — закивали. Для начала Лубенцова отказалась пригласить несколько десятков свидетелей, выставленных мной, даже не упомянув о тех других десятках, которых я не знал, которые сами писали заявления из лагерей и заграницы, требуя вызвать их в качестве свидетелей. Ну, это было с ее стороны предусмотрительно и по советскому закону даже не вполне беззаконно. Потом она запретила всем сидящим в зале подходить к окнам. Что ж, и это было не совсем бестолково: зачем, право, смущать «публику» внутри видом публики снаружи? Однако после этого она объявила, что Хельсинкская группа не имеет отношения к делу Орлова, запретила адвокату, прокурору и мне, и кому бы там ни было зачитывать какие бы то ни было документы пятидесятидевятитомного дела, красовавшегося на столе, и запретила даже — упоминание названий документов. Но ведь таким ее указом покрывались не только заявления и

документы мои и Хельсинкской группы, но и все «доказательства вины», собранные КГБ! Понятно, гебисты испугались, как бы их доказательства не превратились в доказательства мои — так же не работают, товарищи. Сталинский генеральный прокурор Вышинский провертелся в гробу весь этот день. Какое неумение, какая безвкусица! В конце концов у нас есть закон, и согласно закону суд есть не что иное как исследование документов, на которых базируется обвинение. Профессионалы, шептал Вышинский, не будут шлепать «секретно» на документах, представленных открытому суду. Если эти документы вас беспокоят, что за проблема? Сочините свои собственные! Или уж, на худой конец, объявите суд закрытым.

Надо было решать, участвовать ли в таком процессе. Мне хотелось продемонстрировать своим детям, иностранным корреспондентам и реальной публике абсолютную справедливость документов Хельсинкской группы и абсолютный идиотизм КГБ. Поэтому я решил участвовать.

Перед прокурорским допросом, в первый день утром, я сделал заявление суду.

— Чтоб не тратить попусту время, объясните, пожалуйста, прокурору, что я принимаю на себя всю ответственность за содержание документов Московской общественной группы содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР, но на вопросы, кому, где и когда они передавались, отвечать отказываюсь.

Никто на самом деле и не собирался тратить время попусту. Судья, правда, бегала к телефону каждые пять минут за руководящими указаниями и, соревнуясь с прокурором, то и дело прерывала меня, когда я пытался говорить. И на все это тратилось время. Но не попусту, не попусту: им удалось управиться с судом за считанные три дня. На допросы свидетелей ушло всего шесть часов. Да, правду сказать, и шесть-то часов разбазарить неизвестно на что после пятнадцати месяцев тяжкого труда над 59 томами такого дела было для КГБ тяжелой жертвой. И без того у гебистов было работы по горло. Во время суда обыскивали сыновей и Ирину по четыре раза на день, а когда изымали магнитофоны, которые Дима и Саша спрятали под рубашками, то и поколотить пришлось. (После этого Ирина, Дима и Саша восстанавливали процесс по памяти, так как и записи судья запретила также.) На третий день на обыске одна чекистка на глазах у пяти чекистов-мужчин раздела Ирину почти догола. Если бы Ирина сопротивлялась, ее могли бы арестовать и дать срок по статье 190–3. Она не сопротивлялась, но и не помогала им. Они одели ее кое-как, ожидая, видно, что вот сейчас она разревется,

приведет себя в порядок и убежит домой. Вместо этого она вышла на улицу в растерзанном виде, чтобы показать всем, что творится на этом суде. Когда президент Картер публично осудил весь ход процесса, он упомянул и этот эпизод.

У меня тоже работы было по горло за моим барьером, который я использовал как бюро для своих четырех толстых тетрадей — выписок из дела и из Уголовно-процессуального кодекса. Как ясно предупредил меня Шальман еще в «Лефортове», забота о моей защите лежала в основном на мне самом. Фактически именно я проводил перекрестный допрос свидетелей, выступавших на второй день суда. Согласно советскому закону свидетели не подразделялись на «свидетелей обвинения» и «свидетелей защиты», потому что в деле присутствовала только одна сторона — истина. И обвинение, и защита могут представить своих свидетелей, но не они, а судья решает, кто засвидетельствует истину. Лубенцова решила, разумеется, что на это способны только свидетели КГБ.

Они были фантастически не подготовлены, особенно те, что допрашивались в первой половине дня, до перерыва на обед. Хотя я понимаю, как трудно им было доказывать клеветнический характер моих и группы многочисленных обращений и документов, не цитируя ни текстов, ни даже названий. Старались они честно. Когда я спросил одну из свидетельниц, психиатра профессора Блохину, почему Леонида Плюща в конце концов освободили из спецпсихбольницы, она с потрясающей уверенностью ответила: потому, что его психическое состояние улучшалось и постепенно пришло я норму. Однако к моему делу были подшиты акты психиатрической экспертизы, подписанные профессором Блохиной, свидетельствовавшие, что психическое состояние Плюща непрерывно ухудшалось! КГБ сунул их в мое дело в качестве опровержения обвинений, что Плющ содержался в спецпсихбольнице по политическим причинам. Продираясь сквозь крики судьи: «Читать документы запрещено!» — я зачитал акты экспертизы по своим выпискам из дела. Покраснев, глядя на меня змеиными глазами, Блохина не нашлась, что придумать для ответа. Одним из свидетелей в это утро был также человек по фамилии Варга, в чью задачу входило доказать, что вопреки одному из Хельсинкских документов в Рижском порту никогда не было никакой забастовки. Свидетельство? Простое: он, Варга, никогда не слышал о забастовке. Я допросил его и оказалось, что он никогда в порту и не работал, и даже в близких окрестностях порта не жил.

— Если так, то почему вы сюда приехали? — спросил я.

Как и Блохина, он внезапно онемел.

Зато все послеобеденные свидетели начинали свои показания абсолютно одинаковыми формулами: «Во-первых, я хочу заявить, что подтверждаю все свои показания, данные на предварительном следствии». «Во-вторых» у всех одинаково отсутствовало. Видно это было все, что они смогли запомнить из обеденной инструкции КГБ. Показания свидетелей были столь идиотичны, что половина этих людей не была упомянута вовсе в приговоре, а другие были фактически лишь поименованы.

На третий день обвинитель и я, оба, должны были представить суду те документы дела, которые поддерживали наши противоположные версии. Но как это было сделать, если документы скрывались в пятидесяти девяти томах там на столе, и обеим сторонам было запрещено даже произносить их названия? Емельянов просто указал номера томов и страниц. Я дал фактически тот же самый список, но зачитал названия документов. После этого прокурор произнес свою обвинительную речь (записано Ириной):

— Товарищи! Шестьдесят лет назад совершился величайший в мире переворот. Под руководством коммунистической партии рабочие и крестьяне захватили власть в свои руки… В настоящее время советские люди приступили к строительству коммунизма… Чтобы опорочить наш строй, изобретаются домыслы о «различных вариантах социализма», например о «демократическом социализме».. Империалисты лучше всех осведомлены, как хорошо на самом деле живут советские люди, и это вызывает их ненависть[15].

Когда Емельянов вытянул последнюю ноту своей историко-истерической арии, я сделал заявление об отказе от защитника, чтобы получить право самому произнести защитительную речь. И если до этого момента «публика» была более-менее спокойна, то далее сценарий требовал какофонии. С начала и до конца моей речи — приблизительно два часа — они орали: «Расскажи лучше о своем преступлении!» — «Вы и здесь ведете свою пропаганду!» — и еще черт знает что — мне трудно было разобрать. Они замолкали только тогда, когда мою защитительную речь перебивали сами судья и прокурор. Затем я перешел к своему последнему слову, на которое имеет право каждый подсудимый.

— Вы можете приговорить меня к семи годам тюрьмы и пяти годам ссылки, вы можете расстрелять меня, но я убежден, что подобные суды не помогут устранить те беды и недостатки общества, о которых свидетельствуют документы Хельсинкской группы и о которых я пытался здесь говорить. И если…

На этом месте судья и кивалы покинули зал заседаний… Солдаты стали выводить меня.

Дима, сложив рупором ладони, успел крикнуть:

— Отец, ты выиграл процесс!

Приговор зачитывался на четвертый день. Из презрения к этому суду Ирина и Дима отказались слушать вердикт стоя. Три раза Лубенцова требовала от Ирины встать, три раза та отвечала: «Я не уважаю ваш советский суд», потом вдруг бросилась на скамейку и обхватила ее руками. Трое мужиков тут же бросились отрывать Ирину от скамьи, Дима бросился отрывать мужиков от Ирины, я удержал себя, чтобы не прыгнуть через барьер, двое зубоворотов скрутили Диме руки и вывели из зала суда. Саши в этот момент не было, он готовил бумаги к защите диплома. Когда он приехал, маленькая Ирина стояла вертикально между двух огромных медвежатников[16].

В конце чтения «публика» взорвалась аплодисментами, криками: «Мало! Нужно дать ему больше!» Приговор был семь лет исправительно-трудовой колонии строгого режима и пять лет ссылки.

Капитан КГБ Орехов узнал еще до суда, что КГБ решил дать мне «7 + 5», и через Марка Морозова предупредил об этом диссидентов, Московскую Хельсинкскую группу и сахаровское окружение. «Нужно объяснить общественности, — сказал он, — что этот суд — фикция». Но никто ему не поверил.

Едва ли кто верил ему и прежде.

Через Морозова и Турчина он предупредил меня об аресте. Только я поверил, что это серьезно. И был арестован. Он предупредил Подрабинека об обыске. Никто не поверил. Обыск состоялся, затем Подрабинек был арестован (за день до моего суда).

Диссиденты не просто не верили Орехову, они отвергали в принципе идею неоткрытой, секретной деятельности, особенно совместно с кем бы то ни было из КГБ. Даже когда Орехов передал диссидентам пропуски на мой суд, они отказались воспользоваться ими.

Другая сторона трагедии была в том, что и Орехов не понимал, насколько разительно отличались идеи сопротивления его и диссидентов. Для него подпольные методы были не только единственно возможны, но и наиболее естественны. КГБ, как и вся верхушка партбюрократии, была подпольной, секретной организацией. Вся воспетая советской властью история дореволюционного сопротивления — история подполья. Мирная, открытая работа дореволюционных либералов, чьи традиции сопротивления хотели продолжать советские защитники прав человека, либо замалчивалась, либо карикатурно осмеивалась.

Трагичным был также факт, что некоторые диссиденты, ни

разу не усомнившись, что Орехов — провокатор, довольно открыто обсуждали мистического капитана КГБ прямо под подслушивающими микрофонами, установленными в каждой диссидентской квартире. Безусловно, тут больше всех других виноват полуглухой Морозов, настолько неаккуратно контролирующий, точнее, вовсе не контролирующий громкость своей речи, что диссиденты и его принимали за провокатора. К несчастью, Орехов мог передавать свою информацию, не вызывая подозрений, только через него: обработка диссидента Морозова была его официальным заданием.

Осенью 1978 Морозов, а затем Орехов были арестованы. Морозову вначале дали только ссылку, а потом добавили восемь лет лагеря. Орехову сразу дали восемь лагеря, которые он полностью отсидел.

Меня продержали в «Лефортове» до начала июля. Пара недель ушла на ожидание ответа на кассационную жалобу, которую я составил кое-как: адвокат Шальман передал, что занят, помогая мне не лучшим образом, а я был сыт своим делом выше головы. Еще пара месяцев ушла затем у КГБ на подготовку транспорта — два спокойных для меня месяца, которые я провел в физических расчетах и написал статью по волновой логике. Шальман, наконец, пришел на свидание, но был так напуган, что отказался передать мои научные записи на сохранение Ирине. Когда же Ирине самой неожиданно дали коротенькую встречу со мной перед этапом, я не был подготовлен: бумаг при мне, а лучше сказать, на мне, в тот момент не было. Они так и пропали: два офицера КГБ конфисковали все записи в день отправки.

— Отправка куда? Куда я выйду отсюда? — спросил я у начальника Лефортовской тюрьмы.

Глупый вопрос. Но я надеялся по ответу понять, как выдвижение на Нобелевскую премию и протесты на Западе, о которых говорила Ирина, повлияли на мою судьбу.

— Отсюда выходят только в Сибирь! — ответил он. — Я полагаю, однако, что мы с вами еще встретимся…

Этап — от «Лефортова» до Пермского лагеря 35 — занял лишь одну неделю. В столыпинском вагоне меня держали отдельно, но изолировать вовсе от других заключенных было невозможно, они быстро узнали, кого везут. «Орлов! Напиши о нас книгу!» — «Книгу напиши, Орлов!» — кричали из соседних «купе», упакованных так, что люди там сутками стояли, прижатые друг к другу.

Привезя, меня поместили сперва вне зоны, в лагерной

больнице, обслуживавшей несколько политзон. Пока что везло: я был сильно простужен. Обычно новичка, больного ли, здорового ли — неважно, по прибытии совали в штрафной изолятор, чтобы он быстрее приобретал вкус к новой жизни. Но, ожидая решения Нобелевского комитета, чекисты относились ко мне пока осторожно. Помогало также, что я был членом-корреспондентом Армянском академии.

Начальником больницы оказался человек по имени Шелия, который показывал против меня на суде — против разоблачительных документов группы о медицинском обслуживании в лагерях. Теперь он доверительно поведал мне, что сам напросился после института в лагерь, потому что на заключенных, объяснил он, удобнее начинать свою практику в хирургии. Я скоро узнал, что в его небольшой больничке за последний год скончались от его практики шесть человек.

Я чувствовал себя вполне счастливым во время двухчасовых прогулок по больничному дворику — столько было зелени после «Лефортова», а за заборами — леса, леса, леса! Местный, 35-го лагеря, гебист тоже решил разок погулять со мной по дворику. Его интересовало, что я буду делать с Нобелевской премией.

— Ну, вам-то ничего не достанется. Поделю ее между заключенными вашей зоны, — ответил я.

В середине августа меня перевели из больницы в зону и поставили за токарный станок обтачивать плашки для нарезки резьб, 48 часов в неделю. Как и другие политлагеря, пермский 35-й состоял из зоны жилой — барачной, зоны рабочей — заводской и внутренней тюрьмы, где были ПКТ (помещения камерного типа), ШИЗО (штрафные изоляторы) и специальные рабочие камеры. Различные зоны строго изолированы друг от друга заборами и колючими проволоками. Термин «зона» несколько неопределенен: то весь лагерь назовут в разговоре зоной («привезли на зону»), то лагерь минус ПКТ — ШИЗО («вышел из ПКТ на зону»). Меня поразила в этом лагере замечательная организация политзаключенных. Многих, по крайней мере имена, я давно знал по самиздату. Удивительно, но, несмотря на полную изоляцию, и они знали меня. Мы встречались как старые друзья. Преобладали в этой зоне украинские националисты. Лидировал среди них определенно Валерий Марченко, не родственник Анатолию Марченко, но также погибший позже в заключении. Почти все они написали отказы от советского гражданства и держались очень твердо. Гебисты ненавидели украинцев, кажется, сильнее всех других политических заключенных. И украинцы, и другие политические помогли мне быстро освоиться с лагерной жизнью. Небольшой, горбатый Пидгородецкий и здоровенный

детина Верхоляк, два старых солдата УПА (Украинской повстанческой армии), отсиживавшие свои 25-летние сроки, перешили мне мою черную лагерную форму — куртку, штаны и фуражку — таким образом, что она выглядела даже по-человечески, не так унизительно. Это они делали только для друзей.

Меня держали в лагере уже почти месяц. Этого было достаточно, чтобы увидеть своими собственными глазами: документы Хельсинкской группы о положении заключенных точны. Я хотел зафиксировать этот факт, а кроме того, показать те стороны лагерной и тюремной жизни, которые еще не были описаны в наших документах, и предложил моим новым друзьям подготовить Хельсинкский документ о положении заключенных, составленный самими заключенными, причем разных национальностей, представив его к следующей, Мадридской, конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Мы сделали это. Украинцы Марченко, Антонюк, Маринович, литовец Плумпа, эстонец Кийренд и я поделили темы. Каждая часть шла за подписями тех, кто ее писал. В преамбуле я обсудил причины огромного числа, от 3 до 5 миллионов, заключенных в СССР, включая принудительных рабочих («химиков»), «Труд этих миллионов современных рабов, — писал я, — кажется дешевым и выгодным, им кормится громадный штат Министерства внутренних дел, однако в действительности государство проигрывает, потому что рабская система консервирует отсталую технологию и примитивную организацию труда».

Выпустить такой документ в лагере — большое предприятие. Пока один пишет — трое или четверо несут караульную службу дальнего и близкого предупреждения на случай налета офицера или стукача. Черновики тщательно прячутся — лучше всего в землю. Подготовленный текст аккуратно переписывается затем на папиросную бумагу, и для этой операции нужна еще лучшая охрана. После этого текст завертывается во что-нибудь, что не переваривается желудком, получается «конфета», которая прячется до тех пор, пока у кого-нибудь из доверенных зэков не появится надежда на личное свидание с родными. Существуют и другие способы, не известные КГБ, но я не собираюсь рассказывать о них здесь даже сейчас. Переправка этого Хельсинкского документа (Документ № 88) по кусочкам на волю заняла у моих друзей почти год.

К концу третьем недели приехала на личное свидание Ирина. В советских лагерях строгого режима разрешается иметь одно трехдневное личное свидание в год, но это в лучшем случае. Политическим обычно предоставляется ноль дней. Однако первое

свидание отменять нельзя, и лагерное начальство сообщило Ирине, в какой день приехать. Когда же она приехала за тысячу верст из Москвы, ей сказали:

— Ремонт. Давайте в другой раз.

— Нет, — сказала Ирина, — в таком случае я соберу в Москве пресс-конференцию и сообщу иностранным корреспондентам, что вы незаконно отменили первое свидание.

— Хорошо, — сказали начальники, — у нас найдется комната в другом лагере, но только на два дня.

— Закон говорит — три, — напомнила Ирина. — А нет, так я поеду обратно и соберу пресс-конференцию.

Ситуация с Нобелевской премией была все еще неясна и они дали ей законное свидание.

Свидание…

К станку подходит охранник:

— Собирайтесь!

— Куда?

— Неизвестно.

Ведет.

В изолятор? Нет, на выход. На этап? Почему без вещей? В «воронке», в металлическом боксике размером полметра на полтора метра, привозят в другую зону, в отдельный барак.

Свидание!

— Раздевайтесь. Нагнитесь. Так… Покажите. Так… Раздвиньте. Так… Еще раз. Так… Присядьте. Так… Покажите. Так… Одевайтесь. Не то, это. Нет, погодите. Присядьте. Да-да, еще раз. Не разговаривать! Так… Покажите. Так…

Это длится более часа, а время свидания идет — твое время. Пока ты здесь, где-то осматривают твою жену. Наконец ты одеваешь специально подобранную для тебя, политического, какую-то позорную одежду, с короткими штанами без двух пуговиц. Взятый от станка, ты усталый, немытый, голова стрижена наголо. Вас с женой запирают вдвоем. Жена тебя обнимает, она, может быть, еще любит, но ты не тот, кого она помнила.

Ирина рассказала, что КГБ обыскивал нашу квартиру еще два раза, что Хельсинкская группа продолжает работать — новые члены заступают на место арестованных и уехавших. О работе этих новых членов группы — Тани Осиповой, поэта Виктора Некипелова, физиков Сергея Поликанова, Юрия Ярыма-Агаева и всех вообще — Ирина говорила с восхищением. Я попросил ее публично объявить, что я и здесь остаюсь членом Хельсинкской группы — в качестве посланного в лагерь наблюдателя.

Она увезла «конфету» приготовленную политзаключенными

этой зоны многие недели назад.

Вскоре после этого меня перевели в другую зону, 37–2. В 37-м лагере было две жилых зоны — большая, № 1, и малая, № 2. Моя была малая: пятьдесят на сто метров, окруженных пятью рядами колючей проволоки, частью под напряжением, двумя высокими заборами, вышками по углам, ультразвуковой контрольной системой, собаками, лающими за заборами. Посреди всего этого стоял жилой барак, маленькая деревянная, крашеная известью уборная, которую мы называли Белый дом, да небольшой домишко — баня и склад.

Размещались в малой зоне человек тридцать-сорок, в основном «военные преступники», бывшие полицаи, сотрудничавшие во время войны с нацистами. В большинстве простые крестьяне, осужденные за участие в карательных акциях, они теперь почти поголовно сотрудничали с гебистами. Лишь один человек здесь оказался по статье 70 — Кузьма Дасив, украинский инженер. Услышав от «военных», которым сообщила охрана, что меня приведут в эту зону, он подстроил нам свидание — несколько секунд! — с Паруйром Айрикяном, которого, наоборот, забирали из зоны на этап. Как только я вошел в барак, он втолкнул меня в сушилку, шепнув, чтобы я ждал Айрикяна. Минуты через три Паруйр вошел «взять одежду». Света не было и нельзя было разглядеть, изменился ли он за те четыре года, что прошли после суда в Ереване.

— Дасив наш, — шепнул он. — Все военные работают на КГБ. Но латышей не бойтесь. Они на самом деле бывшие партизаны.

Открылась дверь, и охранник забрал его.

Меня поставили снова за токарный станок. Сорокалетней давности рабочий опыт помогал, но все-таки было очень тяжело.

Потому что если ты не привилегированным экс-полицай, то тебе запрещено присесть во время работы, прилечь после работы и даже просто закрыть глаза, сидя на табуретке в свободное время. Первые месяцы норма у меня не получалась. На этом основании мне дали только один день личного свидания с семьей на второй, 1979 год. Потом свиданий не давали совсем.

Но еще оставалось право гулять внутри жилой зоны. Небо над головой, леса за заборами, трава вокруг барака — все это было изумительно. Я собирал пригодную к еде траву — витамины, набирал толику грибов — «съедобных поганок» — и тщательно варил их, меняя воду три раза. К сожалению, больше половины этой маленькой зоны отгородили позже в пользу кроликов, защитив их колючей проволокой. За кроликов отвечали старики «военные». Каждую субботу лагерный чекист Гадеев приходил

туда с тощим портфелем и выходил с очень толстым. Замначальника лагеря по политико-воспитательной работе приходил с портфелем по пятницам.

Даже и после того, как Нобелевскую премию вручили Садату и Бегину, лагерные офицеры все еще церемонились со мной, потому что я все еще оставался членкором Армянской АН. Отбирая постоянно мои записи по физике и логике, они их отдавали иногда обратно. Не наказали за две небольших политических голодовки. Первая, двухдневная, была посвящена Дню политзаключенного в СССР, 30 октября, когда по традиции объявляли голодовку политзаключенные обеих зон 37-го лагеря. За несколько недель до этого я тайно переслал Ирине для передачи диссидентам и на Запад заявление о голодовке 30-го октября с требованием освободить всех арестованных членов Хельсинкских групп. Идентичный текст был отдан лагерному начальству. В другой день традиционных лагерных голодовок — Международный день прав человека, 10 декабря, — я начал пятидневную голодовку, снова заранее предупредив Ирину. Она получила также текст обращения к советским властям, в котором я предупреждал их: «Стремление к росту влияния в мире было бы разумным, если бы базировалось на идеях демократического социализма, но вы помогаете развитию тоталитарных систем. Это рискованная игра, опасная для страны и мира».

Вскоре после этого Советы вторглись в Афганистан.

В феврале 1979 я почувствовал, что произошел решительный перелом. Только через два года Ирина выяснила, что именно в это время я был исключен из Армянской академии. С этого момента мне перестали возвращать конфискованные записи и запретили упоминание каких бы то ни было научных слов и символов, даже на уровне средней школы, в любых письмах ко мне и от меня. Это было большим ударом. Я объявил голодовку и забастовку — и был тут же брошен в штрафной изолятор.

Охранник привел меня в старый деревянный барак, огороженный колючей проволокой, и дал другую одежду — такую же форму, как в общей зоне, но донельзя заношенную, и такое же, как в зоне, хлопчатобумажное нижнее белье (шерстяное запрещено), но с дырами, и еще столетние грязные шлепанцы; пара носков, носовой платок и жестяная кружка были свои. Это все что разрешалось иметь в штрафном изоляторе, если не считать ржавой параши со множеством микро и макро дыр.

Камера была $1{,}1 \times 3$ метра с маленьким зарешеченным окошком и двумя цементными тумбами, похожими на два пня, на которые на ночь опускались нары; утром они поднимались, и

охранник снаружи крепил их штырем к стене. Я сел на тумбу. Из дырок в стенах дуло, на улице было 40 градусов мороза, меня охватил озноб. Много позже я изобрел разные тюремные хитрости, чтобы удерживать тепло: прятать, например, куски газет за форточкой снаружи, а потом закладывать их под рубашку за спину. Но все равно холодно. Невозможно согреться и едой при ее почти полном отсутствии, когда так называемую горячую пищу дают только через день.

Умывальника в камере не было. Раз или два в день выводили, чтобы опустошить парашу и умыться, но держать себя в чистоте было невозможно. Это есть часть наказания, объяснила мне лагерный врач.

Крикнешь:

— Начальник, дайте кусок газеты!

— Зачем?

— Что зачем? Подтереться!

— Сейчас позвоню дежурному… Погоди… Не-е, дежурный не разрешил.

— Как же подтираться?

— Пальцем.

— Тогда дайте бумагу и ручку. Напишу жалобу. (Право на жалобу.)

— Щас.

В кормушку совались ручка и тетрадный листок. Листок можно было поделить пополам: половина — на подтирку, половина — на жалобу.

Самое трудное было спать, то есть не спать. Ночью я растирал нары руками, ложился на десять минут, пока доски не охлаждались, растирал снова, ложился, растирал, ложился — и так всю ночь. Обычно закладывал при этом шлепанцы за спину, под рубашку, а если охранник попадался не злой, то покрывал голову носовым платком. Днем нары опускать было запрещено. Нельзя было спать и стоя. За нарушение срок в ШИЗО мог быть продлен.

Через пять дней моего первого ШИЗО они вернули мне мои записи, а я вернулся к станку. Но с этого времени новые записи пришлось вести втайне от охраны. «Крышу» предоставил мне заключенный Александр Нилов. Это был физик из Института имени Лумумбы, что почти автоматически означало, что он сотрудничал с КГБ, и двойной агент — по природе. Человек он был очень приятный, общительный, образованный и авантюрный. КГБ поймал его на приготовлениях к шпионажу в пользу ЦРУ и отправил на десять лет в лагерь. Решив однажды, что я его раскрыл как агента, проворочавшись всю ночь на своей койке,

Нилов утром признался мне, что гебисты действительно поручили ему персональную слежку за мной. Я многопонимающе кивал, хотя такое подозрение никогда не приходило мне в голову. Он стал помогать мне. Старики «военные» и прочие стукачи свято верили, что Нилов не простой заключенный, а офицер КГБ, прикомандированный к Орлову. Поэтому, когда он был рядом со мной, а это было часто, они отходили прочь, дабы не мешать важной работе. И он их сторожил, пока я переписывал на папиросную бумагу свои расчеты, чтобы послать их секретно Ирине.

Я пытался использовать все возможности для связи с ней. В жилой зоне была небольшая библиотечка и при ней библиотекарша — молодая мать-одиночка с ребенком. Мы подружились, хотя сотрудникам это строго запрещается. Она намеревалась выйти замуж за одного зэка из большой 37–1 зоны, который скоро освобождался. Но стукачи застукали их вместе, и КГБ начал расследование. Она взяла расчет и готовилась уехать. Я попросил ее по дороге домой завезти Ирине мою статью по логике. Однако пара экс-полицаев, сидевшая на кухне за тонкой стенкой, подслушала разговор. КГБ немедленно допросил ее, и она выдала им первую страницу моей работы, поклявшись, что других не имеет. Остальное она привезла через неделю Ирине. Меня посадили на полгода в ПКТ «за попытку нелегальной передачи антисоветских материалов».

Это была та же самая камера, в которой я сидел до того, но теперь у меня был другой режим, в основном легче, но кое в чем тяжелее. На ночь выдавали матрас, одеяло и подушку, днем выводили на часовую прогулку, книги и тетради были разрешены, «горячую пищу» приносили каждый день, но зато и на работу выводили каждый день, кроме воскресенья, — в рабочую камеру рядом. Надо было, крутя ручку небольшого станка, делать вручную стальные проволочные витки, а из витков собирать сетку «рабицу». Работа была намного тяжелее, чем на токарном станке, и выполнить норму мне, конечно, не удавалось. В одну из посадок в ПКТ меня спасал сидевший в другой камере Анатолий Корягин, которого выводили на работу в другую смену. Кандидат медицинских наук психиатр Корягин отсиживал семь лет строгого режима с последующей пятилетней ссылкой за борьбу против использования психиатрии в политических целях. Он скрытно подкладывал свои стальные витки в мою кучку. Когда я начал кашлять с кровью, он с большим риском переправил мне свое тайно хранимое хорошее лекарство. Ни до лагеря, ни в лагере нам не удалось встретиться лицом к лицу.

Три четверти дальнейшего срока меня продержали в камерах, более полугода, если собрать вместе, — в штрафных изоляторах. Остальное время я был в общей зоне. Но где бы я ни был, мысли о побеге никогда не оставляли меня. Я обсуждал свои проекты с Марзпетом Арутюняном, моим лучшим другом в лагере, лидером молодежной армянской националистической организации, осужденным на «7 + 5» за антисоветскую пропаганду. Его брат Шаген сидел в это время в другом лагере за участие в организации Армянской Хельсинкской группы. Мы обдумывали возможность подкопа от барака до той стороны заграждений — около пятидесяти метров, побега в кузове грузовика под стружками или опилками или даже в газике начальника лагеря, поставленном на ремонт в нашем цеху. (Газик был невелик, но и мы оба не великаны.) У нас обоих были красные полосы в карточках («склонен к побегу»), но охрана нас не выделяла и если бы мне удалось побыть в общей зоне хотя бы шесть месяцев подряд, мы бы убежали.

Глава восемнадцатая
Письма Ирины

Несколько диссидентских жен уже были арестованы за поддержку мужей. Ирина хорошо знала этих женщин. Более того, она ненавидела политику. И тем не менее она продолжала бороться за меня. Я тайно посылал ей из лагеря информацию и политические обращения, а она, пренебрегая личной безопасностью, тайно посылала их за границу. В своих письмах к Валентину Турчину и Людмиле Алексеевой, которые жили теперь в США, она, помимо того, передавала собственную информацию и свои собственные обращения — к журналистам, ученым, правозащитным организациям, западным правительствам. Через десять лет Валя передал мне большой архив переписки. Здесь я привожу небольшие выдержки из некоторых писем Ирины.

27 августа 1979

21 августа 1979 мне было предоставлено свидание с мужем… Вместо положенных трех суток… мне и (его) сыну Александру дали одни сутки. «Ваш муж не выполняет норму на станке».

Мой муж выглядел крайне истощенным и худым. Из-за работы в две чередующиеся смены… полностью нарушен сон.

Мой муж три раза объявлял голодовки…

…его дважды помещали в карцер. В карцере он не мог спать от холода… голые нары растирал руками, чтобы согреть их…

…ему запрещено вести научную переписку…

Он просит ученых добиваться освобождения Сергея Ковалева.

12 мая… обратился со следующими словами:

«К годовщине группы. Я верю, что наши жертвы не напрасны…»

Мой муж просил меня передать, что он выступает за подписание Договора ОСВ-2…

30 ноября 1979

Я хочу рассказать, как наши власти убивают моего мужа как ученого… Администрация запрещает… в письмах даже упоминать что-нибудь о его научных идеях… 22 октября… за попытку передать (на волю) научную статью поместили в ПКТ, где он будет находиться полгода…

Власти ненавидят моего мужа и одновременно боятся его… потому что не могут заставить его замолчать.

Я обращаюсь к ученому миру — вмешаться в судьбу моего

мужа, не дать ему погибнуть до окончания срока. Подавление интеллекта, постепенное физическое уничтожение — это и есть осуществляемый приговор Орлову.

15 мая 1980

Основатель Московской Хельсинкской группы… сегодня, 15 мая 1980 года… объявляет двухдневную голодовку. Он требует амнистии всем политическим заключенным. Прекращения репрессий против…

К Мадридской конференции (обращение Орлова):

«…Все мы, выступающие в защиту прав человека, заинтересованы в разрядке, но в таком ее варианте, когда общественный контроль над правительством признается важным фактором мира…

«Если государство объявляет свою модель общества реальным образцом для других, то оно не может трактовать международную критику этого образца, как вмешательство в свои внутренние дела».

5 сентября 1980

Заявление. Я, жена Юрия Орлова, еще и еще раз обращаюсь к вам, к ученым, к общественности, к участникам предстоящего совещания в Мадриде — не дайте погибнуть моему мужу в лагере. С октября 1979 по апрель 1980 Орлов был наказан лагерной тюрьмой ПКТ и лишен свиданий. Вскоре после выхода из ПКТ, летом… снова наказан лишением свиданий… ларька, продуктовой посылки, единственной (разрешенной законом) за три с половиной года…

…в августе Орлов опять наказан. Он заключен в ПКТ на шесть месяцев и… еще на один год лишен свиданий с родными…

Власти уже однажды заявили моему мужу: «Орлов, забудьте, что вы ученый, вы никогда не выйдете из лагеря!»

Я нахожусь в отчаянии.

17 января 1981

Прошу вас передать мое сообщение…

Ходят упорные слухи, что Юру лишили звания члена-корреспондента АН Арм. ССР… Узнать точно — нет никакой возможности. Академия мне не отвечает. Может быть, Комитет защиты (Орлова) запросит Академию? Попробуйте…

К Конференции в Мадриде:

В день возобновления Конференции, как и в день ее

открытия, Юрий Орлов объявляет голодовку. Он вновь обращается с призывом… принять решение об амнистии политических заключенных во всех странах, подписавших Соглашение в Хельсинки.

Юрий Орлов считает, что реальная разрядка и доверие между народами требуют большей открытости и взаимной информации во всех областях общественной жизни, в ее социальных, экономических и военных аспектах…

Орлов возобновляет выдвинутое им еще четыре года назад предложение начать подготовку к международной конференции по рассекречиванию информации…

Я вновь обращаюсь к Конференции с призывом спасти моего мужа от варварского обращения… во время отдыха ему запретили класть голову на руки. 15 октября Орлов имел по этому поводу резкий спор с офицером Салаховым.

25 октября мой муж заболел и лежал с высокой температурой. 30 октября за разговор с офицером… его вытащили больного и бросили в карцер…

26 апреля 1981

…Оказывается, карцер, в котором он находился 40 суток… отодвинул срок выхода в общую зону…

Письма примерно такого же содержания я послала SOS («Сахаров, Орлов, Щаранский»), на Мадрид, Американской группе Хельсинки, CERN, Международной Амнистии и г-ну Макдональду… Прошу Французский Комитет защиты (Орлова) составить и разослать бюллетень о положении Юры…

8 января 1983

Дорогом Валя, положение Юры ужасно. Есть реальная угроза нового срока. Юра лишен права переписки ВООБЩЕ и находится с конца октября либо начала ноября 1982 в ПКТ…

Пишу в Пермскую прокуратуру жалобу и прошу сообщить мне, почему нет писем от моего мужа… Далее запрашиваю где-то в начале января… Ответа просто нет…

…Я писала на Мадрид г-ну Кампельману о положении Юры. Могу сейчас добавить. В ПКТ заставили выполнять каторжную работу… Завысили норму выработки… Еще в зоне уголовник Тарасенко (Монгол), избивший уже двоих, грозился отрезать Орлову нос и уши… Жалобы заключенных не выходят за пределы учреждения… Осуществляется тотальная слежка. За выход информации жестоко наказывают…

…Если будет еще срок, Юра не выйдет отсюда. Ведь ему уже 58 лет… Режим идет по пути ужесточения. Я теряюсь, я не знаю,

что делать…

Глава девятнадцатая
Трудные дни

Потеря чувства юмора — самое опасное дело.

В марте 83-го, очумев от голода, холода и бессонницы штрафного изолятора, я рассчитал, что одной неосторожностью погубил своих друзей на воле и что надо убить себя, чтобы спасти их. Внутреннее равновесие было нарушено, и я сделал серьезную ошибку. Это были трудные дни.

Но надо начать раньше, с лета 82-го. Именно тогда, за два года до конца срока, гебисты решили, что пора стряпать на меня новое дело и что надо измотать меня морально любой ценой. Заткнуть рот обычным способом — тяжелым трудом и наказаниями — не получалось. И они превратили зону в сумасшедший дом.

Что было в лагере до того? Было тяжело, но привычно. Каждой осенью, когда гебисты возвращались из отпусков и с новым рвением брались за свои дела, они просто запирали меня под каким-нибудь предлогом в отдельную камеру. Набиралось месяцев до восьми одиночки каждый год, и я был готов к этому. Еще в первые лагерные дни Нилов предупредил меня, что так было запланировано.

— При мне спорили гебисты, где лучше держать Орлова, — рассказывал он деловым тоном. — И решили, что лучше в одиночке. Двое здешних, третий приезжал из Москвы.

К одиночке я, правда, не приговаривался, так что их решение было незаконным, на что Нилов, по его словам, намекнул им дерзко. Это интересное соображение жутко рассмешило чекистов.

— А почему в одиночке? — спросил я глуповато.

— Очень влияете на людей, — ответил Нилов. — В зоне за вами не уследить, наладите переписку с волей.

— КГБ преувеличивает, — сказал я, помолчав.

КГБ преувеличивал, но не мои, а свои возможности. Мне запретили писать в письмах о жизни в лагере, о науке, о политике. Я писал тайно, и эта тайная переписка у меня никогда не прерывалась. Гебисты не могли себе вообразить, что мне легче было делать это как раз в одиночке, где только я да охранник. Охранника — не охраняют, и если он сочувствует диссиденту…

Но даже и в зоне выходило не по расчетам КГБ. Хотя кое-кто из экс-полицаев работал теперь на чекистов, как раньше на нацистов, не за страх, а за совесть, вовсе не все они были каратели по призванию. Их пропустили через безумную

молотилку, вначале сталинисты, потом нацисты; они не всегда и не очень старались. О молодых же доносчиках и говорить нечего, их мучили комплексы, сомнения, страстно хотелось остаться хотя бы внешне чистыми. А некоторые, как вот Нилов, признавались своим товарищам-зекам и даже помогали им, играя на две стороны. Сеть КГБ была дырявой.

Итак, меня почти все время держали в одиночной камере. Когда в 1982 году я вышел из очередной одиночки в зону, кончался май, шестая весна моей неволи. Один старый зек говорил: пять лет — терпимо, а после пяти все обрыдлет, душа задымит. Душа-то не дымила. Жизненное пространство казалось огромным: сто шагов от колючих проволок до колючих проволок вместо двух шагов от стенки до стенки в моей камере; облака над головой вместо потолочных пятен; день и ночь вместо негасимой лампочки в сорок свечей. Свобода. Но не было радости освобождения, все как будто было давно знакомо и предсказуемо.

Скучновато.

«Это здесь опасно? — подумал я. — Это как раз иллюзия».

Впрочем, традиционный чай в честь отбывшего наказание прошел как всегда приятно. Было много новых, и среди них полуглухой, полуживой Марк Морозов. Он совсем не верил, что доживет до воли (и действительно умер в тюрьме в 1986 году). Из старых друзей, прибывших после закончившего срок Дасива, в зоне остались только Марзпет Арутюнян, Карпенок и Читава. Мы вчетвером сидели за одним столом в столовой и всю нашу еду, какая у кого была, делили поровну. Миша Карпенок был веселый остроумный станичный парень, который не пошел в армию, а перешел через турецкую границу но был выдан обратно: турки не поверили, что можно вот так, за здорово живешь, преодолеть параноидные, многорядные советские заграждения. «Был же праздник — День пограничника, — смеясь, рассказывал Миша. — Пограничники надрались. Сигнализация тоже не работала». Вахтанг Читава был журналист, критиковавший русификацию Грузии.

После чая Читава отвел меня в сторону, подальше от стукачей.

— Нилов просил срочно передать вам, — сказал он тихо, — что приезжал гебист из Москвы и уговаривал его действовать против вас. Он отказался и его перевели в другую зону.

— Непонятно, — сказал я, — Нилов ведь и так работал на них.

— Это что-то другое. Нилов был очень взволнован. Это какие-то другие действия. Такой у него был вид! Это что-то другое.

Что все это значило? Чего не досказал Нилов? От каких

действий он отказался?

Очень скоро мы узнали, что все это значило. Из каких-то уголовных недр вытащили и засунули к нам в зону двух забубённых молодцов — бандита и вора. Это было ново — уголовников в нашей зоне не держали. Конечно, КГБ придумал им политические легенды, но по малой грамотности они эти легенды путали. Бандит Тарасенко был вовсе неграмотен. Это был знаменитый Монгол[17] из той известной банды, которой нравилось заколачивать в гробы мирных толстяков, имевших большие и, так сказать, нетрудовые доходы, а затем, конечно, распиливать эти гробы двуручными пилами. Признается человек, где у него что лежит, — хорошо, тебе жизнь и нам жизнь, каждому своя. Не признается — пилим дальше, работа не пыльная. Простая техника, а работала безотказно. Но я слышал на этапах, что, попавшись, бандит многовато рассказал гражданину следователю, себя выручил, а компанию — под расстрел. Отсюда вытекало, что жить ему оставалось чуть-чуть, и на этом пункте они, видно, и столковались с КГБ. В политической зоне кто с ним станет сводить счеты? Тут его и спрятали чекисты. Работал он ассенизатором. Зона маленькая, люди чистые, хлопот немного. Чистка сортиров — проблема санитарная, и логично, что койку ему поставили не с нами в бараке, а отдельно, в санчасти, среди чистых склянок. Умывался бандит по большим праздникам.

В санчасть попадали временами и простые персоны.

Однажды там лежал Марзпет Арутюнян, все еще не поправившийся после зверского избиения офицерами в ростовской тюрьме (за то, что двое сокамерников, один из них его подельник, успешно бежали оттуда). Вошел дежурный офицер, подтянутый и строгий, спросил сердито Монгола:

— Почему не на проверке?

— А жду ж, когда мне приведут Орлова, — ответил бандит доверительно.

— Орлова? Зачем?

— А я ж его опидарастю!

Офицер захохотал, присел на койку, взглянул на Арутюняна, спросил бандита:

— Надеешься, значит?

— А то!

Это вначале меня не сильно встревожило. Но сценарий разворачивался. В зону привели новенького, тоже с политической легендой, на этот раз гомосексуалиста. Я с ним не стал общаться: из другой зоны пришла тайная записка, что он работает на КГБ. Но зачем им понадобился гомосексуалист?

В Советском Союзе гомосексуализм преследуется законом,

дается до пяти лет, причем это тот случай, когда народная мораль на стороне закона. Поэтому, если бы удалось изобразить неизвестного диссидента гомосексуалистом, то это было бы успехом КГБ. Лично я никогда не слышал о гомосексе в политзонах. В уголовных же это явление обычное, причем педерастом там считается официально и неофициально только «женская» сторона. Положение этих людей ужасно. Они официально отделены от прочих зэков, с ними эти прочие как с людьми не разговаривают, это самая низшая каста, рабы рабов. Попадают туда по-разному. Человек, скажем, проиграется в карты и не отдаст долга — его «опедерастят». Вернуться после этого в, так сказать, нормальное общество уже невозможно: уголовники беспощадны. Каким же было бы положение политического в уголовной зоне, если бы его туда засунули, объявив «педерастом»!

Когда в нашей зоне появился этот зек, начальство выделило ему в столовой отдельный стол, а на грубой алюминиевой миске нацарапали его инициалы. Эта меченая миска, «миска педераста», была его персональной посудой. У остальных заключенных была посуда общая. Я предпочитал не разговаривать с ним — из-за его связей с КГБ, но у КГБ шло свое расписание. Гомосексуалист сам заговаривал со мной, офицеры ставили нас на работы в пару, стукачи рассылали по зонам «ксивы»: «Орлов целуется с педерастом». Мы все хорошо знали, как трудно и рискованно посылать записки в другие зоны, а у них было просто: вызывал офицер заключенного в другой зоне и давал ему записочку от «друга» из нашей зоны.

Становилось все труднее. Монгол орал каждый день: «Педераст!» Чаще и чаще это повторяли полицаи и стукачи, как будто новые и новые голоса включались в собачий хор. (Давно, после войны, я слушал трофейную немецкую пластинку: собаки вылаивали американскую рождественскую песенку Jingle Bells, каждая свою ноту.) Я пока держался спокойно и даже сам верил, что спокоен. Что еще? Что дальше?

Дальше пошло воровство — небывалое дело в лагерях. Кальсоны и зубные щетки стали пропадать у бывших карателей, а обнаруживались у меня — то в тумбочке, то под подушкой. Чекисты перли напролом. Пара позорных уголовных статей у них уже была в кармане: десяток «свидетелей» покажут, что я «общался» с гомосексуалистом, и тот же десяток, что я воровал кальсоны. Профессора не воруют кальсон? Вы веселый человек, Юрий Федорович. У вас теории, а у нас — факты.

— Педераст! — кричала зондеркоманда. — Мутишь зону, правозащитник!

— Все они пидоры! — кричал Монгол. — Начальник! Выдай им меченые миски!

В уголовной зоне за это надобно убить. Иначе, говорит уголовная мораль, ты признал, что ты педераст. Так ты им и будешь! Но как защищаться политическому? Я бы убил его. («Все думают, что ты добр беспредельно, — говорила мне, смеясь, Ирина. — А я-то знаю».) Я бы убил от усталости. Но это был бы подарок для КГБ.

Однажды, придя из цеха в столовую, мы увидели, что стол гомосексуалиста поставлен рядом с нашим. КГБ решил выполнить эту часть программы: мы, четверо друзей-диссидентов, отделены от прочих вместе с настоящим гомосексуалистом! Омерзение и ненависть овладели нами. Вот так на моих глазах мирные люди начинали вдруг высчитывать, хватит ли столбов от Москвы до Владивостока перевешать всех коммунистов. Мерзость рождает мерзость. Столбов мы не считали, но все-таки что делать?

Наш стол в столовой был ближайшим к трибуне замполита. А теперь ближайшим к трибуне оказался стол гомосексуалиста.

— Гражданин майор, — сказал я замполиту. — Вы приняли правильное решение — поставить стол гомосексуалиста прямо под вашу трибуну. Вы отделены вместе с ним.

— Что?

Стол вернули на место. Инициатива на время перешла в наши руки. Когда поблизости не было надзирателей, мы смеялись и смеялись, хотя нам было не до смеха. Стукачи не знали, чем ответить. Для лагерного чекиста Гадеева любая внеплановая задача была умственно непосильна, так что на время мы сбили им эту программу.

Когда через год, ближе к концу срока, мне зачитывали официальное предупреждение КГБ, то цитировали «заявления заключенных». Оказалось, что «в целях возбуждения беспорядков» (на это есть своя тяжелая уголовная статья) «Орлов переставлял столы, организовывал хищения личных вещей и драки». Гомосексуализма и кальсон в их прямом предназначении не упоминалось.

Драки! «Драки», то есть избиения политических, как мы и ожидали, тоже стояли в планах чекистов. Избивать нас должны были уголовники, садиться в тюрьму за это должны были мы. Самым хилым из нас был Марк Морозов — кажется, дунь, и он упадет. С него они и начали. Монгол избил его в наше отсутствие, просто так, без предлога. Затем он обработал стулом марксиста Анатолия Чурганова. Ветеран войны Чурганов боролся с коррупцией в Краснодарском крае, его обвинили — конечно — в клевете и в 1982 году дали 5 лет строгого режима, не считая

ссылки. Затем секретарь крайкома в 1983 году был смещен за коррупцию, но это не изменило, разумеется, судьбы Анатолия Петровича. Он вначале отсидел свой срок, а уж потом был «реабилитирован» в 1989 году.

Когда начальников поблизости не было, я созвал заключенных.

— Слушай! — сказал я Монголу. — Мы напишем заявление. Тебя переведут обратно к уголовникам. Здесь тебе, видно, слишком безопасно.

— Ха! — ответил бандит уверенно. — Я, если хошь, убью кого хошь, и ничего мне не будет. У меня справка, я псих, понял?

Это был более чем логичный ответ. В реальной жизни работает не та логика, что в учебниках.

— Психов везде много, — темно заметил я.

Он понял так, что мы держим в голове что-то такое, о чем не объявляют, и на время утих. До этого чекист Гадеев инструктировал его только по субботам, когда приходил к полицаям за кроликами. Теперь они обсуждали общее дело каждый день.

Мы тоже собирались часто.

— Вам готовят новый срок, — говорил Читава. — Уголовную статью любой ценой. Второго политического процесса для вас не хотят, потому что обожглись на первом. Выход я вижу только один: поймать вора. Тогда мы переломим ситуацию.

И Читава поймал вора. Это был второй уголовник, державшийся тихо, как бы в стороне. Он перекладывал кальсоны из одной тумбочки в другую — в мою, когда был схвачен Читавой за руку.

— Поговорим, — сказал Читава тихо.

Миши Карпенка не было — он кончал свои семь лет, и его держали в изоляторе, чтобы мы не смогли передать с ним чего-нибудь на волю. (Это не помогло. Я передал ему, а он через Тарасова Ирине, работу по логике.)

Читава взял уголовника за плечи и затряс, глядя в глаза:

— Ты что? Ты зачем это делаешь, подонок! Кто тебя научил? Кто велел? КГБ? КГБ?

С уголовника упали очки. Грузинский интеллигент Читава нагнулся поднять их, и уголовник, схватив небольшой, но тяжелый керамический чайник, с размаху проломил ему череп…

Я был на улице, когда услышал истерический вопль полицая, выскочившего из барака:

— Наших бьют!

Тут же в барак помчался Монгол с огромной свежеобструганной дубиной (дубины запрещены, успел подумать

я).

— Ты что, чурка, стоишь! — кричал полицай солдату на вышке, татарину — Звони дежурному, убивают!

Я вбежал в барак. Бандит остервенело молотил упавшего на пол Морозова и заодно гомосексуалиста. Я подскочил, он перенес дубину на меня. С ним рядом стоял сержант, молча и внимательно наблюдавший за мной.

«Не поднимай рук!» — сказал я себе.

Донесся новый крик: «Бей правозащитников!» — и второй уголовник, вор, присоединился к сержанту и бандиту.

Тут я увидел Читаву.

Я отбежал. Вместе с Марзпетом мы перенесли Читаву в безопасное место и накрыли бушлатом. Уже входили офицеры.

— Морозова — в штрафной изолятор!

За что? Его подняли, но он откуда-то вынул бритву, полоснул себя и упал.

— Арутюняна — в штрафной изолятор!

За что? Но он не сопротивлялся.

В барак все входили и входили начальники.

Читаву перенесли в санчасть. Немедленно началось «расследование».

Собственно, они планировали просто оформить ложные показания по новому уголовному делу о «драке и беспорядках, учиненных группой заключенных, в составе Читавы, Арутюняна, Морозова и гомосексуалиста, организованной и руководимой заключенным Орловым». Все это и было написано — под диктовку — бывшими полицаями и двумя уголовниками в тот же день. Чтобы не создавать ненужной, так сказать, путаницы в показаниях, никого из «группы», кроме, конечно, их агента, гомосексуалиста, не вызывали.

Но чувствовали чекисты недоделку. Нужны были прямые доказательства моего «руководства» беспорядками. Где был Орлов, когда «руководил дракой»? Что делал? И тут вышла осечка. Старики латыши, сидящие за военное время, кто за что, на которых гебисты понадеялись, что они, мол, давно перевоспитались и понимают сами, где правда, а где ложь — «каждый советский человек это понимает» — врать отказались и показали: Орлов во время событий разговаривал с ними на улице и в драке не участвовал.

— На какие темы, о чем говорили с Орловым?

— Да о чем? Ни о чем. О грибах, — отвечали старики.

Кодерс, бывший антисоветский партизан, добавил:

— Вместе и в общежитие вошли. Потом ни с того ни с сего Орлова били дубиной.

— Кто бил Орлова? Какой дубиной?! Вы лично видели?

— Да что ж я. Я заключенный. Вы своего человека, сержанта спросите.

— До Орлова никто не дотрагивался. Вам показалось. Ведь вы в драке не участвовали? Или участвовали? А? Идите.

Пришлось гебистам исключить латышей из дела и дело осталось — пока — незавершенным.

Мне «показалось», что меня били, и я пошел к доктору.

— Вам опять что-то мерещится, Орло-о-в! — пропели дуэтом врачи — жена опера и жена чекиста. — Никаких полос на спине у вас нет, не преувеличивайте. Гриппозное состояние. Освобождение получите.

Кровавые полосы на моей спине видела вся зона.

К Читаве не пускали. Охранял его фактически бандит Монгол: его тоже положили в санчасть — нервы! Второй уголовник, вор, разгуливал по зоне. Я объявил голодовку.

«Уберите бандитов, — писал я в заявлении, — накажите провокаторов».

Врачи, конечно, тут же отменили мое освобождение от работ, и меня заперли в штрафной изолятор «за призывы к голодовке и оскорбления заключенных». Так, к концу лета 1982 я снова оказался в одиночке: сначала две недели в ШИЗО, затем, не меняя камеры, в режиме ПКТ. В изоляторе было все как обычно. Метр десять на три метра. Воробьиный рацион. Негасимая лампочка в сорок свечей. Ветер в щелях. Ледяные ночи. Но — прервана погоня. Нет стукачей, бандитов, полицаев. Только я да охранник да глазок между нами. Можно наконец передохнуть.

Тяжело в лагере физически, но тяжелее психологически, потому что КГБ ни на минуту не оставляет тебя в покое. Если ты не меняешь взглядов, что прямо отмечается в характеристике, то КГБ будет пытаться сломать тебя как личность. За исключением немногих, ты не можешь доверять людям. Нужно быть готовым к провокации в любой момент. В этом смысле одиночка легче зоны.

Читава пролежал в тюрьме-больнице месяц, оттуда его переложили в штрафной изолятор за ту «драку». Затем его перевели в другую зону.

То запирали, то выпускали из изолятора Марзпета.

Морозова увезли в Чистопольскую тюрьму. Мы так и не узнали, как он смог достать бритву.

Уголовников и гомосексуалиста, видно, решили использовать в других зонах и перевели туда.

Планы для нашей зоны, так или иначе, Читава чекистам нарушил, нужны были новые. Меня пока морили в одиночке. Но я жил и даже занимался наукой.

Однако что это значит — заниматься наукой в лагере? Думать — хорошо, думать — наслаждение, даже если тебе хочется лечь на пол от усталости после работы в рабочей камере, что запрещено. Но если ты решил записать свои идеи и передать их на волю, потому что неизвестно, доживешь ли ты до этой самой воли, то ты проклянешь себя! Ты пишешь украдкой на папиросной бумаге микроскопическим почерком: «Волновая функция F равняется…» — и ждешь каждую секунду: сейчас засекут, накажут, работа пропадет. Потом твой друг в прямом смысле глотает твои мысли, скатанные в шарик, завернутый в пленку. Он надеется на личное свидание с женой. На свидании его жена отмоет этот шарик и тоже проглотит, и увезет на волю. Друг ждет свидания, его дают всегда неожиданно… Он глотает, моет, глотает, моет, глотает и перепроглатывает твою работу множество раз. И — ему не дают свидания, как не давали и тебе пять лет. Ты начинаешь все сначала. Уже почти все приготовлено. Где пленка? Но к тебе неожиданно подходят и ты стремительно уничтожаешь все. И начинаешь опять все сначала. Передаешь работу в, увы, ненадежные руки: может быть, все-таки, повезет. Ненадежные руки отправляют написанное в КГБ, тебя отправляют в штрафной изолятор. В штрафном изоляторе ты возвращаешься к своим мыслям… Оказывается, ты поспешил. А поспешил потому, что понадеялся на оказию. Волновая функция F не равняется тому, что ты написал!

К новому 1983 году они начали новую погоню. В рабочей камере мы и так работали на самой тяжелой работе, в три смены. Вдруг норму выработки увеличили ровно в два раза, чтобы уже наверняка было невозможно выполнить. Почему в два, а не в 1,8? или, скажем, в 2,3 раза? Эту задачу я предлагаю в виде упражнения читателю. «Систематическое большое невыполнение нормы, — разъяснял замполит, — есть злостное нарушение режима». Волноваться было бесполезно, и я не волновался, так по крайней мере мне казалось. Но это как раз нарушало их планы.

И вот из рабочей камеры вынесли все, на что можно было бы присесть. «Орлов, вы не на курорте. Вы обязаны работать стоя все восемь часов шесть дней в неделю. Сядете на пол? Вы же знаете, это нарушение». Я подумал. Какой смысл ходить на работы? Наказание — в любом случае. И я объявил забастовку. Священник Глеб Якунин, которого выводили в другую смену, тоже объявил забастовку. Политические бастовали в зонах уже несколько недель, требуя прекратить террор, совершаемый руками уголовников. Штрафные изоляторы были переполнены, но ребята держались. Мы с отцом Глебом были рады присоединиться к ним.

Итак, я был снова в режиме штрафного изолятора, вначале на

две недели, потом снова, и еще, потому что отказывался от работы. Недели тянулись за неделями. Начиналась весна. До конца семилетнего срока оставалось меньше года. Как-нибудь дотяну! Но меня уже захватила опасная привычка обдумывать в деталях свои побеги. Из будущей ссылки. Из лагеря, если добавят срок. Даже из штрафного изолятора. Эти сладкие, наркотические мечты скрашивали голодные, бессонные, с безостановочной головной болью, сутки. Я переоценил свои силы. Наконец, я сорвался.

Раз, когда я проветривал камеру, в маленькую фортку влетела синица. Я замер от счастья. Скоро мы подружились. Она прилетала погреться, поболтать, посидеть на плече, попрыгать там. Это не могло долго продолжаться. Она вылетела в коридор к надзирателям.

— Выгони, не положено, — сказал старший прапорщик охраннику, и птицу погнали.

Обезумев от страха, она полетела в окно и разбилась о стекло. Как раз в это время меня вводили к камеру. Она билась на полу, распластав крылья, лежа на спине, я поднял ее. Охранники молчали, им было неловко. В камере я снял с себя нижнюю рубаху, уложил на нее синицу. Крови не было. К вечеру она вспорхнула, села на плечо, пискнула привет, но крошек не взяла, только попила из кружки. На следующий день даже не пила. На улицу не вылетала. Я взял ее в руки — она испуганно заверещала по-сорочьи — и выбросил на улицу, на воздух, но она тут же вернулась и села, обидевшись, от меня подальше. Ночью забилась в угол под рубашку, где никто ее не видел и она никого не видела, и можно было умереть спокойно наедине с собой. Я заплакал в первый раз за эти годы. Слезы лились неудержимо.

В изоляторе каждый день давали только фунт хлеба, а остальная кормежка была через день — три раза ложек по тридцать водянистого крупяного супа, один раз ложек восемь каши и кусочек селедки с мизинец вечером. Ни мяса, ни жиров, ни сахара, ни чая. Я начал оставлять в день кормежки свой вечерний пустой суп на завтрашнее совсем пустое утро. Но вернувшись вечером в камеру с опорожненной парашей, через день или два после смерти синицы, я не увидел кружки с драгоценным супом.

— Вы обязаны принимать пищу в положенное время. Во-вторых, пищу нельзя держать долго. Врач сказала, три часа, не больше, — проговорил надзиратель.

Они заботились о моем здоровье.

— Фашисты, — сказал я, как мне показалось, спокойно. — Фашисты, верните чужой суп.

— Как скоро, так сейчас, — ответил сержант, тот самый, что стоял тогда рядом с Монголом, избивавшим меня. — А за фашистов ответите.

Он закрыл камеру, отпустил нары и ушел.

Я кричал. Колотил кулаками и парашей в железную дверь. Разбил лампочку в сорок свечей. Снова кричал… Наконец, упал на нары. Была непривычная приятная темнота. Ни одного звука не раздавалось в бараке: молодежь добилась каких-то уступок, и изоляторы временно пустовали. Тоска, наконец, вцепилась в меня. Как мог я так сорваться? Они добились, чего хотели, и я сам помог им! Меня мучил стыд.

Через пять дней вызвали на допрос по новому — уголовному — делу. «Вы обвиняетесь по статьям…» — скучным тоном зачитывал следователь. «Сопротивление с применением силы… Нанесением тяжких оскорблений администрации… Повреждение электросети… Вопрос первый…» Было бесполезно доказывать, что не было «сопротивления», что разбить лампочку не значит «повредить сеть». Свидетелями были охранники. «В течение лета 1982 года, — говорили их рапорты, — Орлов организовал три хищения… три драки… неоднократно… несмотря на многократные предупреждения…»

Прошло еще три недели.

— Орлов, распишитесь!

Открылась «кормушка» и в камеру заглянула цензор, она же заместитель начальника оперчасти. Когда-то я им писал, что прошу послать в академию написанную в лагере и отобранную охраной научную статью. Пришел ответ, под которым я и должен был расписаться: переслана в КГБ и рассматривается. Я, собственно, другого не ожидал. Мои друзья на воле уже имели эту самую работу, я хотел лишь проверить официальную реакцию.

В заявлении я упомянул, что остановить мои мысли невозможно, что две другие лагерные статьи уже опубликованы в западных научных журналах…

— Для кого пишете статьи, Орлов? — милым голосом спросила цензор.

— Для ЦРУ, — ответил сопровождающий ее офицер, и они рассмеялись.

Ночью я лежал на голых нарах своего штрафного изолятора и думал. Что ты сделал? Своей рукой сообщил им фактически, что твои научные статьи переправляются на Запад. Советские «эксперты» объявят твою работу секретной. Она будет перехвачена по пути в западный журнал. Никто из ученых никогда не увидит ее и на докажет, что оценка «экспертов» чудовищно нелепа. Найдутся и на Западе журналисты, которые

напишут: «Не исключено, что Орлов действительно…» Всем вовлеченным предъявят статью о государственной измене. Теперешнее уголовное дело, которое тебе лепят, — это пока твое дело. Но это только начало. Передача научной статьи на Запад будет делом против многих людей. Ты пожертвовал ими ради себя!

Позже, анализируя детали, я понял, что КГБ этого не планировал. Им пришлось бы признать, что я ученый, тогда как за шесть лет до того они объявили, что Орлов давно уже не ученый. Но я вычислил это позже. В тот же момент и решил, что у меня только один выход. Дело надо остановить. Им нужен я. Не будет меня, не будет и дела. Завтра баня. После бани дают ножницы постричь ногти. Другого способа нет. Всю ночь, лежа на нарах, я тренировал удар в грудь, в сердце. Если ошибусь, не убью себя, то погублю других. Ошибаться нельзя.

Утром оказалось, что ножницы у них в дежурке потерялись.

Вот так и получилось. Я написал заявление: прекратите судебное преследование, и я выйду на работу и буду избегать нарушений режима до конца срока, если — если, добавил я, не будет провокаций и нарушений со стороны самой администрации.

Советским диссидентам нельзя писать таких заявлений. Даже то слабое обещание, которое я дал, было ошибкой. Не потому, что компромиссы недопустимы, совсем нет, а потому, что КГБ постарается немедленно использовать заявление для разложения правозащитного движения. Это сразу и обнаружилось. Уже через три дня прилетел чекист из Москвы.

— Нам ничего не дает ваше заявление, — сказал он. — Вы и без него обязаны соблюдать режим. Пишите открытое письмо Елене Боннэр в Москву и вашим друзьям на Запад, чтобы они не упоминали больше ваше имя.

— Нет, — ответил я.

Уже столько лет я не видел их в упор и вот теперь слушал такое! Я должен был предвидеть это.

— Но вы понимаете? — сказал москвич.

— Понимаю.

— Примем меры!

— Примем и мы.

— Да нет! Нет-нет, — воскликнул начальник местного управления КГБ. — Мы по-другому…

Дело закрыли, и я знал, что к этому делу они уже не вернутся — чиновники этого не любят, если надо, сварганят новое. Но почему они его закрыли?

Это скоро выяснилось. За неделю до моего выхода в зону,

когда я еще сидел в изоляторе, заключенных выстроили и торжественно зачитали подделку: якобы я «отказываюсь от дальнейшей политической деятельности»! Даже Орлов, говорили они, отказался от безнадежного дела. Следуйте его примеру…

Никто им не поверил, хотя они и закрыли мое новое дело. Когда я вышел в зону в начале июля 83 года, меня обняли друзья-диссиденты Марзпет Арутюнян, Олесь Шевченко и другие. Я объяснил им что случилось и как.

10 июля, немного оправившись, я объявил голодовку. В заявлении о голодовке я требовал, как это мы часто делали, всеобщей политической амнистии. Еще из одиночки через Глеба Якунина я предупреждал другие зоны о будущей голодовке.

Кормили принудительно на двенадцатый и на шестнадцатый день голодовки. Начался понос, распухла прямая кишка, но я был снова душевно чист. Ощущение внутренней свободы уже не покидало меня.

На восемнадцатый день меня этапировали в больницу.

Глава двадцатая
Этап

В больнице — в изоляции от зоны — голодовка ничего не давала. Я решил ее прекратить, восстановить силы и подумать.

Очевидно, я старался делать слишком много для своих 59 лет. Физически тяжкий режим, постоянная борьба с КГБ, тайное составление, переписка и переправка научных бумаг, политических обращений день за днем, месяц за месяцем, год за годом — это оказалось выше моих сил. Я понял теперь, как человек может иногда покончить с собой не от несчастной любви, не от горя, а просто дойдя до пределов усталости.

Через две недели меня вернули в лагерь, а там в сентябре, как обычно, посадили сначала в штрафной изолятор, затем в ПКТ. По-видимому, собирались использовать против меня новую статью 188–3, введенную Андроповым, — об уголовной ответственности за нарушение режима во внутрилагерной тюрьме. «Нарушением» считалась теперь даже голодовка. Новый закон позволял накручивать добавочные сроки бесконечно, как при Сталине, потому что и истцом, и свидетелем согласно закону была администрация.

В ноябре гебист Гадеев вызвал меня в дежурку ПКТ. Он сидел за столом, я стоял перед ним, надзиратель — позади.

— Вы нас обвели вокруг пальца, — сказал Гадеев. — Мы прекратили дело, а вы снова взялись за свое. Мужчины так не поступают.

— Поезд ушел.

— Поезд ушел, но мы его догоним!

— У вас все? — спросил я.

Гадеев замер гадючкой, затрудняясь с ответом. Я равнодушно глядел в окно. За окном виднелся прогулочный дворик — колючая клетка для людей. У той стороны клетки старики долбили кирками и лопатами яму для нового дощатого сортира. Это надо было делать раньше — старый сортир давно переполнен. Прошлой зимой горы мороженого дерьма, смешанного с остатками жратвы охранников, возвышались высоко над дырой. Без сомненья, это будет окружать меня всю оставшуюся жизнь. Что ж, можно и так.

— Уведите.

Дежурный прапорщик вернул меня в камеру. Прогрохотали засовы.

10 декабря, в Международный день прав человека, политические заключенные всегда объявляли голодовку, требуя одного: всеобщей политической амнистии. Но на этот раз Олесь Шевченко, украинский демократ-националист, Марзпет Арутюнян и другие предложили голодовки не делать. Нарушив искусственно режим, Олесь попал в ШИЗО, чтобы передать нам об этом.

— Юрий Федорович! — крикнул он, когда охранник вышел помочиться. (Они мочились в снег нашего прогулочного дворика.) — Пожалуйста, не голодайте, мы не будем. Иначе вам запишут, что вы руководили голодовкой, и накрутят новый срок перед освобождением. Сейчас у вас опасные дни. Отец Глеб, слышали?

Мы успели буркнуть «Да», скрипнула дверь, мы замолчали.

Это была жертва ради меня: не голодать 10 декабря неприлично.

11 декабря Гадеев вызвал Якунина.

— Кто организовал НЕГОЛОДОВКУ десятого декабря?

Только законченный идиот с кроликом в портфеле мог додуматься до такого вопроса.

— Никто, — изумился Якунин. — В правилах внутреннего распорядка голодовка 10 декабря не предусмотрена.

Мой канал связи со свободным миром работал только в одном направлении — наружу. Я не знал о мужественных обращениях Ирины, посылаемых из Москвы к западной общественности, об огромных усилиях Валентина Турчина и Людмилы Алексеевой.

Представления не имел о том, с каким упорством сотни людей на Западе защищали меня, особенно ученые. Я примирился с мыслью, что там обо мне и обо всех нас забыли. Забыли — и забыли.

Но, может быть, потому, что это было не так, и потому еще, что в Кремле забрезжила смена власти, и потому, кроме того, что чекистам было ясно, что я закаменел, и славного нового дела у них сейчас не получится, — они выпустили меня по окончании срока из лагеря и отправили в Сибирь.

Поздно вечером 6 февраля 1984 года меня вывели из рабочей камеры ПКТ. Два часа обыскивали, общупывали, обстукивали, осматривали и наконец закончили.

Я крикнул:

— Прощайте! — Глебу, который, как всегда, сидел в ПКТ, и Марзпету, который, как обычно, попал в ШИЗО.

— До встречи! — прокричали они в ответ.

— Напишу на вас рапорт! — прорычал дежурный.

Меня вывели из зоны с чемоданом на внешний склад, где хранились книги в другом чемодане, выдали его, выдали новую лагерную форму, потому что в старую я мог бы вшить информацию о лагере, какие-нибудь обращения или еще что-нибудь страшное, а о том, что все это можно уместить в голове, им вообразить было трудно. Посадили в «воронок» и привезли куда-то. Дальше пошли пешком: офицер с пистолетом, два солдата с автоматами, хрипящая на поводке овчарка и я с двумя чемоданами, полными книг. Все эти годы мой сын Саша присылал мне полезную научную литературу. Кое-что попало мне в руки в первое время, до исключения из академии, и держалось на внутреннем складе, но после исключения осело на складе внешнем, потому что мы не имели права получать книги от родственников и друзей. В жилой зоне было разрешено держать при себе только пять книг, и офицеры по политико-воспитательной работе бросались на лишние книги, как на вражеские доты. Было запрещено, конечно, отсылать книги из лагеря обратно кому бы то ни было.

Я волочил свои чемоданы, задыхаясь. Охрана шла ходко. Мы, видимо, опаздывали на поезд.

— Возьми чемодан, — сказал офицер солдату.

Я поблагодарил.

Едва видимый сквозь сплошной косой снег пришел ночной поезд. Начальник конвоя столыпинского вагона принял пакет с моим делом и запер меня в узкой одиночной камере. Поезд тронулся — прочь с этого места. Наконец. Куда? Начальник конвоя, пожилой капитан, показался человеком не злым и я спросил его.

— Сейчас на Свердловск. Дальше на Красноярск. А там спросите, — ответил он и отошел от решетки.

У камер столыпинского вагона вместо стенок, обращенных к коридору, решетки, окон нет. В коридоре, где ходит солдат, окна без решеток, но замазаны белой краской. В общей камере «Столыпина» внизу расположены две скамейки, а выше — опускаемые нары, образующие сплошной второй этаж, на который забираются снизу сквозь узкое отверстие. Еще выше нар, в полуметре от потолка, есть еще две узеньких полки.

Какой начальник — такой конвой. В первый и последний раз в моей жизни мне попался конвой спокойный, не жалевший ни воды, ни труда вывести заключенного в уборную. Это была какая-то аномалия. «Нормалия» началась в Свердловске.

В камере пересыльно-следственной тюрьмы, куда меня

сунули на неделю, хотя формально я уже должен был быть в ссылке, на окнах был обычный двойной ряд решеток, но стекол не было — на улице стоял сибирский февраль. О стеклах в камерах надо было забыть до конца этого четырехнедельного многотысячекилометрового пути. Деревянные щиты, наглухо закрывавшие свет и пропускавшие воздух и холод, защищали камеры лишь от прямого ветра. Стекла регулярно били сами заключенные, уголовники: им надо перекрикиваться и передавать из окон в окна «ксивы», окно — главный канал тюремной коммуникации. Другой важный канал — канализационная система: унитаз можно использовать как мегафон. И, наконец, стены. Это не только переговоры с помощью кружек. Сидя в какой-нибудь маленькой, метр на 2/3 метра, вонючей от мочи ожидальне, куда вас могут запереть на два, три, а то и четыре часа, вы можете набрать для «Международной амнистии» материала на целый год работы, о чем она, правда, может быть, никогда не узнает. Надписи, надписи, надписи: «Вышак. Ваня Петров (дата)», «Вышак. Петр Иванов (дата)», «Вышак…». Более рядовая информация: «Десятка Сорокину (Дата)», «Здесь был Щука из 22-го», «Передайте — Холопов педераст по имени Маша». Бороться с информацией охрана, к общему удовлетворению, не в силах: многие десятки тысяч пропускает через себя каждая крупная пересылка, она же следственная тюрьма.

Даже ангелы озверели бы от таких потоков заключенных, а охранники — не ангелы. Они бьются о жизнь, как рыба об лед, в тех же неблагоустроенных городах и поселках, что и другие советские люди, и успевают усвоить с пеленок, что все в мире обман, все, кроме только того, что двести рублей лучше, чем двадцать.

— Дежурный!

Уже целый час колочу в дверь камеры без воды и туалета, куда меня сунули часов пять назад, в три часа ночи. Наконец, женский голос с той стороны двери:

— Чего стучишь? В карцер захотел?

— В туалет! Отлить!

Женщина уходит. Колочу и кричу снова. Через час тот же голос:

— Чего?

— Отлить!

— Отливай в сапог.

Уходит. Только идиоты вроде меня могут страдать на таком просторе: четыре угла, какая тебе еще уборная? В одном из углов — окровавленные тряпки, сюда заводили женщин. Еще через

полтора часа послышались знакомые звуки раздачи пищи, и в дверь протягивают завтрак — кусок хлеба и недурную перловую кашу в измятой оловянной миске. Ложка с толстенной гладкой ручкой длиной всего с полпальца, чтобы заключенный не засунул ее себе или кому иному в глотку.

Наконец, выводят в туалет, а оттуда в большой зал, полный заключенных и солдат: обыск перед этапом. Собственно, солдаты ищут, не найдется ли чего полезного самим. Офицер, держа в руках мое дело, издали показывает на меня пальцем, и ко мне подходит сержант.

— Антисоветчик, блядь? Смотри какие чемоданы! Награды за шпионаж? Открывай!

Не дожидаясь, рвет крышку изо всей силы, и книги, бумаги — все, что еще не было отобрано, всякая мелочь, сыплется на пол.

— Книги! Ты что, блядь, не знаешь? Пять книг — не больше!

— Это в лагере. А здесь этап. Я еду на ссылку.

— Ты не знаешь, куда ты едешь. Пять книг!

Подозвав капитана, я объясняю закон. Он молча отходит.

— Ну, сука, погоди, — цедит сержант, кладет себе в карман мое бритвенное зеркало, забирает в охапку драгоценные личные письма, много раз благополучно прошедшие лагерную цензуру, и заодно сверток с дефицитными порошками для пластмассовых зубных коронок. Ирина послала их мне в лагерь в безуспешной попытке спасти мои зубы. Они хранились на внешнем складе, и я взял их теперь на ссылку.

— Выходи! Живей!

Спешно забросав обратно в чемоданы все подряд, получаю свою буханку хлеба, кулечек сахара и кучку килек на газету. Зная этапы, я запасся своими газетами.

Нами забивают «воронки»: мужчин в одни отсеки, женщин в другие. Две женщины в нашем «воронке» не помещаются в малом боксике 50 на 50 на 150 сантиметров, солдаты заталкивают их одна на другую и с «раз-два-ух-нем» закрывают дверь. Мужчины в большом боксе полтора на два метра. Кому-то повезло попасть на боковые скамейки, другие перманентно падают на них, держась за стенки, центр упакован, как нейтроны в белом карлике, так что там падать некуда. Запирают. Между нами и кабиной шофера автоматчики с овчаркой. Кто-то из уголовников просит у них окурок, ему дают.

«Воронок» мчится на товарную станцию. Обычные пассажиры не увидят нас там, двери пассажирских вагонов будут закрыты, когда нами будут загружать столыпинские вагоны.

— Выходи! Садись!

Большой колонной, по четыре в ряд, садимся на корточки,

руки на затылок. Вокруг автоматчики. Возбужденно лают овчарки.

— Пошли! Не отставай! Бегом! Не отставай, еб твою мать!

Солдат вмазывает мне по шее, я падаю, встаю, лают овчарки.

Свистя грудью, я пытаюсь не отстать со своими чемоданами. Колонна бежит по железнодорожным путям, видимо, опять опаздываем на поезд.

— Садись!

Хватая воздух, сижу на корточках. Ах, это была ошибка — брать книги! Но как же без книг?

Камеры «Столыпина» набивают таким же манером, как воронки. Конвой — нормальный: уже за полночь, а не было ни воды, ни уборной. Мочевые пузыри у всех зэков простужены, из камер кричат, просятся в сортир.

— А мне это по х…ю! — отвечает солдат.

— Качай! — решают, наконец, зэки и начинают сообща синхронно раскачивать вагон из стороны в сторону.

Кажется, вагон сейчас к черту завалится, катастрофа, но начальник конвоя выходит из своей секции, конвой начинает разносить воду, а потом по очереди выводит нас в туалет.

Я заболел. Льется из носа, мучает кашель, похоже, высокая температура. Товарищи по камере сжалились и дали место на самой верхней лежачей полке; остальные по очереди то сидят, то стоят. В камеру размером с обычное купе набито двадцать пять человек.

Красноярск.

Снова недельная остановка в огромной пересыльно-следственной тюрьме. Как обычно, «Быстрее, бляди!» — от «Столыпина» до «воронка», потом душегубка в «воронке», потом бесконечные проверки, шмоны, потом баня. Через баню пропускают на каждой пересылке, это гуманное правило. Вообще говоря, действительно не вредное правило, зэки бань не избегают, по возможности держат себя в чистоте. Зная гуманное правило, я по выходе из зоны запасся кучей газет, чтобы не класть свои шмотки на банную слизь. Баня — это, собственно, души, несколько струй в помещении с цементным полом. На этот раз в предбаннике под наблюдением надзирателя ударным темпом стригут наголо всех зэков подряд одной и той же ручной машинкой, подвертывая под воротники одну и ту же серую от грязи, всю в волосах, простыню.

— Мне не положено, — сказал я. — Меня везут на ссылку.

— Ничего не знаю. Дежурный сказал — всех.

— Да у меня же кончился срок, кончился!

— Раз в тюрьме, значит, не кончился.

Логично.

Наконец после всех процедур заводят в большую общую камеру Ничем не застеленные железные двухэтажные койки, по двадцать шесть мест на каждом этаже, занимают почти все ее пространство. Вместо пружин — железные полосы, на них сидит и лежит около 120 человек. Ну, это еще по-божески. В углу — открытая уборная со сливом, цементный пол там отнюдь не грязен. У стены за большим столом заключенные играют в самодельные карты. Молодежи почти нет. Рецидивисты, отметил я про себя, у них всегда больше порядка.

На одной койке лежит молодой парень, не больше двадцати пяти, с разбитым лицом и переломанными, говорят, ребрами. Его только что отмолотили надзиратели за прекословие: вытащили в коридор, навалились кучей, а потом забросили обратно в камеру. Знай наших! Весь в крови, товарищи оказывают ему помощь. В крови также и все стены до самого потолка — от давленных клопов. Как обычно, когда заводят нового, меня встречают вопросами: какая статья, за что, сколько и где сидел. Статья оказалась уважаемая, срок хороший, большой, так что меня в компанию приняли и даже, увидав, что я болен, постелили телогрейку и дали место лечь. К «антисоветской пропаганде» заключенные относятся хорошо.

Еще одна неделя. Законный срок моего заключения кончился 10 февраля 1984 года, в тот день должна была начаться ссылка, а меня все еще таскают по тюрьмам. Теперь волокут в Иркутск, я лежу в «Столыпине» на втором этаже. Как обычно, уже много-много часов не было воды. У меня жар, в горле пересохло. Другие, наевшись селедки, а на этап всегда дают селедку, терпеть больше не могут и поднимают шум.

— Кто кричал? — подходит сержант.

— А что ж, без воды подыхать будем? — возражает молодой парень.

— Ну, ты подохнешь у меня сейчас, — твердо выговаривает голубоглазый сержант.

Подозвав солдата, открывает дверь и выводит парня, солдат конвоирует его в конвойную секцию. Я его больше не видел, что с ним сделали, не знаю.

— Так, — говорит сержант. — Кто еще кричал? Никто? Значит все. Будем так. Скажу: вверх! — все наверх, один за другим через дыру. Скажу: вниз! — все обратно. Кто задержится, подгоню молотком. Ясно? Наверх!

В руках у него здоровый деревянный молоток, которым они

простукивают нары. Дверь в камеру полуоткрыта, он бьет по спине пока зэк лезет в дыру. Вскарабкавшись, мы кубарем откатываемся к стенке, чтобы не мешать другому, которого теперь молотят молотком.

— Вниз!

— Вверх!

— Вниз!

— Вверх!

Мне надо на время забыть, выкинуть из головы, что болен. Надо двигаться. Мы в его руках. Я заглядываю ему в глаза: там нет ничего, кроме голубой пустоты. Меня он, однако, не бьет.

Он прогоняет нас туда и обратно девятнадцать раз.

— Вот так. А теперь получите воду.

В Иркутске принимавший нашу партию капитан весело предупреждает:

— Имейте в виду, вы в Иркутской пересыльной тюрьме, хуже которой не бывает. Ясно?

— У нас пока нет для вас места, — вежливо сообщает мне лейтенант по окончании обычных процедур. — Мы вас временно поместим в карцер. Хорошо? До утра только. Постель? Темная ночь, какая постель. Я сам без постели. (Он смеется.) Да ведь у вас телогрейка. А завтра все будет».

Он приводит меня в глубокий подвал, в карцерное помещение. Пол цементный, нары обиты жестью, стекол в окне, конечно, нет. Но и то счастье, что есть туалет со сливом.

— Холодно? — спрашивает лейтенант с интересом. — А мне не показалось. У меня дома холодней. (Он опять смеется.) Ну, доброй ночи. Завтра утром переведем в другое место.

Конечно, они не переводят никуда ни завтра утром, ни послезавтра вечером, и всю неделю, что меня там держат, приходится бороться за обычное тюремное ежедневное питание вместо карцерного через день, стучать в дверь по полтора часа, пока не подойдет надзиратель. Вначале он обычно угрожает избить за беспокойство, потом. После десятиминутного изумления при виде вещей, не разрешенных в карцере, — чемоданы, телогрейка, сапоги, шапка — идет куда-то звонить, потом, наконец, мне приносят чего-нибудь поесть…

В конце иркутском недели на меня накинули наручники, спарили с каким-то заключенным и вместе с шестью другими парами посадили на обычный гражданский самолет, летевший в Якутск. Нормальные пассажиры старались не смотреть на наши наручники. С жадным любопытством разглядывал я «обычных» людей, которых не видел семь лет. Стюардесса вежливо подала

минеральной воды, закуски на рейсе не было.

В Якутской тюрьме, после шмонов, ожиданий и всего прочего меня, наконец, осмотрела врач, потому что это был почти уже конечный пункт моего этапа. Обнаружив воспаление легких, она поместила меня в туберкулезное отделение тюремной санчасти. В «палате» на четверых, в которой я лежал, стекол в окне тоже не имелось, но зато соседи залепили все окно газетами, употребив клей собственного изготовления из черного хлеба. Все были подследственные. Спортивный тренер из «алмазной столицы» — Мирного, член разветвленной по стране организации по хищению и сбыту алмазов, имел две возможности: выдать кое-кого из остальных и быть в будущем убитым товарищами или не выдать никого и быть расстрелянным по суду. Он выбрал, если я правильно понял, первую возможность. Другой человек был журналист, которому, как он утверждал, подстроили уголовное дело за критику начальства. А третий — эвен, бригадир-оленевод, убил своего очередного якута в ходе местной вендетты.

Врач сделала что могла, продержав меня в санчасти несколько дней, и я немного поправился.

— Вас направляют в Кобяйский район, — заметила она между прочим. — Хороший район, там с продуктами лучше, чем в Якутске.

Я, правда, не знал, как с продуктами в Якутске.

6 марта на меня снова надели наручники, посадили в самолет и через час полета на север высадили в каком-то поселке.

— Ну, все, — сказал милиционер. — Ты на месте. Сангар — Кобяйский районный центр. Можно доплюнуть до Полярного круга.

— Еще не на месте, — уточнил человек в гражданском.

— Ему в Кобяй.

Человек в гражданском повел меня сначала в районную милицию, затем в местную строительную контору и оставил там совершенно одного. Я прошелся по конторе. Меня никто не охранял!

Глава двадцать первая
Ссылка

Мне выдали денежный аванс, спецодежду и пять шерстяных одеял. Взобравшись на крытый брезентом грузовик, я закутался в одеяла, сел на лавку и привалился к борту.

Было четыре вечера. Темно. Не очень холодно — тридцать градусов.

— Еще полмесяца назад, — сказал шофер, — стояло минус пятьдесят пять, нос высунешь — отвалится.

— Твой же на месте, — возразил я.

— Мой! Так я заливаю по литру антифриза каждый день.

Главный инженер уселся в кабину, и мы отправились в якутское село Кобяй — место моей ссылки.

Езды было всего сто километров, первые двадцать — через Лену и ее протоки. Машина то с безумным воем прошибала снежные завалы, то сползала боком в какую-то пустоту, то ухала носом в бездну, то соскальзывала задом в снежную западню — колеса бешено крутились в поисках точек опоры, разметая снег и лед и увязая все глубже и глубже. Наконец, шофер выходил из кабины, рубил молодые лиственницы и бросал их под колеса. В четыре утра мы прибыли на место.

— Хорошо управились, — заметил шофер и подмигнул мне левым глазом. Этот глаз у него, правда, подмигивал постоянно.

Инженер привел меня в передвижной балок — маленький домик-прицеп. Спальня налево — трое нар, по четыре человека на каждой, буржуйка в проходе. Кухня направо — стол, скамейки, посуда, печка, сделанная из бочки. Жилище строителей Сангарской передвижной механизированной колонны, ПМК. Они сооружали детский сад на другой стороне улицы. Моя работа была охранять материалы от воровства, а пуще того — недостроенный дом от пьяного поджога якутскими подростками.

— Вот вам, ребята, сторож, — сказал инженер протиравшим глаза рабочим.

— Нам бы чего горячего.

Тут же появился чай, выставили гречневую кашу с мясом из консервной банки, хлеб, масло и водку. Было 6 марта 1984 года, ссылка началась.

Этот детским сад размером со средний американский семейный дом начали строить за два года до смерти генерального секретаря Андропова, счастливо совпавшей с концом моего лагерного срока, подняли стены, когда от нас ушел генеральный

секретарь Черненко, и успешно поставили под крышу, когда началась «перестройка» Горбачева. Отсюда видно, что охрана этому сооружению была абсолютно необходима. В нарушение закона меня поставили на круглосуточное дежурство. Днями я должен был смотреть за домом, только когда плотники уезжали из Кобяя, что случалось постоянно из-за отсутствия материалов. Поспав несколько часов, я лихорадочно садился за физику и за статьи по волновой логике, которые обдумывал еще в лагере. Ночью же, надев валенки, волчью шапку и овчинную шубу, привезенные от Ирины Сашей Барабановым, моим старым другом и бывшим учеником, бдительно циркулировал вокруг стройки. Воровство или поджог — и меня на «законном основании» препроводят в тюрьму.

Первую пару недель еще кружилась голова и поташнивало, но мало-помалу от работы на свежем воздухе, еды от пуза и прекрасного ландшафта без охранников, колючей проволоки и заборов, я пришел в себя. Правда, милиционер, сержант Охлопков, преданный КГБ всеми кишками, незаконно запретил мне гулять за пределами села, но в первые дни и село с его тремя тысячами жителей казалось пространством необъятным.

Кобяй, бывший когда-то районным центром, имел почти все: магазины, пекарню, телефонную станцию, два кинозала, десятилетку, интернат для ребят из далеких наслегов и даже музыкальную школу. Да и как определить пределы у деревни, раскинувшейся во все стороны огромным осьминогом, со щупальцами, обтекавшими озера и вползавшими в тайгу, с большими коровниками на концах для трех тысяч постоянно голодавших коров. Концы терялись в брусничных болотах и лиственничных лесах, где молодые деревца стояли так тесно, что ногу не просунешь между ними; сильные бури выдирали их сразу сотнями из слабой торфянистой почвы, и они падали рядами, как расстрелянные батальоны.

Вдоль же щупалец по обеим сторонам ухабистых улиц стояли чистые, просторные деревянные дома, с поленницами Дров и кладками резаного льда возле них. Несколько десятков частных лошадей гуляли вокруг, прелестных якутских лошадок небольшого роста с плюшевой шкурой и нежной бахромой вдоль горла, как у старых бородатых леди. Дежуря, я мог наблюдать частных коров, почтенно шествующих по просторным застывшим озерам справа и слева от меня к специально пробитым для водопоев дыркам во льду, их бешено обгоняли табуны лошадей с развевавшимися гривами и вытянутыми хвостами. Мне нравилось одиночество, я устал от людей. Я чувствовал себя свободным.

Но это была свобода на минном поле.

Через несколько дней после моего прибытия два молодых дружелюбных якута-лесоруба доверительно рассказали, что из райкома два раза присылали лекторов, которые предупредили всех жителей: Орлов — американский шпион; что в книжном магазине продавалась книгу Николая Яковлева «ЦРУ против СССР», в которой Сахаров и Орлов изображены агентами ЦРУ; и что некоторые учителя подробно разъяснили школьникам, кто я такой. Очень скоро отряд восьми-девятилетних ребятишек под командованием бесстрашной одиннадцатилетней девочки начал систематические боевые действия против шпиона. Начиная с дальних подступов к детскому саду, прячась за надежными, как они воображали, укрытиями, перебегая от холмика к холмику, от дерева к дереву, они, наконец, окружали меня и затем, по крику своего маленького командира, забросав шпиона градом камней, стремительно убегали. Я обычно занимал перед этим выгодную позицию, недосягаемую для снарядов. Малыши-то были неопасны; только раз не совсем малыш погрозил мне с расстояния ножом. Были вещи похуже ножа.

Плотники Сангарской ПМК с самого начала относились ко мне очень дружелюбно и один из них, временный рабочий, сообщил, что главный инженер допрашивал их, не ведет ли Орлов антисоветскую пропаганду. Приезжал также следователь из Сангара, вызывал в милицию двоих и нажимал, чтобы дали против меня соответствующие показания. Я решил спросить в милиции: почему людей понуждают представлять ложные доносы? Мне пригрозили за такие слова открыть новое дело — по клевете на государственный и общественный строй. Тогда я назвал свидетелем моего друга-рабочего, с его, конечно, согласия. «Проверим», — пробормотал сержант Охлопков. Больше я ничего не слышал о продолжении этой первой попытки. Мой друг для большей сохранности из Кобяя уехал.

Эти игры произвели неожиданный эффект: плотники начали подступать ко мне с политическими вопросами. Внимательно всматриваясь в лица, вслушиваясь в голоса, я пытался разобраться, кто есть кто между ними. Потому что одна неосторожность — и новое дело готово. Всегда желали обсуждать политику и молодые якуты из деревни. Их лица я не чувствовал совсем. Неплохие трезвые, буйные пьяные, они работали шоферами, трактористами, лесорубами, охотниками, рыболовами в совхозных бригадах. Их политические взгляды были довольно здравы, потому, вероятно, что многие прошли через уголовные лагеря по делам о хулиганстве (никогда за воровство), а там встречали политических и религиозных заключенных. Уходя на лов далеко в тайгу, рыбаки могли слушать иностранные «голоса»

и знали кое-что о диссидентах. (В самом Кобяе слушать голоса было невозможно из-за мощной глушилки в Сангаре.) О своей жизни они рассказывали очень интересно, о моей, впрочем, тоже. Выяснилось, например, что накануне моего приезда в Кобяй сюда приезжал чекист из Москвы, чтобы распланировать мою жизнь, и в его планах стояло, что закончив одну ссылку, я тут же получу вторую. К несчастью, молодые якуты часто желали выпить со мной, и если уж усаживались с этим, то выпроводить их было трудно да и опасно пытаться. Еще опаснее было просить помочь плотников.

Хорошие со мной, своим экс-лагерным коллегой, молодые якуты в целом на русских смотрели неприязненно, а особенно не любили почему-то пришельцев из Сангара. Нелюбовь была взаимной.

Однажды поздно ночью, когда я зашел обогреться на кухню, за мной последовали две очень миловидные, запредельно пьяные школьницы. Одна тут же рухнула на пол, другая, то теряя, то все же находя равновесие, спросила, где мужики.

— Спят, — ответил я.

— Хорошо, — пролепетала она. — Мне нужны. Мне нужны мно-ого мужиков.

И выпала из кухни — в спальню. Послышались крики, мат, плотники вскочили с нар, схватили девушку за руки и за ноги и выкинули наружу. Вторую приземлили рядом. На следующий день, однако, когда строители шли в балок на обед, к ним пристали подростки, но у рабочих были в руках топоры.

— Тебе лучше смотаться, Федорыч, — сказали плотники.

Избегать таких конфликтов было абсолютно необходимо, и я незаметно ушел — в милицию. Там требовали от меня отметок каждые два дня вместо раза в неделю, кроме того, требовалось просить у них письменного разрешения на получение каждой зарегистрированной почты — посылки, перевода, заказного письма, так как они мне не выдали никакого удостоверения личности. Все это было грубым нарушением закона. Хорошо еще, что почта выдавала свободно обычные письма, приходившие каждый день из разных мест, хотя ни разу из-за границы, — этот канал перекрывался в Москве.

Я сидел перед самодовольной мордой сержанта Охлопкова, читавшего мне лекцию о том, что напрасно я распускаю слухи, будто я профессор — «Смотри Орлов, отправим в сумасшедший дом», когда ему сообщили по телефону что якутские подростки, вооруженные охотничьими ножами и топорами, окружили балок. Плотники отбивались поленьями.

— Твое счастье, Орлов, что тебя там нет, — сказал Охлопков

с гнусным смешком. — Про-фе-ессор. Думаешь, профессор, так умнее меня? Я еще выясню, кто спровоцировал эту драку.

Это он не «выяснил». Но сержант был человек настойчивый и инициативный. Он пошел другим путем, попытавшись оформить дело о халатном исполнении обязанностей. Ему помогал один тракторист, бывший ссыльный бандит, прижившийся в Кобяе, которому главный инженер поручил контролировать мою работу. То есть он был мой маленький ближайший начальник. Прицеп к его трактору, поставленный им недалеко от моего детского сада, украли, и оба, тракторист и Охлопков, подтвердили, что я отсутствовал на своем посту в ночь пропажи. Новое дело, за которое они могли получить награды, было почти состряпано.

Но я смог документально доказать, что Охлопкова вообще не было в Кобяе в то время. Плотники, со своей стороны, свидетельствовали, что видели меня на посту каждую ночь. Я написал жалобу в Москву, и версия Охлопкова лопнула. Разумеется, сразу же выяснилось, что прицеп никуда не пропадал.

Дела складывались скверно. Нарушение властями их же законов было неприятно, но бизнес сержанта — теперь лейтенанта — Охлопкова был просто опасен. Опасными стали и подростки. После поражения в битве с плотниками они стали регулярно есть, пить и затем испражняться внутри детского сада, выбирая моменты, когда меня не было поблизости. Постоянные уборки дерьма были еще цветочками, ягодки пошли бы, если бы кто-нибудь из них бросил, скажем, незатушенный окурок в сухую стружку. Это могло случиться в любой момент.

В первый раз я стал очень серьезно обдумывать побег. Середина апреля. До мая дороги еще не превратятся в трясины. Можно попытаться, например, доехать на попутке до Якутска, перебраться на другой тракт, и по нему — дальше на юг, до Байкало-Амурской магистрали. Газеты писали, что этот участок магистрали уже работает, и, кто его знает, может быть, в этом чудесном случае газеты не соврали. Если не соврали, то на грузовых платформах, под брезентами, я доберусь до Средней Азии, а там — афганская граница. Вероятность успеха того момента, когда предстоящий арест покажется очевидным. А пока следует разрабатывать альтернативные планы и готовиться.

Итак, я пока оставался на месте. Требуя прекратить нарушение трудового законодательства и дать мне хотя бы одного сменщика, я тем временем начал удлинять свои секретные прогулки в тайгу, чтобы укрепить силы и разведать возможные пути летнего побега. Тренировки посоветовал мне делать сын Саша, он же и провел со мной несколько первых походов. Между тем, сильно обеспокоенное поддержкой, какую оказали мне

плотники в афере с прицепом, начальство решило отселить меня от них. Мне временно дали неплохую квартиру вблизи аэропорта — пока, мол, не будет достроено новое общежитие для рабочих. Я сразу же сообщил Ирине, и вот к концу апреля она прилетела ко мне в сопровождении друзей-физиков Евгения Тарасова и Льва Пономарева. Это было счастливое для меня первое за последние пять лет свидание, но новости, привезенные ей, были ужасны.

Практически все старые и новые члены Хельсинкских групп, члены «Амнистии», редакторы фонда, и не менее тысячи малоизвестных диссидентов были или арестованы или вынуждены эмигрировать. Множество ближайших друзей — Таня Великанова и Сергей Ковалев, сын Сергея Иван и Таня Осипова (ставшая теперь женой Ивана), Виктор Некипелов и Толя Щаранский, Владимир Альбрехт и Сергей Ходорович, о. Глеб Якунин и Мальва Ланда, Елена Боннэр и сам Андрей Дмитриевич Сахаров — все лучшие люди этого поколения были в когтях КГБ.

— Ситуация удручающая, — говорила Ирина. — Полтора года назад Елена Георгиевна распустила Хельсинкскую группу, потому что КГБ угрожал арестом Софье Васильевне Калистратовой. В то время в группе оставались-то только три человека — они, две женщины, да Наум Натаныч Мейман. Зато, правда, за границей сформирована Международная Хельсинкская Федерация, подумай, ты начал это… Все эти годы Валя Турчин вел кампанию в твою защиту среди ученых, тысячи людей по всему свету борются за тебя. Друзья и совсем незнакомые. «Амнистия». В Америке — SOS («Сахаров, Орлов, Щаранский»). Комитеты защиты — в Торонто, Париже и Женеве. В ЦЕРНе люди носят майки с твоим именем. Довольно много ученых по-прежнему бойкотирует контакты с нашей академией из-за тебя и Сахарова, среди них некоторые Нобелевские лауреаты. Директор DESY в Гамбурге приглашает тебя на работу. Ты ведь когда-то учил немецкий?

Значит, я не был забыт. Никто не был забыт. И хотя Советы все еще стояли стенкой, рано или поздно давление Запада должно нам помочь, если не мне, то по крайней мере будущему этой идиотской страны.

— Ты действительно веришь, что эта страна когда-нибудь станет лучше? — спросила Ирина.

— Не при моей жизни. Но в будущем — да, я уверен. Если бы не был уверен, то и не занимался бы ничем.

— Ты оптимист! Никто в это не верит. Но так или иначе, если КГБ тебя не сожрет, то только благодаря западным ученым.

Ирина, Тарасов и Пономарев вскоре уехали. Меня переселили в рабочее общежитие. Там было шумно, но дали по крайней мере

отдельную комнату, чтобы ограничить мои возможности вести пропаганду среди соседей. Можно было заниматься. Было где разместить Сашу, гостившего две недели. Хрупкий гладколицый аспирант, которого я видел последний раз пять лет тому назад, превратился в бородатого ученого, оставшегося в душе тем же рассеянным, непрерывно думающим мальчиком, каким я его всегда помнил. Все эти годы он убеждал приезжавших иностранных физиков, с какими удавалось встретиться, чтобы они бойкотировали советские контакты до тех пор, пока я не буду освобожден. Теперь на тот случай, если освобождение не засветит совсем, он секретно тренировал меня в длительных переходах, для начала по дорогам. Начиная с шести утра, с конца моего ночного дежурства, ибо теперь я имел дневного сменщика, мы молча шагали километр за километром по грунтовой таежной дороге, пока я не отказывался идти дальше. Довольно скоро, однако, после Сашиного отъезда, я оставил такие тренировки. Они оказались слишком тяжелы для меня.

Ирина продолжала писать заявления и благодаря ее поддержке, активности друзей в эмиграции и давлению зарубежных ученых советские власти к лету 1984 более или менее прекратили нарушать свои советские законы. Было разрешено, в частности, летать в Сангар к зубному врачу и технику. Еще в лагере мне преднамеренно разрушили зубы, стачивая их почти до нуля под предлогом подготовки к протезам, которые затем быстро ломались, и операция стачивания повторялась снова. Теперь остатки зубов и коронок резали в кровь рот. Увы, в Сангаре дантист разрушил мои зубы еще больше. Перед этим зубного техника допрашивали в КГБ. Женщину, которая помогла мне найти этого техника, тоже допрашивали в КГБ. Муж избил ее за то, что ее допрашивали в КГБ, за то, что она помогла мне найти техника. Ну, зато я встретил Мишу Горностаева.

Миша, свободомыслящий белорус, на всякий случай на время уехавший от тамошнего КГБ в Сибирь, отыскал меня в гостинице.

— Как вы узнали, что я здесь? — спросил я.

— Очень просто. Жена здешнего кагебиста сказала своим приятельницам на работе под большим секретом, что Орлов в Сангаре.

Миша и его семья стали моими первыми друзьями в ссылке.

Примерно в то же время на одной из улиц Кобяя меня остановил незнакомый подвыпивший якут и произнес следующую пылкую речь:

— Где Сахаров? Где Орлов? Где Твердохлебов? Не забывай!

— Нет, я никогда не забуду, где Орлов, — сказал я, улыбнувшись.

Это было поразительно. Такие речи на краю света, в далеком селе между Якутском и Полярным кругом.

Мы познакомились. После этого он нередко останавливал — не всех, конечно, но некоторых — жителей Кобяя и говорил им, показывая на меня: «Ему надо помочь». Всем было понятно, что он имел в виду. Я пытался купить или снять отдельный дом, но каждый раз, когда находил его и договаривался, на следующий же день хозяин под тем или другим предлогом смущенно отказывал. И некоторые уже признались, что сразу после меня к ним приходил гебист или милиционер и разъяснял, что районный прокурор строго запретил предоставлять мне дом, да чтобы они не проговаривались мне об этом.

В ответ на агитацию моего неожиданного кобяйского союзника мне решила помочь одна русская пара, работавшая на якутском газопроводе. Проигнорировав ясную угрозу лейтенанта Охлопкова, они сдали мне свой маленький пустующий дом: комнату с двумя кроватями и кухоньку со столом и железной печкой. Снаружи располагались теплица, загон для животных и уборная.

Хозяин, Юрий Павлович, с добрыми голубыми глазами в трезвом периоде и страшными белыми в периоде ином, побывал в лагерях несчетное число раз, в общей сложности лет двадцать, сначала ни за что, потом за убийства. Первый раз он убил в лагере в самозащите, второй опять в самозащите, а потом по привычке. По его вычислениям получалось, что он убивал семь раз, но я верю только в пять. Тамара Алексеевна, газовый техник, соломенная вдова с тремя детьми, вышла за него замуж по фото, когда он был еще в лагере. Женщина она была, как видно, храбрая, росла во время войны в детском доме, и, может быть, по этой причине угрозы лейтенанта Охлопкова вошли у нее в одно ухо, вышли из другого. Ни Тамара, ни Юрий хорошей, большой любви к милиции не чувствовали.

Юрий категорически отказался брать с меня какую бы то ни было плату. В ответ на доброту я взялся поглядывать за теплицей, двумя свиньями, восемнадцатью курами и двумя петухами. В ответ на это они подарили мне щенка Дину, шесть кур и петуха Петьку в личное владение и разрешили брать огурцы и помидоры в теплице без ограничений. В ответ я предпринял починку их дома, который они построили сами из брошенных досок, старых кусков шифера и толя.

За это все власти конфисковали у них дом и выдворили Тамару из Кобяя. Но это произошло позже.

Наконец, у меня было где принимать гостей. Правда, путешествие ко мне было изнурительной и дорогостоящей

операцией: шесть тысяч километров на самолете от Москвы до Якутска, триста — от Якутска до Сангара на другом самолете, и еще сто на третьем — от Сангара до Кобяя. Эти три стадии отнимали иногда неделю, сопровождались обысками в аэропортах, неудобствами, грязью, и, что особенно мучило Ирину, ужасающими наружными туалетами, с такими горами дерьма, каких даже и я не видывал в уборной своего лагерного изолятора. Несмотря на все, я редко бывал один. В то счастливое лето 1984 года в домике жила постоянно Ирина и то один, то другой из сыновей или друзей, среди них физик Юрий Гольфанд, единственный энтузиаст моей волновой логики.

У меня теперь был сменщик, с которым мы сторожили наш бесконечно строящийся детский сад по двенадцать часов в сутки. Я выбрал себе более спокойную ночную смену От дома до сада было пятнадцать минут ходьбы по берегу озера. В шесть вечера я проверял наличность материалов и не дымится ли где окурок, брошенный в торфянистую почву. Если вовремя не обнаружить, то через день-два земля может непоправимо разгореться в глубине. У меня чуть не загорелась так моя уборная возле дома. Чуть позже подходила Ирина и кто-нибудь из гостей, таща чайник воды, сковородку и продукты; в плотницком балке я держал свою электроплитку. Поужинав, мы часами ходили вокруг детского сада, обсуждая физику, логику, политику, психологию. После семи лет изоляции, зловония камер, хамства охранников эти дискуссии были для меня глотками свежего воздуха, они возрождали надежду — на что? Этот вопрос я пока выбрасывал из головы. Когда друзья уходили домой спать, я иногда ложился на доски отдохнуть, завернувшись в шубу, но обычно читал: мой Саша и Саша Барабанов приволокли мне громадную кучу книг — все, что я просил, а солнце в Кобяе летом заходит — и тут же восходит — в два часа ночи.

В шесть утра рабочий день кончался. Я шел домой к большому завтраку и потом спал до обеда. Наши хозяева, Тамара и Юрий, нередко тоже садились с нами за стол. Иногда приходили и мои друзья из дома напротив, Нина Ивановна, школьная учительница шитья и домашнего хозяйства, и ее муж якут, бухгалтер совхоза. После обеда начинались работы по дому. Дел была уйма: докрыть крышу, установить водосточные желоба для сбора чистой дождевой воды — пить и готовить, засыпать и укреплять завалинку, насобирать дров на девять долгих зимних месяцев. Но даже таская бревна, мы не прекращали наших научных разговоров.

Тарасов привез мне из Москвы невероятное количество разных инструментов, включая недоступную в этих краях ручную

электропилу, даже гвозди редких размеров, не считая ручной коляски для перевозки тяжелых грузов. Кое-какие инструменты можно было купить и в местном магазине. Помимо работ по дому надо было два раза в день поить-кормить животных и поливать в теплице — это многие ведра воды. Тут тоже гости помогали. Вечером я уходил опять на работу, а мой сын Лев, когда был в гостях, уходил в музыкальную школу практиковаться на фортепьяно. Он занимался теперь инструментовкой джазовой музыки, сильно вырос и был так красив, что одна якутская девушка простояла у нашей ограды, благоговейно глазея на него целый день, когда он помогал мне крыть крышу.

В середине августа мне исполнилось шестьдесят и, опираясь на закон, я вышел на пенсию. Пенсию мне назначили всего 67 рублей и 67, кажись, копеек, потому что последние десять лет я «не работал» — лагерный труд за труд не считался. Жить тем не менее было можно, потому что бесчисленные друзья в Советском Союзе и за рубежом снабжали меня и недостающими продуктами и деньгами. Уход на пенсию был для меня громадным освобождением от постоянного ожидания поджога детского сада, а кроме того, просто давал свободное время — нормально спать, заниматься наукой, ходить в тайгу, вести драгоценные беседы с друзьями. Но и общая атмосфера в деревне к этому времени изменилась, стала гораздо более дружелюбной, чем в первые дни ссылки. Может быть, только одна пожилая учительница младших классов еще верила, что я был американский шпион. Даже юная командир отряда метателей камней прекратила боевые действия в последние недели моей работы. Каждый видел, что я тружусь постоянно, не жалея сил. К этому относились с уважением. Но что фундаментально разбило в то лето подозрительное, враждебное отношение, это приезд жены, детей и друзей. Вся деревня знала в подробностях, кто были эти посетители: их регистрировали и в сельском совете, и в милиции, с предъявлением и проверкой всех документов. Да, ничего не скажешь, доктора-профессора, научные работники, уважаемые люди. Может, этот Орлов не враг народа? Так или иначе, большинство здешних меня уже не боялось. Одна молодая якутка даже рассказала, что, когда училась в Иркутском техникуме, они с девочками читали в туалете какую-то мою статью «по религии». Вероятно, это был Документ № 5 Хельсинкской группы.

Нина Ивановна, Тамара Алексеевна и их мужья оставались самыми близкими мне в деревне людьми. В это лето мне уже поздно было заводить свой огород, и они снабжали меня свежими овощами со своих участков и теплиц, без которых в новые, вегетарианские времена прожить было бы невозможно. Правда, по

советским стандартам в Кобле жили вообще не худо — северный коэффициент здесь был хороший, большинство получало зарплату в 2,5 раза больше, чем «на материке». Телевизоров и мотоциклов хватало, но яйца, например, появлялись в магазине всего два раза в год — по семь яиц на персону, а мясо шло по спискам — по кило в месяц на человека, что было естественно для мясного совхоза, в котором бюрократов кормилось больше, чем коров. Телята по весне часто погибали от недоедания, или их загрызали одичавшие собаки, или они тонули в трясинах. Из совхозных овощей мне удавалось покупать только капусту — распродажа шла несколько дней в сентябре.

Примерно в православное Рождество, в январе, кто-то где-то проснулся, и некий чин КГБ нанес в Якутске визит высокому начальнику Тамары Алексеевны: следует убрать ее из Кобяя, потому что она помогает жить врагу народа Орлову.

Тамара приняла героическое решение бороться и меня не выселять. Выселяться по своей воле мне бы следовало, но абсолютно некуда. Силы, однако, были не равны.

Тамару живо обвинили в хищениях, одно серьезнее другого, а также в сдаче мне дома без разрешения сельсовета. Начались непрерывные унизительные расследования. Некоторые кобяйцы, видя, что бабу глубоко топят, навалились топить глубже и стали писать уже совершенно умопомрачительные доносы. Во-первых, у нее с Юрием Павловичем в огороде зарыта портативная радиостанция для связи с ЦРУ. Во-вторых, они развели слишком много свиней. Пошла инквизиция по свиной линии, и я приложил все усилия, чтобы помочь Тамаре немедленно продать всех поросят сентябрьского опороса. «Если все будут так любить своих свиней, мы никогда не построим коммунизма!» — возмущался один мой знакомый бюрократ. Действительно, Кобяй был далек от коммунизма — мясной рацион здесь был выше, чем в других районах страны. Последняя стадия психологического наступления началась весной. Тамару обвинили в том, что домик, в котором я жил, был построен ею незаконно и из краденых материалов. Наконец, было объявлено, что дом будет разрушен, чтобы на его месте соорудить памятник кобяйцам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны.

Очевидно, в ходе этой же операции я был жестоко избит в конце апреля 1985 года. Моему Саше надо было срочно возвращаться в Новосибирск, где он тогда работал, а кобяйский и сангарский аэропорты, с их грунтовыми покрытиями, могли закрыться в любой момент на слякотный сезон. Но, нарушая все приказы, пересекая быстро расползавшиеся реки и топи, все еще

ходили на Якутск тяжелые грузовики с неотложными грузами, и Юрий Павлович договорился с одним шофером, чтобы тот взял Сашу. Саша забрался в кабину, нагруженный гречневой крупой для семейных друзей в Новосибирске и пирожками от Тамары Алексеевны для самого себя, а я, попрощавшись, пошел домой.

Была полночь. Недалеко от милиции меня догнали три парня, четвертый стоял невдалеке, спросили, кто я, сбили с ног ударом в лицо, и начали уже лежачего бить ногами по голове и ребрам. Я закрыл голову руками, но все-таки потерял на короткое время сознание, и потом еще раз. Наконец, они разбежались. Шатаясь, плохо соображая, я поковылял домой. Третий раз в моей жизни голова была разбита. В течение двух месяцев после этого у меня были проблемы с боковым зрением.

Кто бил, почему?

Лейтенант Охлопков, получив повышение, переехал еще в январе в Сангар. Его преемник, новый милиционер, указал мне на одного парня, но аккуратно скрыл других участников избиения, которые, вероятно, и были главными, из тех, я думаю, десяти или больше щеголеватых молодых людей, что работали в этой деревне на КГБ. Они, не скрываясь, фланировали в аэропорту и около, когда ко мне приезжали или от меня уезжали, демонстрируя слежку. Что же до парня, на которого мне указали, то скоро стало ясно, что его втянули в операцию обманом. Он расстроенно повторял, что знай он, что я «друг Сахарова», никогда бы бить не стал.

Летом 1985, через год после того, как Тамара с мужем пригласили меня в их дом, ее заставили уехать из Кобяя. Таково было наказание КГБ за чересчур сердечную дружбу со мной и моими учеными друзьями. Все ужасные обвинения против нее были после выезда из Кобяя немедленно сняты, начальники великодушно предоставили ей другую работу к югу от Якутска. Она жила там с другим человеком. Жизнь с Юрием Павловичем, не сахарная и до того, была окончательно разрушена. Человек этот водил теплоходы по Лене.

Через несколько месяцев после выдворения Тамары Алексеевны из Кобяя, капитана теплохода вызвал капитан КГБ. «Вы ведь работали раньше на океанском лайнере на заграничных рейсах, — со значением напомнил он, — а сейчас живете с Тамарой. А у Тамары друг — Орлов. А кто Орлов, вам известно. Улавливаете?» Двумя годами позже Тамарин капитан был убит на улице, неизвестно, по каким причинам.

Трагедия Тамары и избиение показали мне, насколько непрочно будущее. С помощью московских друзей я стал снова

собирать то, что могло понадобиться для летнего побега. Все дальше и дальше уходил в тайгу, тренируя тело, изучал но картам возможные проходы из Кобяя в сторону Якутска. Компас; ласты для переплывания озер; запасы концентрированного французского протеина, соль, спички, телефонные номера и разговорные коды для связи с теми из московских непрямых друзей, кого КГБ не заподозрит… Я был готов к кризисной ситуации. Тайга была почти непроходима, но лучше подохнуть в лесу, чем отдаться им и пойти на еще один, свой последний срок в лагерь.

Моей срочной задачей было, однако, найти новый дом — невозможное дело после того, как все последствия были продемонстрированы наглядно. Тем не менее осенью 1985 главный инженер совхоза, человек деловой, добрый сосед Нины Ивановны, не без ее протекции, но и не без официального разрешения, неожиданно устроил мне аренду дома у его родственника за высокую плату. Очень приличный якутский деревянный дом, близко к лесу, — две небольших комнаты и кухня, маленькая кирпичная печка, картофельное поле в придачу. Хозяин отделил мне участок для огорода. Загона, правда, у него не было и куриц пришлось отдать Нине Ивановне. Она так и так снабжала меня яйцами и многим другим.

Ирина и Саша Барабанов помогли перетащиться в новый дом, законопатить щели между бревнами, навезти тридцать-сорок кубометров огромных бревен, непригодных к делу, но пригодных на дрова, оформить интерьер. На это ушло все лето. От старого дома, приговоренного к разрушению, мы перетащили доски на случай ремонтных работ, остатки дров и даже чернозем из приговоренной вместе с домом великолепной теплицы. Я сколотил книжную полку, там разместились научные книги и русская классика, накупленная мной в местном магазине. Ирина повесила занавески, подаренные Таней Векслер[18], набросила красивые покрывала и скатерти. Заготовка льда на зиму осталась за мной.

Бесчисленны озера вокруг Кобяя, вода всюду, но колодцев нет из-за вечной мерзлоты, а построить и содержать водопровод совхозу, конечно, не по силам. В результате летом целыми днями развозят воду от озер к домам автоцистернами — очень дорогая операция. А зимой жители держат возле домов склады льда, нарезаемого на озерах в раннем октябре, когда он еще не толще тридцати-пятидесяти сантиметров. В первую зиму льдом меня снабдила Тамара. В эту вторую зиму муж Нины Ивановны и главный инженер пригласили меня в свою компанию резать лед. На грузовике с прицепом мы приехали на озеро, какое казалось

почище, разметили площадку пешнями — это такие деревянные пики с металлическими наконечниками и крюками на концах — и пробили начальное отверстие для ручной пилы. Ледяные параллелепипеды высотой больше метра частично пилили, частично откалывали пешнями, затем пешнями же выволакивали из воды и забрасывали на грузовик и прицеп. Тяжелая работа. Я сложил свои льдины снаружи дома, а внутри у меня стояли три бочки с мелко колотым льдом, тающим в чистую воду. Для стирок же и купаний я растапливал на печке снег, собираемый прямо на огороде. В теплую погоду я пользовался душем конструкции Тарасова: ведро с регулируемым душевым отверстием в дне; он привез мне его из Москвы. Когда снаружи было холодно, я купался в большом корыте, поставленном поближе к печке так, чтобы не намочить пол, под которым в подполе хранилась моя картошка. Домашнее купанье с многократными экспедициями за снегом, таявшем в баке на горячей печке, требовало времени, но в общественную баню я бы согласился пойти только через свой труп.

Заготовив лед, я мог теперь сконцентрироваться на научных занятиях, с частыми, правда, перерывами на распилку и колку дров, колку льда, готовку, покупки в магазинах. Хотя это все было утомительно, теперь не было обязанностей по кормлению животных, если не считать собаки Дины и котенка по имени Барахло. Для нас троих я закупил три мешка мороженых карасей и готовил каждое утро на печке уху. Ближе к весне мороженые караси кончились. Мы с Диной брали сумку и бродили по деревне в поисках костей, которые я затем разбивал топором, а она грызла. Барахло не отказывался от каши и у него были мыши в подполе, но Дина, якутская собака, каши не понимала, понимала только мясо. Иногда ей удавалось убить в лесу большого грызуна, но как его растерзать, она не знала, мне приходилось и эту добычу разрубать для нее топором.

Однажды в ноябре пришла телеграмма от Марата Векслера: американский биохимик Джордж Уолд настойчиво просил Горбачева освободить меня[19]. Марат узнал об этом из пресс-конференции Уолда в Москве, в советских газетах об этой части разговора Уолда с Горбачевым не сообщалось. Я показал телеграмму в милиции и в сельсовете, и, как следовало ожидать, она их на время парализовала.

— Думаю, просьба Уолда поможет, — сказала Ирина, приехав на Новый год.

Поможет, не поможет, но я, как обычно, выкинув из головы надежды, ушел в работу и, с некоторым трудом избежав одной

ночью вечного покоя из-за трещины в печке, закончил статью по логике, послал ей в АН СССР и начал другую. Пришла весна, и я стал часами работать в огороде и в своей новой покрытой пластиком теплице, построенной еще осенью с помощью Тарасова — высаживал томаты, огурцы, высевал укроп, петрушку, салат — приготовления к лету. Якутское лето длится всего два месяца, но зато жарко и светло почти все двадцать четыре часа. Поэтому если не прозевать засеять и не лениться потом с поливом и прочим и если, конечно, среди лета не ударит мороз, то можно собрать отличный урожай овощей на весь год.

Лето 1986 началось хорошо. В доме было полно гостей — Ирина, Саша, Барабанов, Катя Векслер, выросшая в удивительную красавицу. Милиция больше не приставала. Вместо лейтенанта Охлопкова был теперь незлой пьяница, любивший философские дискуссии на тему «Существует ли платоническая любовь?» («Существует», — уверял я.) Генеральные секретари один за другим перешли в иной мир и их место, наконец, занял Михаил Горбачев. В газетах замерцали гласность с перестройкой. Распад нашего сверкающего научного социализма начался гораздо раньше, чем я ожидал. «Может, Горбачев пригласит меня в советники», — подшучивал я над мужем Нины Ивановны, человеком очень добрым, но сталинистом, как большинство кобяйских якутов. Ирина секретно отослала в Швецию мое согласие на чтение лекций в Шведской Академии по приглашению. Академики Евгений Велихов и Моисей Марков пытались помочь публикации моей статьи по волновой логике в советском журнале. Большая группа физиков-ускорительщиков, во главе с Пьером Лефевром, Дитером Мелем и Нобелевским лауреатом Симоном Ван дер Меером отказалась принять участие в ускорительной конференции в Новосибирске из-за моего там отсутствия. Многие другие выдающиеся физики, вроде Эндрью Сесслера из Радиационной лаборатории в Калифорнии, тоже бойкотировали эту и все другие советские конференции.

14 августа, на следующий день после моего дня рождения, нас с Ириной вызвали в сельсовет для беседы с каким-то прилизанным остроносым гебистом из Москвы, прибывшим в сопровождении гебиста Кобяйского района, похожего на самурая из старых советских фильмов. Москвич начал крикливо, атакой на Ирину.

— Вы посылаете клеветнические материалы на Запад, будто Орлова тут избили до сотрясения мозга. Мы вас привлечем по статье 64 за содействие иностранным государствам в проведении подрывной деятельности.

Статья 64 — «измена родине».

— Вы хотите сказать, что вы лично видели, как моего мужа избивали, но свидетельствуете, что не до сотрясения мозга? Или вы хотите сказать, что его вообще не избивали? — спросила она очень спокойно. — Весь Кобяй в течение месяца видел его избитое лицо. Вы отрицаете это?

По дороге к ним мы договорились, что она будет предельно спокойна и взвешена — это сведет их с ума. Действительно, москвич сразу завял и перешел на меня. Меня могут перевести в город, где у меня будут лучшие условия для научной работы, сказал он. Какой город? Ну, например, Якутск. Что, у вас в Кобяе отдельный дом, огород? Да, конечно, там у нас отдельных квартир нет, вы поселитесь в общежитии. И огорода не будет. Зато вы сможете пользоваться научной библиотекой. Конечно, если не будете заниматься противоправной деятельностью.

— Я не хочу уезжать из Кобяя, — сказал я.

Разговор вызвал у нас тревогу. Я обжился в Кобяе, относиться ко мне все стали хорошо. Похоже, разочарованный КГБ решил это разрушить.

Глава двадцать вторая
Последнее воскресенье сентября

В это последнее воскресенье сентября 1986 года я сидел в своем доме один и писал мое первое за время якуткой ссылки политическое обращение — к предстоящей Венской конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе о необходимости амнистии всех политических заключенных во всех странах, подписавших Хельсинкский акт. Гости разъехались. Я собрал приличный урожай овощей, дом был утеплен, было заготовлено сорок кубометров дров, печка была в порядке. К еще одной зиме я был полностью готов.

В полдень, точно в двенадцать, дверь с силой рванули — она была заперта на крючок — замолотили ногами по косяку и снова рванули изо всей мочи. Я сунул записи в карман — самое подходящее место на случай домашнего обыска, подошел к двери, открыл. Вошли двое — якут лет сорока с лицом вроде бы знакомым и молодой плечистый русский, похожий на обложку советского детектива о ЦРУ, а может, американского о КГБ.

— Кто будете? — поинтересовался я.

— А что, забыли разве? — с обидой ответил якут. — Я начальник Кобяйского КГБ.

А, верно — самурай.

— А вы?

— А он со мной.

Русский молча стал у двери.

— Собирайтесь! Вам на сборы один час. Самолет ждет.

Итак, пришли! Ничто не дрогнуло в моей душе, душа в этот момент закостенела.

— Что брать, куда? На юг, на север, на запад? На восток?

— Не знаю.

Я решил укладываться из расчета на худшее, на этап, — кружка, ложка, авторучки, теплое белье, семейные фотографии, самые важные бумаги, самые важные книги.

— Книг — пять?

Может, из ответа я пойму что-нибудь? Если на том конце пути лагерь, то — пять.

— А зачем вам книги?

Смахивает на тюрьму. Я стал поспешно сортировать книги, записи, расчеты, накопленные за два с половиной года ссылки: что уложить? Взять много — замучаешься тащить, взять мало — упустишь необходимое. Надеть лучше телогрейку попроще и

шапку подешевле: хорошими вещами только уголовников дразнить на этапе. Набралось, однако, много: чемодан, рюкзак — опять будет худо…

Обращение! Обращение в кармане!

— В уборную — на дорожку — одну минуту…

Начальник нахмурился, замялся на секунду, затем кивнул. Дина и Барахло ждали меня в огороде. Чекисты наблюдали из окна. Выкинув бумагу, я долго стоял в своей маленькой деревянной будке-уборной.

Две недели назад, когда я копал картошку в огороде, двое неизвестных в черных пиджаках, якут и русский, вдруг появились на крыльце соседнего дома. Один показал на меня пальцем другому. Когда я выпрямился, они отвернулись и быстро скрылись за углом. В тот же вечер я отбил в уборной одну из досок снизу, на всякий случай.

И вот этот случай настал. Я могу отодвинуть доску, вылезти — и бежать! Бежать по линии окно-уборная, затем направо — в лес, в тайгу, там рюкзак с припасами наготове. Пока-то они съездят за собаками. Тысячи раз за эти годы я обдумывал, как уйти от собак. Водой, конечно, водой в это время года, она еще не везде замерзла. Черт, Дина! Дина побежит за мной. Я забыл запереть ее в сенях… Я вышел в дверь. Барахло спрыгнул с крыши сортира и побежал по жердочке за мной.

Идиот. Нужно было бежать сразу, как только появились те двое в пиджаках. Разве не принял я решения бежать при первом же намеке на подготовку ареста? Но не хватило воли. Хотя знак был очевидный, верный — какие нужны еще подтверждения? — беги! Вместо этого освободил только доску на всякий случай — и остался в дураках.

— Ну что, пошли?

— Пошли.

Я забрал свои вещи и вышел, не оглядываясь. Начальник КГБ запер дверь, положил ключ в карман, вышел через калитку на улицу, я за ним, парень сзади. На улице ждали два мотоцикла, один с коляской, на нем известный мне якут — местный сексот. Как бесшумно сволочи подобрались к дому! Мне сказали сесть в коляску, к этому сексоту, сами — на передний мотоцикл. Рванули на всей скорости — они впереди, сексот за ними. Дина мчалась сбоку, язык наружу, дышала тяжело после чумки, перенесенной летом. Улицы были мертвы, абсолютно пустынны, хотя было воскресенье. Неужели они запретили людям высовываться из домов?

На грунтовом взлетном поле нас действительно ожидал десятиместный кукурузник. Мотоциклы подкатили прямо к

самолету, минуя старое осевшее зданьице аэропорта. Снаружи никого, зато видны прилипшие к стеклам лица… Тут я обнаружил, что чемодан потерялся по дороге. Книги, записи — все пропало! К моему изумлению начальник КГБ приказал сексоту вернуться и поискать. К еще большему изумлению, чемодан нашелся и был привезен.

— Теперь вы подождите-ка минуточку, — сказал начальник и потрусил к зданьицу.

Лица от стекол отлипли. Он притрусил обратно, воскликнул удивленно: «Никто не желает лететь нашим рейсом!» — и засмеялся сам на свою шутку. Сексот-якут и русский парень с обложки не улыбнулись.

Я закинул вещи в пустой самолет, влез по лесенке, чекисты за мной, Дина тоже вспрыгнула. Парень пинком выкинул ее наружу Она не взвизгнула, стояла теперь, не отрываясь глядя в дверь на меня. «Погибнет, — подумал я. — Якутская собака. Так и умрет, ожидая в аэропорту. И кот погибнет. Впереди зима, дом под замком». Вошел летчик, закрыл дверь, взлетели. Дина все стояла, не двигаясь.

Лиственницы уже сбросили свои нежные иглы. Сверху тайга была черной, но болота еще зеленели. Тонкий прозрачный лед покрывал озера. Мало-помалу они перешли в незамерзшие еще протоки, протоки — в рукава, рукава — в реки и, наконец, — вся огромная Лена. Мы приземлились в Сангаре. Грунтовое поле было пусто и здесь. Сказали забрать чемодан и рюкзак, привели в балок ремонтников на краю поля и ушли. Молчаливый рабочий исправлял спиральку электроплитки — вскипятить чай. Что, если уйти? Я вышел. Парень стоял за дверью. Я вернулся. Пришли другие рабочие, разделись. Спиральку починили, чай вскипел. «Присаживайся!» Никто не спросил, чего я здесь. Нам до лампочки, кто привел, тот знает. Я пил с ними чай, поглядывал в окошко. Изящно приземлился зеленый военный двухмоторный самолет. Появился парень: «Пошли». Провел к самолету, понаблюдал, как я влезал внутрь, исчез.

В небольшом офицерском салоне уже сидели районный начальник КГБ и еще один якут. «Начальник Якутского КГБ», — сердечно ответил он на мой вопрос. Я уселся напротив них. Самолет взлетел и полетел на юг. Районный выглядел мрачновато. Молчали. Почему военный самолет? И, главное, куда летим?! Спрашивать было бесполезно. Через полтора часа приземлились в Якутске. Что ж, сюда они и грозились перенести мою ссылку. Или на самом-то деле имели в виду Якутскую тюрьму? Попросили опять вынести вещи из самолета, вышли и молча стали со мной на летном поле. Ни одной живой души не

показывалось во всей видимой окрестности.

— Хорошо бы поесть, — заметил я.

Всегда лучше поесть раньше, чем позже. Они молча повели меня в стоявший поодаль административный корпус. У входа торчали четверо, безошибочно узнаваемые по лицам и движениям московские гебешники. На нас они не посмотрели. Мы поднялись на второй этаж в какой-то офис. Якутский КГБ распорядился, женщина средних лет принесла нам еду — очень приличную еду. Она была подчеркнуто внимательна ко мне, и неуловимая тень презрения, зыбкая, как воздух, сквозила в ее движениях, когда она подавала им. Может быть, ей сказали, что меня снова везут в тюрьму?

Обсасывая селедку, районный начальник завел разговор о моем избиении за год до того. «КГБ не имеет к этому никакого отношения», — повторял он одно и то же, а глаза выдавали — имеет. Его босс, якутский начальник, безразлично откинулся на стуле: уж я-то, мол, точно не имею к этому отношения. Было странно, как будто у меня была некая власть над ними, какая-то возможность навредить. Почему им так важно доказать свою невинность? Может быть, Горбачев, подобно Хрущеву, решил почистить хлевы и призвал КГБ к ответу?

Обгладывая жаркое, районный КГБ перескочил на Мишу Горностаева, моего сангарского друга.

— Бы полагаете, зачем Горностаев демонстративно ушел из главных энергетиков в простые электрики?

— Это не демонстрация. Его заела бюрократия вместо реальной работы, — объяснил я. — Электриком он чувствует, что творит вещи, а не бумаги. И заработок выше. Он мастер своего дела.

— Вот вы всегда, Орлов, изображаете на свой лад! — начальник поглядел затравленно. Вполне возможно, что он начал уж выстраивать статью против Миши, да как будет выглядеть теперь в глазах начальства преследование человека, боровшегося с бюрократией, когда сам генсек начал войну против нее же?

В середине десерта вошел московский квартет: «Пора!»

Значит, не Якутск.

Я встал. Как-то неуследимо они оказались впереди, позади, справа и слева от меня — тоже мастера своего дела. Начальники КГБ остались за чаем с тортами.

Меня привели обратно к тому же самому военному самолету. Войдя теперь с хвоста, я увидел, что это был десантный самолет-пограничник: скамьи для солдат, огромный бак с горючим. Я оставил под скамьей свои вещи, прошел в офицерский салон и сел к окну, чекистский квартет вокруг. Офицер-пограничник уже

ждал там же, сидя на отдельной скамейке. Они начали болтать. Мы поднялись. За окном стремительно темнело. Летчик взял курс на север.

Приземлились в темноте. Скелеты обгорелых или побитых штормами елей удручающе чернели на фоне глубокого фиолетового неба. Здание аэропорта было совсем новым. К моему удивлению, людей внутри было немало. Они держались так, как если б все было абсолютно нормально: вот человек гуляет тут с чемоданом и рюкзаком в центре плотного кольца из четырех охранников. Я вспомнил, как в самолете из Иркутска на Якутск пассажиры старались не видеть моих наручников. Я изучил информационную доску. Мы были в городе Полярном.

Полярный!

Мозаичная фреска на стене свидетельствовала, что здесь добывают золото и алмазы: счастливый советский рабочий с рукой американской статуи Свободы держал алмаз, лучащийся как солнце.

— Где мы? — спросил я одного из охраны.

— На Полярном круге.

«Должно быть совсем новый город, — подумал я, — никогда не видел его на картах».

У моих чекистов появился газик, и меня повезли куда-то вдоль темноватых улиц, мимо бесконечных стандартных пятиэтажек, огромных драг и опять пятиэтажек. Закончили путь ни в чем не примечательной двухкомнатной квартире, которую они открыли своим ключом. Это было нечто вроде общежития — по три кровати на комнату.

— Это ваша постель, — сказали мне. — Располагайтесь.

Один из них собрался в магазин купить жратвы на всех. Я дал ему денег и на себя. Он принес рыбные консервы и хлеб. Они вежливо пригласили меня присоединиться.

— Куда вы меня везете-то?

— Юрий Федорович! Это вы нас везете, а куда, мы, ей-богу, не знаем.

Улеглись: двое в моей комнате, третий в комнате рядом, четвертый бодрствовал в прихожей, сторожил. Изменить я ничего не мог, совесть была спокойна и я спал хорошо.

Утром вернулись в самолет. Офицер-пограничник тоже подъехал и мы полетели на запад. Вот и Норильск, символ ГУЛАГа. Меня вывели снова с рюкзаком и чемоданом. Я стоял на вокзале, охранники вели длинные таинственные переговоры с местными чекистами.

Значит, это и есть мое место.

Здесь, в этом закрытом городе между Ледовитым океаном и

Полярным кругом, у меня не будет ни дома, ни огорода. Приехать ко мне сюда будет почти невозможно. То-то идеальное место для ссылки…

Однако через два часа мы снова поднялись, подлетели к самому океану и повернули опять на запад, вдоль океанского берега.

Куда же мы, черт возьми, летим?!

Я не отрывался от окна. Тундра, замерзшая, но свободная от снега, бугрилась благородным коричневым шелком. Черно-зеленые волны океана казались неподвижными, как на фотографии. Я всматривался и всматривался, пытаясь обнаружить движение, должны же они двигаться, но все же мне пришлось признать, что океан так и замерз волнами.

— Куда летим? — спросил один из чекистов офицера пограничника. — Не на Шпицберген?

Этот архипелаг разрабатывался СССР и Норвегией совместно. Я ждал с напряжением, но офицер не ответил. Внизу пошла опять тайга. Гигантские длинные широкие просеки тянулись одна за другой с севера на юг. Сторона лесоповала, сторона лагерей.

В полдень приземлились в 400 километрах южнее Ледовитого океана. «Печора», — объявил один из охраны. Мы вышли опять с вещами. Нашли вполне цивилизованную уборную, построенную снаружи отдельно от аэровокзала. Погуляли.

— Вот там, в том лагере сидит Петров-Агатов. Помните такого? — спросил меня другой охранник, показывая на колючую проволоку метрах в двухстах от нас, как раз при начале городской улицы. — Помните?

— Помню. Я вижу вы тут эксперт по лагерям. За что сидит-то на этот раз?

— За что и всегда — за мошенничество.

— Адекватный соавтор и КГБ, и Центрального комитета. ЦК переделывал его статью в «Литгазете» против Гинзбурга и меня десять раз.

— Откуда вам это известно?

— Значит, летим на Шпицберген?

Но от Печоры мы полетели не на северо-запад к Шпицбергену, а на юг.

Итак, в Москву. В тюрьму.

К вечеру достигли «Шереметьева». Две черных «Волги», четыре дополнительных чекиста в черных костюмах. Они мчались впереди, мы за ними. Какой русский не любит быстрой езды? Ленинградский проспект. Улица Горького; дом, в котором, быть может, в этот момент Ирина гостит у матери. Забудь об этом. Красноказарменная. Только теперь не стоят вдоль пути черные

«Волги», как дредноуты. Он был прав, сволочь, начальник «Лефортова», мы встречаемся снова. Открыли стальные ворота, машины въехали в маленький дворик, ворота сразу закрылись. Чекисты ушли.

Часа два я сидел в машине один, затем ввели внутрь, в специальную камеру, обыскали, прощупали вещи, унесли их и выдали тюремную одежду. Значит, теперь новые порядки, своя одежда запрещена. Знакомый охранник, теперь-уже немолодой, молча провел в камеру и с грохотом захлопнул железную дверь. Как девять с половиной лет назад. И как тогда: две застеленных кровати, одна пустая, один сокамерник. Я немедленно потребовал бумаги написать жалобу. На каком основании изменили режим со ссылки на тюрьму? Через час меня повели на допрос. Был поздний вечер.

— Юрий Федорович, — начал следователь, тот самый, что допрашивал меня девять лет назад по делу Щаранского. — Вас привезли сюда пока как свидетеля по уголовному делу об антисоветской деятельности так называемого Русского фонда помощи политзаключенным и их семьям, статья 70 УК РСФСР, часть вторая. Что вы можете рассказать нам об этой активности?.. Хорошо, начнем официально. Ваше имя? Отчество?

Он зачитал мне некие показания против Московской Хельсинкской группы, а именно что она участвовала в работе фонда помощи политзаключенным. Такая деятельность и всегда под тем или иным предлогом преследовалась, но при генсеке Андропове она стала официально противозаконной. Уголовное дело было уже довольно пухлое. Говорить было нечего и незачем. Мне ничего не известно, да и ничего не помню, а вам, КГБ, помнить бы неплохо, что вы не имеете права держать меня здесь в тюрьме как свидетеля более трех суток.

Так допрашивали три дня, понемногу, гораздо легче, чем в дни моего первого визита в это заведение. Впрочем, они обычно начинают легко.

— Кто помогал вам, когда вы были в лагере?

— Никто.

— Кто помогал вашей семье?

— Мне неизвестно.

— Кто помогал вам, когда вы были в ссылке?

— Исключительно ученые.

— Какие?

— Этого я вам сказать не могу. А в чем, собственно, преступление — организовывать помощь заключенным и ссыльным?

— В том, в частности, что всякая информация о них есть

государственная тайна.

На четвертый день, когда я уже заявил об отказе участвовать в следствии, потому что содержание свидетеля под арестом более трех суток есть нарушение закона, и когда я уже ждал, что меня переквалифицируют на следующие десять дней из «свидетеля» в «подозреваемого», и только после этого — в «подследственного» — их обычные игры, охранник вывел меня из камеры и привел в комнату с хорошей, под старину, мебелью, с мягкими коврами и обоями с позолотой. Сидели там два пожилых чина КГБ в штатском, с лицами несколько опухшими и носами несколько лиловыми от жизни, похоже, несколько сладкой. Меня попросили присесть на изящное золоченое кресло, заранее приготовленное в центре комнаты. Чины представились — имена, к сожалению, я тут же забыл, никогда не веря в их достоверность. Тот, что сидел за столом, без всякого выражения прочитал Указ Президиума Верховного Совета о лишении меня советского гражданства. «Вы будете высланы в США ближайшим авиарейсом, — добавил он так же бесцветно. — Ваша жена последует вместе с вами. Но до того, согласно инструкции, вам придется подождать здесь».

Но ведь я могу не увидеть своих детей до конца жизни! Где написана такая инструкция?!

Лишение гражданства с последующей высылкой предполагалось наказанием самым ужасным. Только Троцкий с Солженицыным до тех пор сподобились такого. И все же в красноватых бельмах заслуженных чекистов («Что ты бельма-то выставил!» — говорили бабы в нашей деревне) мелькала неприкрытая зависть, затем они покрылись поволокой, возможно даже, волнами недоступных средиземных морей, с девами нагими на кисельных берегах… Но вот старички встряхнулись: надо провести с Орловым беседу.

— Не торопитесь, Юрий Федорович, делать антисоветские заявления за рубежом, — дружелюбно посоветовал тот, что сидел на диване. — Мы понимаем, конечно, что антисоветские организации сразу же возьмут вас в оборот. Но знайте, что в стране готовятся такие перемены, о каких вы как раз и мечтали.

Я потребовал свидания с детьми.

В тот же вечер с меня сняли мерки, и утром были готовы отлично сшитые костюм и рубашка. Выдали также галстук и штиблеты, невероятно удобные на ногах. Так что, прожив шестьдесят два года в своей стране, я наконец узнал, как приобрести в ней приличную одежду. В этой новой одежде меня отвели в другую комнату с золочеными обоями на свидание с детьми. Свидание разрешили, но провели это в своем

нормальном стиле: ребят вызвали не в «Лефортово», а в ОВИР, не сообщив, зачем. Дима, боясь, что его депортируют за границу, не явился вовсе. Когда Саша и Лев приехали в ОВИР, их посадили в черную «Волгу» и без всяких объяснений доставили в Лефортовскую тюрьму. Короткое свидание прошло в присутствии двух бдительных стражей. Мы просто попрощались. Обнимая меня в последний раз, Саша прошептал на ухо:

— За нас не бойся. Продолжай борьбу за других.

Следующим утром трое чекистов из моего прежнего квартета спешно усадили меня с чемоданом в черную «Волгу». А рюкзак, сказали чекисты, слишком стар брать за границу, зачем он вам? С рюкзаком у них остались мои две адресные книжки, фотографии Сахарова, приемник, но я обнаружил это только в США. По дороге в аэропорт я вглядывался в Москву из-за плечей своих охранников. Белорусский вокзал. Здесь отец встретил мою мать, отсюда они ездили в деревню навещать меня. Уж никогда не увижу тот заброшенный пустырь, где когда-то стояло Гнилое. Всю жизнь откладывал, все откладывал поездку в те места. Вот 22-й завод слева за заборами — отец работал там слесарем. Сколько заводов в Москве, а надо же, на этом самом заводе работали и отчим, и Галя!

Подхватив мой чемодан, чекисты ввели меня в самолет «Аэрофлота» прямо с летного поля. Самолет был пуст. Показали на несколько передних рядов. «Садитесь где-нибудь здесь», — оставили чемодан и исчезли. А Ирина? Обманули? Оставят одного? Я сел у окна.

Через полчаса вдруг появилась Ирина. За ней — знакомый мне Ричард Коме, теперь помощник посла США. За ним — обычные пассажиры. Ирина выглядела усталой и грустной. Мы поцеловались. «Они все-таки освободили тебя, наконец». Люди медленно текли мимо нас, незнакомые, не совсем понятные лица. Но вот — какое приятное совпадение — молодой теоретик из ИТЭФ, улыбнулся, подал руку, громко поздоровался.

— В аэропорту меня провожало очень много народу, — говорила Ирина. — Надеялись увидеть и тебя.

Еще двое знакомых, физики из Серпухова. Эти поздоровались натянуто, не глядя в глаза.

— Если бы только я знала, что не будут проверять мои вещи на таможне. Сколько фотографий оставила! И все, все почти вещи раздала. Уезжаю с одним чемоданом, как после пожара.

— Это не освобождение, — сказал я. — Депортация. Почему?

— А тебе разве не объяснили? Свиньи! В Америке арестовали советского шпиона Захарова. Чтоб его выручить в Москве подстроили провокацию и арестовали американского журналиста

Николаев Данилова.

— И?

— И Рейган отказался обменивать шпиона на заложника. Тогда они начали торговаться, кого добавить к заложнику. И наконец пришли к соглашению «об освобождении некоего Орлова», как выразился Шеварднадзе на пресс-конференции. Это было в воскресных газетах.

Самолет взлетел. Мне не хотелось глядеть в окно. В воскресных газетах? Кобяйская почта закрыта по воскресеньям, а с полудня меня взяли под стражу. Пять дней все знали, кроме меня. Два дня меня протаскали через полмира с чертовыми чемоданом и рюкзаком, набитыми ненужным этапным барахлом, чтобы гадал, в тюрьму везут или на новое место ссылки. Потом в тюрьме три дня делали вид, что новое дело на меня уже готово. И все эти дни и районный КГБ, и Якутский, и охрана, и следователь — все знали, что на самом деле меня освобождают.

Типично для них.

Ирина забылась. Время шло быстро. Двухчасовое интервью с Сергеем Шмеманом, корреспондентом «Нью-Йорк таймс», возвращавшимся из Москвы в США. Разговоры о физике с дружелюбным теоретиком из ИТЭФ, обдумывание научных планов.

Наука… Начинать еще раз все с самого начала. Новая жизнь. Новый язык. Ладно, управимся и с этим. В конце концов голова на том же месте.

Глава двадцать третья
Свалившись с Луны

Размышляя обо всем и ни о чем, я сонно сошел с трапа самолета и тут же попал в руки четырех громадных черных полицейских в черном (ФБР), с огромными пистолетами на поясах, мгновенно окруживших нас с Ириной. Они проложили дорогу в плотной толпе журналистов, друзей и любопытных, запустили нас в какое-то помещение для краткого свидания с Людой Алексеевой и Валей Турчиным, вывели оттуда, ввели в другое помещение, полное ожидавших там друзей и репортеров, усадили за стол, отбросили от стола репортеров, распростерли свои могучие тела между нами и собранием и замерли. Я понял, что должен принять решение.

НАУКА ПУСТЬ ПОКА ПОДОЖДЕТ.

Следующие четыре месяца я вел кампанию за освобождение тех, кто остался позади, используя каждую пресс-конференцию, каждый митинг, каждое интервью для повторения имен: Сахаров все еще в ссылке в Горьком, Корягин все еще в пермском лагере, члены Хельсинкских групп в лагерях и ссылках, Марченко в Чистопольской тюрьме, много недель назад объявивший бессрочную голодовку с требованием всеобщей политической амнистии. Его могла остановить только амнистия или смерть — мы знали это. Этот человек если сказал — сделает, сколько бы власти ни повторяли: «Умирай! В СССР нет политических заключенных!» Нужно было спешить, спешить с поддержкой. Люда и я говорили о нем везде где только возможно. Американская Хельсинкская группа в Нью-Йорке подготовила мне два фотоплаката — Нельсона Манделы и Анатолия Марченко. Люди знают Манделу, пусть знают также Марченко и защищают их обоих.

Я работал с такой же интенсивностью, как в Москве перед арестом. День за днем — интервью с журналистами, встречи в Белом доме и Конгрессе, выступления в академиях наук, посещения коллег-ученых и коллег-правозащитников, снова выступления, снова интервью — было физически легче, чем в лагере, но тяжелее, чем в ссылке. Впервые в жизни я начал ежедневно принимать снотворное — день за днем, неделю за неделей, так как иначе не мог спать от усталости, хотя к любым таблеткам относился с отвращением.

Через несколько днем после прибытия на Запад я встретился

с президентом Рейганом и госсекретарем Шульцем, которые в то время готовились к поездке в Рейкьявик для переговоров с Горбачевым. Они спросили, в частности, как помочь Сахарову. Слава богу, Сахарова знали все и о его судьбе беспокоились на уровне правительств.

— Когда мы просим Советы позволить Сахарову и его жене выехать к семье в Бостон, — сказал Рейган, — нам отвечают, что это, мол, невозможно, так как он владеет многими государственными тайнами. Это очевидная игра, но нам нечего возразить. В каком направлении лучше всего действовать?

Так поставленный вопрос несколько смутил меня. Насколько я знал, сам Сахаров не просил разрешения покинуть страну Это именно Советы хотели бы свернуть всю дискуссию о правах человека на один единственный вопрос — о праве на выезд по семейным мотивам. Официальная линия состояла по-прежнему в том, что ни политической оппозиции, ни политических заключенных в Советском Союзе не существует. Может быть, отказники, да, существуют, но ведь это, замечали советские эксперты в штатском, надуманная «еврейская проблема», ничего общего с реальными правами человека не имеющая. Что касается прав человека, то мы заявляем, глядя вам прямо и честно в глаза, что никаких так называемых нарушений в нашей стране не было и нет, а кроме того, это наше внутреннее дело, в которое любезно просим вас не вмешиваться.

— В случае Сахарова, — посоветовал я, — лучше требовать не выезда, а просто освобождения — с правом самому выбирать, где жить, в Москве ли, в другом месте. Сахаров публично заявил, что он действительно владеет государственными секретами, но считает оскорбительным предположение, что он может кому бы то ни было их выдать.

Когда знаменитый телефонный звонок Горбачева в Горький в декабре того же года освободил Сахарова из ссылки, он просто вернулся в свою московскую квартиру.

В конце октября я покинул гостеприимный дом Турчиных в Нью-Джерси с тем, чтобы отправиться в Европу в сопровождении штатного исследователя Хельсинкской группы США Кати Фицпатрик, которая была также отличной переводчицей. Катя знала о советских политзаключенных больше, чем кто бы то ни было в мире, исключая, конечно, Людмилу Алексееву в Нью-Йорке и Кронида Любарского в Мюнхене. В последующие шесть недель я посетил столицы почти всех западноевропейских стран, встречаясь равномерно с лидерами правыми и левыми. Маргарет Тэтчер и Вилли Брандт, Хельмут Коль и Петра Келли, члены

правительств и лидеры профсоюзов, а также «комитеты защиты Орлова» в Париже и Женеве, а также научные лаборатории в Женеве и Гамбурге. В Лондоне я наконец пожал руку моему замечательному адвокату Джону Макдональду. В Вене меня выбрали почетным председателем Международной Хельсинкской Федерации по правам человека, объединявшей движение, начатое Московской Хельсинкской группой за десять лет до того. Люда присоединилась к нам в Вене, чтобы участвовать на уровне представителей общественности на Венской конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе, открывшейся в октябре 1986 года.

Западные лица все еще составляли для меня проблему, я их не узнавал и не чувствовал, зато советские делегаты распознавались немедленно, еще до того, как они открывали рот: будто все они только что сошли с лагерной вышки. А уж если открывали рот…

— Госдепартамент использует вас в своей игре, Юрий Федорович! — это советский эксперт по гуманитарным, разумеется, вопросам только что выслушал речь госсекретаря Шульца, в которой тот потребовал освобождения Сахарова, Марченко, Корягина и всех членов Хельсинкских групп. Не было тайной, что Орлов просил Шульца об этом. Более того, Орлов здесь появился сам, нахально одетый в элегантный костюм, сшитый для него в КГБ, и ведущий дружеские беседы с западными делегатами. Ясное дело, агент Шульца.

— Ну, может быть, вы поможете освободить наших заключенных? — предположил я.

Он посмотрел на меня так, как если б я свалился с луны.

Фактически я и сам начал чувствовать себя чуть-чуть свалившимся оттуда после многих дискуссий в Америке и Европе с такими людьми, которые хоть и сочувствовали нам, но в отличие от Рейгана и Шульца верили, что сильное давление на СССР в области прав человека может породить опасную нестабильность; или вовсе не верили ни в какую связь между правами человека и международном безопасностью. Уже более десяти лет прошло с тех пор как Хельсинкский акт 1975 года формально признал наличие такой связи, и наша Московская группа опиралась именно на эту концепцию. Тем не менее многие все еще ее не понимали.

Моя кампания в защиту политзаключенных была и кампанией в поддержку этой идеи. Я пытался объяснить на обоих континентах то, что нам, членам Хельсинкских групп, было всегда элементарно ясно: советский режим не смог бы ощетиниться вооруженным лагерем, швыряя богатства и таланты

страны в бездонную пропасть милитаризма, без своих беспрецедентных ограничений на свободу передвижения и свободный обмен информацией, введенных после 1917 года как внутри страны, так и в отношениях с внешним миром. Существование непроницаемых барьеров для демократического контроля над военно-промышленным комплексом, для развития неконтролируемых контактов между миллионами простых людей, для взаимного знания и понимания между народами — вот где лежала угроза международному миру и безопасности, а не в давлении на правительства или на граждан в отношении прав человека. Наоборот, такие взаимные мирные вмешательства объединяют людей, позволяя им чувствовать себя частью всемирной человеческой семьи. Возникновение такого чувства, настаивал я, гораздо более важно для мира, чем любые сколь угодно дружеские отношения между правителями. Хорошие официальные отношения между правительствами не означают ровно ничего, если одно из них или оба вместе являются тоталитарными. Добрые отношения с нацистской Германией и позорный мюнхенский период дали Англии и Франции нуль безопасности, а взаимоотношения между нацистской Германией и Советским Союзом были экстрасуперзамечательными именно перед стартом кровавейшей войны между ними.

Предсказывая, что демократия и демилитаризация в СССР будут строго коррелированы, я аргументировал, что в интересах собственной безопасности Запад должен использовать все легальные каналы, чтобы толкать Советский Союз в сторону радикальных демократических реформ. (В частности, я говорил об этом в докладе «Права человека и мир» в Академии наук США 27 апреля 1987 года.) Это означало решительную оппозицию нарушениям прав человека, так как именно их подавление является необходимым условием сохранения самосогласованного тоталитарного режима. Я был уверен, что если Сахаров и другие диссиденты будут освобождены, то, действуя в сторону изменения политической системы, они сделают для дела мира, безопасности и реального разоружения больше, чем все участники официальных и «неофициальных» переговоров Восток — Запад вместе взятые.

Немногие принимали эти аргументы всерьез.

Концепция прав человека для большинства людей остается расплывчатой, тогда как безопасность (в ее узком понимании) определена конкретно в терминах сил обороны и взаимного разоружения.

Более того, часть западного общества всегда воспринимала давление на Советы как дело, достойное лишь оголтелых

реакционеров-антикоммунистов. Наиболее же серьезное и ходовое возражение состояло в том, что русские не готовы к демократии. История показывает, говорили мне, что русские покорны, послушны по природе и в целом не обладают демократической психологией, появляющейся лишь в ходе демократического развития, следовательно, давление в сторону радикальных демократических реформ бесполезно.

История показывает, говорили мне другие, что русские по своей природе склонны к насилию, а демократической психологией, вырастающей в ходе демократического развития, не обладают, следовательно, давление в сторону радикальных реформ опасно. Мы все — и все с этим у нас на Западе согласны — должны быть благодарны Горбачеву и должны поддерживать его.

Это дружеское заключение, высказываемое из лучших побуждений, покоилось на весьма упрощенных и взаимно не согласованных гипотезах о врожденных качествах и историческом опыте народов и на выборочных, не вполне аккуратных обращениях к истории.

Мог ли, скажем, покорный, послушный от природы народ пойти на три революции и одну беспощадную гражданскую войну в течение одного столетия?

Мог ли, с другой стороны, народ, склонный от природы к насилию, терпеть в течение трех десятилетий последовательное уничтожение своих 60 миллионов мирных жизней руками своих же собственных правителей? И так ли уж очевидно, что молчание оставшихся в живых есть то же самое, что молчание рабов?

История показывает, что Россия постепенно приобретала демократический опыт в промежутке 1861–1917 — не бог весть какой, но все же опыт[20].

История, кроме того, показывает, что и наличие демократического опыта не гарантирует сохранность демократии. При всем своем демократическом опыте итальянцы вырастили Муссолини, немцы Гитлера, французы Пэтэна, норвежцы Квислинга, американцы Маккарти…

Так, на основе плохой логики и еще худшего знания истории, некоторые ревностные демократы ревностно отвергали идею мощного давления на СССР с целью проведения фундаментальных демократических реформ.

Я был поражен. Россия была очевидно готова к демократии. Но Запад не был готов к демократии в России.

К счастью, однако, на Венской конференции лишь немногие участники собирались немедленно благодарить Советы за представленные ими прекрасные планы на будущее — что и

обнаружила советская делегация, когда выдвинула сногсшибательное предложение» провести специальную Хельсинкскую конференцию по правам человека в Москве в 1987 году. Это был нонсенс — проводить конференцию по правам человека в стране, где тысячи политзаключенных все еще томились в лагерях, часть — в спецпсихушках, где один из величайших людей и ученых все еще находился под фактическим домашним арестом, где продолжали преследовать даже несанкционированные группы сторонников мира! Это как если бы нацистская Германия предложила провести всемирную конференцию по генетике в Берлине.

Хотя большинство западных делегаций чувствовало себя, так сказать, неловко от советского предложения, а английская, канадская и американская считали его совершенно смехотворным, я предвидел, имея некоторый опыт общения с Западом, что большинство глав государств не воспримут идею простого бойкота такой конференции. После недавно узаконенной Горбачевым гласности на Западе началась интересная эпидемия горбомании, и миллионы людей обратили свои взоры к этому человеку, в котором видели либерального царя отсталого народа.

Западные правительства могли, однако, поставить ряд непременных условий проведения конференции, и — что было им не очевидно, но на чем я настаивал — **эти условия могли быть Советами приняты.** Потому что было ясно, что при всем своем блефовании, советский режим должен был испытывать очень тяжкий кризис, если он решился на такой новый и непредсказуемый по последствиям процесс, как гласность. Правда, что государственная монополия на информацию уже была разрушена Солженицыным, Сахаровым и диссидентами, которые практиковали свою собственную гласность целую четверть века. Но когда я в частном письме к конгрессмену мадам Фенвик много лет назад отметил, что мы, диссиденты, бросаемся на колючую проволоку в надежде, что по нашим телам пройдут другие, я никак не ожидал, что этими «другими» окажутся члены Политбюро! Очевидно, Советы отчаянно нуждались в западной помощи. И если им это надо, и по этой причине они обеспокоены «имиджем», то есть образом СССР как цивилизованного государства, то пусть они и принимают условия, абсолютно нормальные для любого цивилизованного государства. Главным условием должно быть, конечно, освобождение всех политзаключенных. В прочие условия должны обязательно входить: свободный доступ на конференцию независимых журналистов и правозащитников из Восточной Европы и

Советского Союза и возможность принесения жалоб делегатам рядовыми гражданами без преследования за это властями ни во время, ни после конференции.

Когда я уезжал из Вены в начале декабря, большинство делегаций начали принимать идею Московской конференции по правам человека **с условиями.**

Маргарет Тэтчер, однако, решительно отвергала эту конференцию в какой бы то ни было форме. Поэтому, когда я встречался с ней на обратном пути в Америку, я высказал свое мнение, что принять советское предложение можно, наложив строгие сопровождающие условия. Я добавил, что если у Запада не хватит духу настаивать на принятии и выполнении условий, то тогда, конечно, лучше предложение СССР не принимать.

8 декабря 1986 года, когда советская делегация все еще радушно раскрывала московские объятия, погиб Анатолий Марченко. Голодовка блестящего писателя, индустриального рабочего, мирного бойца против государственного насилия была доведена до конца. Делегаты Венской конференции знали о его обращении к ним по поводу политической амнистии, тайно доставленном из Чистопольской тюрьмы с помощью его жены Ларисы Богораз, широко известной диссидентки. Смерть Марченко обсуждалась делегатами, в частности в связи с Московской конференцией.

Через два месяца Советы вынуждены были объявить, что они освободят людей, осужденных по статье 70, по причинам «затруднений в международных отношениях Советского Союза, вызываемых наличием таких заключенных», как объяснил посол Кашлев.

После этого месяц за месяцем заключенных действительно освобождали, но малыми каплями — каплями крови, выжимаемой из камня. Месяц за месяцем западные делегации в Вене не сдавались в подходе к Московской конференции, и новые группы политзаключенных выходили из лагерей.

Наконец, в декабре 1988, когда большинство заключенных было освобождено, американская делегация под давлением госдепартамента согласилась на советское предложение в принципе. Несогласные англичане и еще более несогласные канадцы после этого согласились также. Спорная Московская конференция была запланирована на 1991 год.

В начале февраля 1987, в тот самый месяц, когда начали освобождать политических заключенных, до той поры официально не существовавших в природе, я возвратился к научной работе — после тринадцати лет насильственного

перерыва.

Прекрасная холмистая местность вокруг Корнелльского университета, город Итака, штат Нью-Йорк, напоминала Подмосковье. Работа исследователя в лаборатории ядерной физики представлялась идеальной. Неидеальным было то, что пришлось ехать в Итаку одному.

Как оказалось, Ирина полетела со мной из Москвы в Америку только из страха, что если она откажется, то это осложнит мое освобождение. Придя, однако, в отчаяние от разлуки — как выяснилось, с моим старым другом Сашей Барабановым, она вернулась к нему в Москву как раз перед моим переездом в Итаку. Ну, что ж, лучше к другу, чем к врагу.

Началось то, что, как я надеялся, было последним в моей жизни стартом новой жизни. Устроиться мне помогал Курт Готтфрид, прекрасный физик, очень симпатичный человек и активнейший член комитета SOS («Сахаров, Орлов, Щаранский»). Мне он понравился с самой первой встречи, и я принял приглашение именно этого университета частично благодаря ему. Курт помогал мне организовать изучение английского, когда Слава Паперно, лингвист, порекомендовал мне учителя — очень строгого ума женщину, преподававшую writing — составление аналитических эссе, кроме того, изучавшую русский в Славином классе и, кроме того, очень удобно жившую в одном со мной доме этажом ниже. Первый урок продолжался не час, а четыре — в непримиримых дебатах о Чехове, в которых я использовал свои двадцать английских слов, а она сто русских. День шел за днем, мой английский становился все лучше, ее русский все хуже, пока мы не купили дом в лесной стороне, двенадцать минут езды до лаборатории, и не женились после моего развода с Ириной.

Быть, наконец, свободным для физики — одно дело, реально делать физику — другое. Деликатные и терпеливые коллеги ничего от меня не требовали, но мои мозги в ту первую Корнелльскую зиму, казалось, были заморожены. Лица по-прежнему запоминались расплывчато, бормотали все на каком-то языке, который должен бы быть английским, но был едва понятен, и помимо всего ужасающее множество писем, часть, вероятно, с личными просьбами, приходило со всего света и накапливалось, накапливалось вместе со стрессовым чувством вины: я не мог не только ответить на них, но даже и прочесть.

Как освобождение пришли два «правозащитных» путешествия в течение трех весенних недель: у меня по крайней мере появился переводчик. Во вторую из этих поездок я снова встретился с Маргарет Тэтчер, которая хотела поговорить со мной перед своим

визитом к Горбачеву в Москву. Поругав Горбачева за его внутренние противоречивые попытки спасти одновременно и страну, и партию, я дал ей затем список заключенных верующих, подготовленным Хельсинкской группой в Нью-Йорке. Она обещала помочь. Затем попросила представить что-нибудь положительное для дискуссий с Горбачевым. «Хорошо. У каждого из вас ведется перестройка, — предложил я. — Вы могли бы провести сравнение ваших трудностей».

Следуя своему правилу встречаться с представителями разных частей политического спектра, я договорился в Лондоне о встрече также с бывшим министром иностранных дел в лейбористском правительстве Дэвидом Оуэном.

Развитие событий в Советском Союзе было для него захватывающей загадкой.

— Почему Горбачев начал перестройку? — спросил он.

— Совершенно очевидный экономический кризис, — ответил я.

Мне показалось по его недоуменному взгляду что ответ остался ему непонятным. Вероятно, подобно многим другим людям, с которыми я тогда разговаривал, он просто не допускал мысли о возможности кризиса в плановой системе. Западу потребовалось очень много времени, чтобы разглядеть экономическую катастрофу в СССР (очевидную для советских диссидентов), даже после того, как сам Горбачев приоткрыл, наконец, публике свою главную проблему. Вследствие десятилетий фантастической статистики, которую на Западе не только принимали, но иногда и сами подкрашивали, первые советские сдавленные крики о помощи, которые можно было бы по меньшей мере учесть в политической игре с Советами, на самом деле просто не были услышаны.

Фантастические правозащитные проекты Советов на Венской конференции все еще не срабатывали, когда я снова обсуждал их с делегациями в октябре 1987 года. Но к этому времени Франция выдвинула предложение поделить дипломатически трудный орех Московской конференции на три части: провести первую конференцию по правам человека в Париже в 1989, вторую — в Копенгагене в 1990 и только уже третью — в Москве в 1991 году, что давало СССР время и шанс приблизиться к международным стандартам. Однако, хотя освобождение политзаключенных продолжалось, советские представители твердо отказывались принять остальные условия конференции.

Небольшая трещина в этой стене появилась как раз во время моего визита, когда глава московской делегации Юрий Кашлев огласил советскую уступку: московская конференция будет

открытой для публики.

Моя задача была теперь разъяснить западным делегатам, что такая формулировка еще недостаточно ясна и оставляет простор для махинаций. Мой суд в 1978 году был тоже, например, объявлен «открытым для публики», что фактически значило — для публики, специально отобранной. КГБ набивал зал заседаний, а для остальных — «извините, мест больше нет!»

В середине моей второй западной зимы пришло письмо из Йелльского университета от Вернона Хьюза, возглавлявшего большую международную группу физиков, планировавших новое прецизионное измерение аномального магнитного момента мюона.

Хьюз прислал мне статьи, отчеты, личное приглашение участвовать в следующем заседании и копию моего письма двадцатилетней давности из Еревана в ЦЕРН, посланного, когда там проводился аналогичный эксперимент.

Изучая материалы, я начал проводить вычисления и вдруг с радостью почувствовал, что, наконец, возвращаюсь в физику. С этого момента модель моей жизни на Западе установилась: равновесие между работой в науке, что было основным, и деятельностью по правам человека. Я начал участвовать в обсуждениях мюонного эксперимента, проходивших регулярно в Брукхейвене, комбинируя, например, поездки туда с посещениями Хельсинкской группы в Нью-Йорке, руководимой Бобом Бернстайном, Ариеном Найером и Джерри Лэйбер. В Корнелле же начал пробовать ставить эксперимент по проверке своих старых идей волновой логики.

В мае 1988 я встретился с государственным секретарем Шульцем, а затем вместе с другими диссидентами в изгнании — с президентом Рейганом перед их с Шульцем поездкой в Москву. Шульца интересовала в этот раз общая политическая и экономическая ситуация в Советском Союзе и возможная будущая структура СССР («Это будет конфедерация», — предположил я). Со своей стороны я попросил его и позднее президента встретиться в Москве не только с отказниками, желавшими выехать из страны, но также, и притом отдельно, с диссидентами, целью которых было изменение самого советского режима — что было Рейганом и Шульцем сделано. Отдельные встречи с диссидентами были важны для поднятия их престижа, для их безопасности, а также для их признания на Западе, где диссидентов часто путают с отказниками, а также для напоминания всем, что существует целый спектр проблем прав человека в СССР, а не только проблема эмиграции.

Двумя месяцами позже, уложив четыре чемодана книг и немного одежды, мы переехали в маленький город во Франции, недалеко от границы с Швейцарией. Мой старый друг Пьер Лефевр и новые друзья Дитер Мель и Симон Ван дер Меер пригласили меня на один год в ЦЕРН (Общеевропейский центр ядерных исследований), в группу антипротонного накопителя. Наш дом, соседние деревни, поля, коровьи и овечьи выгоны, дороги и речки — все это было в самом центре замечательного подземного сооружения, имеющего вид баранки двадцать семь километров окружностью, расположенной на глубине 50 метров.

Это был LEP — стремительно строившийся электрон-позитронный накопитель, в котором должны были изучать столкновения электронов и позитронов с энергиями пятьдесят-сто миллиардов электрон-вольт. Карло Руббиа, выбранный следующим директором ЦЕРНа, сказал мне, что LEP был в известном смысле реализацией моего двадцатилетней давности предложения, которое первоначально некоторые физики оценивали как бредовое. Я был счастлив теперь работать в ЦЕРНе. Мне удалось вместе с другими физиками помочь увеличить интенсивность антипротонов в полтора раза. Метод получил название «сотрясение». К сожалению, я реализовал не все свои идеи.

В те дни научный мир был потрясен открытием «холодного ядерного синтеза» — термоядерной реакции при комнатной температуре, сулящей неиссякаемый сверхдешевый источник тепловой энергии. Не поверив в это открытие ни на грош, я предложил научному руководителю LEP Эмилио Пикассо поставить наш собственный эксперимент по холодному синтезу, в котором мы бы использовали не обычную тяжелую воду, а тяжелую русскую водку[21]. «Мы получим огромное количество тепла, нейтронов, гамма-квантов и вообще чего угодно, — убеждал я его. — Зависит лишь от количества тяжелой водки. И пошлем результаты на публикацию в научный журнал». Но Эмилио отказался.

Десять лет заключения сделали меня теперь арестантом времени: слишком мало лет осталось на науку, слишком мало часов в сутках — на исследования, права человека и писание этой книги. Мне поэтому не удалось по-настоящему разглядеть изумительные швейцарские горы, окружавшие ЦЕРН, и вообще что-либо, кроме своего офиса, пультов управления накопителями, да своего домашнего кабинета. Зато дружеская теплота, окружавшая нас в ЦЕРНе, компенсировала все эти потери. Пьер и Дитер смотрели за мной, как бабушка за дитем. Жорж Шарпак, знаменитый изобретатель проволочных камер для регистрации

элементарных частиц, нередко привозил нас с женой на своей говорящей по-французски машине к себе домой, где можно было расслабиться и выпить вина на выбор: заложенного ли в год моего ареста или суда, или освобождения. Сам Шарпак в годы войны побывал в нацистском концлагере. Среди новых друзей, казавшихся нам друзьями старыми, были Макс и Аня Рейнхарцы. Все были членами комитета в мою защиту в дни моего заключения.

Хорошо работать среди товарищей, боровшихся за тебя так долго и самоотверженно и добившихся твоего освобождения! Одни бойкотировали из-за меня советские научные конференции, другие направляли протесты, третьи, точнее все вместе, носили майки «СВОБОДУ ОРЛОВУ!». Когда мы приехали в ЦЕРН, плакаты с моими фотографиями и требованиями освобождения все еще висели на стенах и дверях лабораторий, многие люди еще хранили эти майки, а «Комитет Юрия Орлова», занятый теперь защитой ученых во всем мире, все еще носил свое старое имя, пока я не попросил изменить название — ведь я был на свободе. Когда мне окольными путями доставили обращение с просьбой о помощи от жен арестованных членов армянского Комитета «Карабах», состоявшего в большинстве из ученых, я информировал членов комитета, и они провели очень сильную кампанию протеста.

В конце ноября 1988 года я в последний раз прилетел на Венскую конференцию, приглашенный еще раз обсудить Московскую конференцию с главой американской делегации Уореном Циммерманом и другими представителями. Я еще раз объяснил свою позицию: «Согласиться, но поставив твердые условия», и, кроме того, принял небольшое участие в неофициальных обсуждениях заключительного документа Конференции. Специальный пункт об «открытости и свободном доступе» на все Хельсинкские конференции, сформулированный в специфическом стиле контракта между сторонами, которые хорошо знают друг друга и не доверяют друг другу, был дипломатично вставлен в заключительное заявление председателя, в приложении на последней странице. Страна — потенциальный нарушитель — не называлась. Сам заключительный документ Венской конференции был гораздо более конкретен и детален в части прав человека, чем первоначальный Хельсинкский акт 1975 года, и включал теперь механизм защиты жертв преследований, а также некоторые гарантии для общественных мониторов (наблюдателей). Однако само слово мониторы, на включении которого я настаивал,

отсутствовало. Оно было исключено после советской угрозы не подписывать документ. (На конференции был принят принцип консенсуса.) Тем не менее Москва уступила чрезвычайно много, согласилась, в частности, что нарушения прав человека не являются внутренней проблемой, на что она никогда раньше не соглашалась. Это было определенно следствием длительного западного давления, которое в Вене стало много сильнее, чем в Мадриде 1982 года, и много-много сильнее, чем в Белграде 1978 года.

Западные дипломаты говорили мне несколько раз, что это давление было инициировано советскими диссидентами, особенно советским Хельсинкским движением. Мы показали, объяснили мне, что существует возможность использования правозащитных статей Хельсинкского акта, продемонстрировали, как их использовать, и дали такой моральный пример, который Запад не мог игнорировать. Слушая это, я испытывал чувство удовлетворения, но не победы. Россия была все еще тесна для нас двоих — меня и КГБ, и они там еще не планировали освобождать пространство.

Глава двадцать четвертая
На переломе

Быть снова в России — все равно что встретить когда-то страстно любимую, сумасшедшую и недобрую женщину, ради которой испытал страдания, унижения и отчаяние. От старой проклятой любви осталась — любовь. Но смешанная теперь с жалостью и с долей отвращения.

3 июня 1989 года я снова очутился в Москве.

Мой старый друг Александр Скринский, ставший после Будкера директором Института ядерной физики СОАН СССР, а в последнее время и завотделением ядерной физики Академии наук, во время своего визита в ЦЕРН пригласил меня в свой институт на международное научное совещание. Институт его один из лучших в стране, приглашение поддержала Академия наук, что было некоторой гарантией осуществимости. Не поехав, я бы, может, навсегда потерял шанс увидеть детей: Саше, математическому физику, уже отказали в выездной визе ко мне во Францию на том основании, что он знает якобы государственные секреты, это Саша-то, всю жизнь обходивший секретность за сто верст. Учтя все это, я заполнил анкеты на получение въездной визы.

По советскому обычаю мне в визе отказали в последнюю минуту, перед самым началом научного совещания. Зато моей жене-гуманитарию эти артисты выписали самую впечатляющую визу во всей новой европейской истории. Ее назвали специалистом по науке и технике, приглашение выписали от Государственного комитета по атомной энергии, о существовании которого она никогда не слышала, а теперь, услышав, тут же позабыла. Ей было разрешено посетить полусекретные институты Главатома, о которых она ничего не знала в прошлом и не собиралась узнавать в будущем. Что касается меня, то госдепартамент США, Хельсинкские группы, физики ЦЕРНа, ДЭЗИ (Гамбург) и люди в СССР, включая моих друзей Льва Окуня, Андрея Дмитриевича Сахарова и Евгения Тарасова, — все пытались помочь.

Прошла неделя, совещание заканчивалось. Да черт с ними, подумал я, и мы с женой отправились в Париж, на ту самую конференцию по правам человека 1989 года, которая была согласована в Вене. В Париже нам несколько панически передали, что десятидневная виза в Москву на закрывшееся совещание в Новосибирске ожидает нас сразу в трех советских консульствах —

в Женеве, Вашингтоне и Берне. Явление чисто советское. Несмотря на всю «перестройку», вице-президенту Академии наук Осипьяну понадобилось обратиться к Чебрикову, члену Политбюро и бывшему шефу КГБ, и тот неожиданно санкционировал мой приезд.

Жене пришлось в течение одного дня слетать в Женеву и обратно — за визой и барахлом, которое мы на всякий случай давно закупили для моих сыновей.

На следующее утро вылетели из Парижа в Москву. Три дня из десяти уже были потеряны, а о совещании в Новосибирске следовало просто забыть. С чемоданами, набитыми научными бумагами и подарками, и с парижской бутылкой московской водки мы высадились в «Шереметьеве», где друзья посадили нас в черную «Волгу», теперь, правда, академическую, и привезли на знакомую мне в подробностях квартиру Евгения Куприяновича Тарасова. Столько чаю было вместе выпито на этой кухне! В том же доме жили с Галей и мои сыновья Дима и Саша, в квартире, которую нам выдали от ИТЭФ много лет назад. Совсем рядом был и сам ИТЭФ, где я предполагал на двух семинарах рассказать о своих работах в ЦЕРНе и Корнелле и где совет трудового коллектива, несмотря на отчаянное сопротивление парткома и директора, принял недавно обращение к Верховному суду РСФСР о пересмотре моего дела[22].

Всю эту неделю с утра до поздней ночи квартира Тарасова пребывала в режиме оккупации. Униатские священники с Закарпатья с просьбой передать их петицию на парижскую конференцию по правам человека. Журналистка из «Огонька», решившая проинтервьюировать меня на авось — может, Коротич согласится опубликовать[23]. Фотограф, принесший секретно сделанные им снимки Сахарова перед зданием суда на моем процессе 1978 года. Московские друзья и соседи, приходившие в любое время — посидеть за большим столом в большой прихожей или на маленькой кухне, или в комнатах, порасспрашивать меня о том о сем, а когда меня не было, то поговорить между собой и посмотреть сообща политические теленовости.

Саша Подрабинек, освобожденный из ссылки, но не получивший вида на жительство в Москве, приехав с женою и двумя детьми из своего подмосковного городишки, заодно взял интервью для «Экспресс-хроники».

Женин брат приехал из Тулы с тульским пряником от Зинаиды Афанасьевны, прятавшей меня в своем доме в 1977 году. Сама она была теперь слишком стара и слаба для путешествий.

Сангарский друг Миша Горностаев прилетел из Минска, куда он теперь с женою и детьми возвратился из Якутии.

И, наконец, из далекого Калининграда прибыл мой сын Лева.

Было бы идеально встретиться и с кобяйскими друзьями Тамарой Алексеевной и Ниной Ивановной, но Тамару мы не нашли, а Нина Ивановна на мое предложение ответила, что ей не поспеть за такое короткое время добраться до Москвы. Дина? Барахло? Исчезли бесследно.

Доктор Тарасов невозмутимо управлял моим расписанием, и, кроме того, передвигал меня по Москве на своем двадцатисемилетнем москвиче, чуде-юде, которое он мастерски поддерживал в живом состоянии.

Сын Лева поставил нам с женой послушать записи своей музыки, потом продемонстрировал игру на синтезаторе, который мы ему недавно прислали, и в заключение сводил на знаменитый в те дни Измайловский свободный рынок ремесленных поделок.

С Димой и Сашей мы просто гуляли — по утрам, вечерам, в ближайших окрестностях, по дворовым аллеям, по улице Черемушкинской, мимо заборов ИТЭФ. На грустные воспоминания наводили эти заборы. Здесь, в этом институте, тридцать шесть лет назад успешно начиналась моя карьера и отсюда тремя годами позже меня выкинули по приказу Политбюро, искалечив мою научную и нашу семейную жизнь.

Москва поразила меня бедностью и запущенностью. Неубранного мусора было больше, чем двенадцать лет назад. Я узнавал знакомую арматуру, трубу, рельсы, брошенные когда-то как попало между домами. На улицах, в трамваях, в конторах люди глядели устало и хмуро. Меньше продуктов, больше очередей, сахар и мыло — по талонам. Мила Тарасова неделями накапливала то мясо, которым нас радушно угощала. Причем Москва была все еще выставкой для иностранцев, а как же в провинции?

Признаки надвигавшейся экономической катастрофы были всюду. Катастрофы не избежать, так как советская система не работала уже давно — факт, не известный только западным советологам да тем советским гражданам, которые привыкли черпать мясной суп не из собственных кастрюль, а из советских газет. С тех пор как коммунисты прикончили временно введенный ими же НЭП, экономическое развитие страны поддерживалось искусственно, с помощью комбинации государственного терроризма сверху, слепого энтузиазма снизу и самопожирания со всех сторон. Ученые, творящие в шарагах, заключенные рабы, созидающие в лагерях, заграничные машины, обмениваемые на зерно, вырванное изо ртов умирающих крестьян. Ради чистоты эксперимента наш народ систематически уничтожал наиболее продуктивную часть самого себя. За

полстолетия после революции мы выжали из себя все, все живые соки, и началось неотвратимое, ускоряющееся падение. Коррупция, беспрецедентная в новейшей истории. Стремительное технологическое отставание. И постоянно сохраняемая неразвитость социальной сферы, особенно питания и жилья, отбросившая страну в разряд не третьего уже, а четвертого мира. Таков конечный результат эксперимента. На семидесятом году социалистической революции среди простого народа уже трудно найти дурака, который бы верил в догму глобального «научного» центрального планирования — эту не человеческую, а рассчитанную на автоматов и потому не работающую ненаучную догму; верил бы в фантастические цели, спускаемые сверху вместе с принудительными методами, без которых таких целей невозможно достичь даже на время. Через семьдесят лет после революции у советских людей оказалось меньше мяса, чем при царе.

ВО ИМЯ ЭТОГО ЛИ ПОГУБИЛИ МИЛЛИОНЫ ЖИЗНЕЙ В ЛАГЕРЯХ? Зачем увлекли людей в пучину радикального социального эксперимента? Почему не проверили теорию вначале на крысах?

С самого начала в нашей новейшей истории переплелись две линии. Одна — чистая и пьянящая мечта о рае для людей здесь, на земле, который наступит не в бесконечности — при жизни наших детей или внуков, или правнуков. И другая — кошмарная вера, что рай можно построить, только уничтожив всех, кто не любит нашу мечту, кто не нашего поля ягода, кто сопротивляется. Россия двадцатого века похожа на того прекрасного гениального молодого человека, который решил посвятить себя добру, построил неопровержимую схему универсального счастья и во имя этого — временно, конечно, временно — связал свою судьбу с убийцами, ибо по-другому не получилось. Он прошел вместе с ними через все преступления, усвоил все пороки. Жизнь шла сплошным черновиком, беловик откладывался на завтра, которое не наступило. И вот — финал. Душа опустошена, ничему не научился, веры нет, молодость, здоровье, талант растрачены. Он внезапно поглядел на себя — и ужаснулся. Жизнь потеряна! Что делать?

Пытаясь спасти от банкротства и партию, и будущее страны как мировой державы, партаппарат искал Спасителя. И Спаситель нашелся — Горбачев. Ему не просто позволили начать реформы, ему не просто доверились, нет, они схватились всеми руками за него в надежде, что он вытащит их и страну из пропасти. Их верный сын объявил перестройку и гласность как тактическое решение стратегической проблемы. Перестройка означала некую

неопределенную экономическую реконструкцию, а гласность — официально регулируемую свободу получать и передавать информацию и критиковать бюрократов, введенная в помощь таинственной перестройке, она имела задачей бороться с коррупцией и неэффективностью, а также генерировать новые идеи. Замечательный отчаянный шаг, но — мина, подложенная под самих себя.

Разве для Политбюро не было ясно заранее, что из этой прочной ленинско-сталинской конструкции нельзя вытащить ни единого блока, не разрушив всей конструкции? Нет, они определенно понимали опасность реформ. Хрущев начал, сделал много — и отшатнулся. Его преемники пробовали — и спешно отступали, опасаясь обрушить основную конструкцию. Тянули, пока эта конструкция не начала рушиться сама, под собственной тяжестью. Но и теперь туманная горбачевская перестройка несет на себе то же клеймо того же страха и уже поэтому обречена на провал, не говоря о том, что она начата слишком поздно. Любая «перестройка» этой системы не есть перестройка без фундаментальной реконструкции всей политической системы, а именно это и не входило в планы Политбюро. Управляемая гласность казалась им чем-то менее радикальным. Но чего Горбачеву действительно следовало бояться, так это именно гласности. Столь самоуверенно введя ее, он неумышленно разорвал сеть глобальной, всепроникающей лжи, лежащей в основе, в фундаменте этой системы, и тем самым инициировал начало финальной драмы двадцатого столетия: агонизирующий распад последней в мире империи и окончательный крах великой фантазии огромного народа.

Страна была уже подготовлена к этому психологически после четверти века тайных чтений и обсуждений идей Сахарова, Солженицина и диссидентов. Советские граждане начали выводить гласность за пределы своих кухонь и шаг за шагом во все возрастающем темпе, мирно, но неудержимо, двигали границы горбачевской гласности в направлении диссидентской концепции: свободы слова в западном смысле как фундаментального права человека. Народ, сами люди родили ту гласность, которую учебники истории будут всегда связывать с именем одного Горбачева.

Что касается перестройки, то рабочих она оставила равнодушными с самого начала, а к моменту моего прибытия в Москву в июне 1989 и интеллигенция, когда-то возлагавшая на нее надежды, смотрела на «перестройку» пессимистически.

Гласность по-прежнему возбуждала и радовала людей. Этим возбуждением был насыщен сам воздух столицы. Как раз в эти

дни проходила первая сессия Первого съезда народных депутатов, которая напрямую транслировалась по телевидению по настоянию Горбачева. Он, собственно, его и создал как некий полудемократический — под его контролем — орган для обсуждения государственно важной информации и государственно полезных идей, в котором лояльное к КПСС большинство играло бы роль регулятора. Плохо понимая, что свобода слова не может вводиться малыми частями, пилюля за пилюлей, — она либо есть, либо ее нет, — Горбачев получил эффект, которого не ожидал. В квартирах, во дворах, на улицах и даже в черных «Волгах» — по всей стране — люди с напряжением слушали обвинительные речи: московского депутата Юрия Власова, критиковавшего КГБ, депутатов прибалтийских республик, требовавших полной экономической независимости от Москвы, узбекского депутата Адила Якубова, описавшего жизнь кишлачных детей, здоровье которых настолько разрушается недоеданием, пестицидами и недетским трудом на хлопковых волях по двенадцать часов в день без выходных, что их потом отказываются брать в армию. Вся страна слушала депутата академика Андрея Дмитриевича Сахарова, требовавшего передачи всей власти от партаппарата Съезду и советам и возвращения земли крестьянам. И вся страна видела и слышала организованную на галереях шумную обструкцию академику и резкие замечания Горбачева, даже отключившего однажды микрофон. Первый съезд в лице его демократической части дал миллионам советских граждан первый урок будущего гражданского общества.

Каждый вечер в эти дни «Мемориал» организовывал массовые митинги в Лужниках. Горбачев и в этом случае, под давлением московских депутатов, дал свое особое разрешение.

Я присутствовал несколько раз на этих все еще экстраординарных для советской истории собраниях, председательствовал на которых мой друг физик Лев Пономарев.

В один из вечеров, 5 июня, на огромной площади набилось около сорока тысяч человек — люди всех возрастов и положений. Над головами развевались флаги разных партий, союзов и фронтов — трехцветный Демсоюза, черные с красными звездами анархосиндикалистов, андреевские белые с голубым крестом Русского национального фронта и еще черт знает какие; транспаранты и лозунги в поддержку демократических депутатов Съезда, Андрея Сахарова, Бориса Ельцина, в защиту демократов Грузии, Армении, Прибалтики, против партаппарата и консервативного большинства Конгресса, против Горбачева — за его поддержку партаппарата. И только красных флагов не было

видно совсем.

Нет, мы жертвовали собой не напрасно, думал я, протискиваясь сквозь плотную массу митингующих. Потребовалось полчаса, чтобы добраться до платформы для ораторов.

Я поспел как раз к выступлению отца Глеба Якунина, моего старого друга и соседа по заключению. Затем выступали демократические депутаты Съезда, описывая обстановку на сессии этого дня, затем Ельцин. Он был в то время член ЦК и всего лишь один из депутатов Съезда, но также популярный герой, знаменитый критик Горбачева. Его прибытие на митинг в окружении нешуточной жестколицей охраны напоминало нам с женой предвыборные кампании американских кандидатов в президенты. Ему проложили путь на трибуну, и перед экзальтированно приветствующей его толпой он произнес спокойную, добрую речь в защиту Сахарова, на которого как раз в тот день грубо нападали на Съезде. Фигура Ельцина остро интересовала меня давно. Был ли он просто популистом, как усердно утверждали московские интеллектуалы? Совершенно очевидно, что нет. Популист не стал бы здесь, перед огромной толпой простых в большинстве людей посвящать свою речь исключительно защите самого известного интеллектуала России.

Ельцин закончил. Лев Пономарев просил выступить меня. Вначале я поздравил присутствующих — я видел перед собой людей внутренне свободных, разительно отличавшихся от них же самих, что были двенадцать лет назад, когда я видел Москву свободно последний раз. Затем, имея в виду мои недавние беседы с Валенсой в Страсбурге, Михником, Куронем и другими лидерами «Солидарности» в Варшаве, я призвал демократов следовать примеру польской «Солидарности», где в конце концов возник союз интеллектуалов и рабочих. В борьбе за демократию и одновременно за лучшие условия жизни, говорил я, необходима солидарность между демократической интеллигенцией и рабочими. В заключение я сказал, что необходимо срочно создавать вторую массовую, миролюбивую — в отличие от коммунистической — партию, которая, во-первых, стала бы противовесом и конкурентом КПСС, и, во-вторых, могла бы направлять будущее рабочее движение в русло современной политической борьбы с ее цивилизованными методами. (Ельцин был бы отличным лидером такой партии, подумал я. О нем я писал еще за год до того в статье «До и после гласности», Commentary, 1988.) После моей речи по предложению Льва Пономарева митинг принял резолюцию с требованием вернуть гражданство Солженицыну, Орлову и Буковскому.

Когда я ушел с трибуны, меня окружили активисты правозащитных групп, из далеких рядов передавали записки и большие тексты, просьбы об организации помощи и личные послания, одно — моему сыну Льву.

Два милиционера на железнодорожной насыпи далеко позади площади все еще дежурили на своих постах. В их темных силуэтах на фоне бледного вечернего неба чудилась неясная угроза. Но это был лишь оптический эффект сумеречного света: не более двадцати милиционеров присутствовало на этом огромном митинге с совершенно очевидной задачей охраны, никак не угрозы.

В наш последний день в Москве мы с женой, Галей и Димой поехали в крематорий посетить могилу моей матери. Крематорий лепился к стенам Донского монастыря, в котором я когда-то, маленьким мальчиком, гулял по утрам меж древних могильных камней. Кожгалантерейной фабрики внутри монастыря уж давно не было, только один случайный старик и помнил о ней. Церковь и другие здания были покрыты строительными лесами. Старинное кладбище, заросшее травой, кустами и деревьями, содержалось в порядке. Крематорий располагался с наружной стороны монастырской стены. Крохотный участочек земли под стеною с урной матери был опрятен, выбранная мною фотография, перенесенная на камень много лет назад, хорошо сохранилась. Со стены глядело красивое молодое лицо, как она и просила. Она была похожа на Кармен.

В тот же вечер Брыксины давали прощальный ужин. «Бы живы и здоровы, это самое главное», — говорила Екатерина Михайловна, крепко обнимая меня. Сама она стала почти слепой. Аня, Нона, мужья и дети — все были в сборе, вместе с моими сыновьями и с Тарасовыми. Сахаровым нужно было отдохнуть после баталий Съезда, но других московских диссидентов Анечка и Нона собрали. Лариса Богораз пришла вместе с ее выросшим сыном Пашей, очень похожим на своего отца — Марченко, с лицом красивым и явственно смелым.

Все, конечно, чуть-чуть постарели и, может, чуть-чуть погрустнели, но были живы, это главное. Отец Глеб продолжал защиту прав верующих, Сергей Ковалев и Лариса также продолжали свою правозащитную деятельность, в частности в международных организациях. Таня Великанова решила заняться исключительно преподаванием, потому что, говорила она, теперь идет борьба политическая, а это ей совсем не по душе и не по таланту. Софье Васильевне Калистратовой вновь разрешили адвокатскую практику и закрыли ей уголовное дело, открытое семь лет назад из-за работы в Хельсинкской группе.

Мы сидели под фотографией Ивана Емельяновича Брыксина, висевшей высоко на стене, закусывали, произносили тосты, обменивались шутками, как в старые дни. Начали играть на фортепьяно. Екатерина Михайловна запела русские романсы своим по-прежнему чистым и легким голосом. Внезапно перешли на фокстрот, и мы с ней танцевали как прежде — до упаду.

На одном из парижских рабочих совещаний Конференции по правам человека (или, как ее переименовали, «по человеческому измерению») я, как кооптированный член американской делегации, доложил о своем поездке в Москву. Затем мы с женой вернулись в Женеву.

Пора было готовиться к возврату домой — в Итаку.

В один из моих последних дней в ЦЕРНе я в последний раз встретился с Андреем Дмитриевичем Сахаровым.

Наша предыдущая встреча в Париже, первая после моего ареста, была слишком коротка и довольно формальна — вначале во время гигантской церемонии, устроенной президентом Миттераном в честь сорокалетия Всеобщей декларации прав человека ООН, а затем на небольшой частной встрече с французскими учеными, боровшимися за освобождение нас обоих.

На этот раз Сахаров и Елена Боннэр провели почти полдня с нашим ЦЕРНовским правозащитным комитетом, который пригласил, кроме того, двух китайских студентов, участвующих в демократическом движении. Кровавая расправа на площади Тяньяньмынь произошла менее двух месяцев тому назад и мы хотели понять, каким образом лучше всего помочь преследуемым китайским ученым и студентам. Сахаров в общем предпочитал, так же как и я, бойкот официальных научных конференций, проводимых в Китае. Я уверен, будь он жив, он бы поддержал в следующую весну ту кампанию в защиту астрофизика Фан Лижи, «китайского Сахарова», которую удалось успешно провести американским правозащитным организациям Asia Watch, Мемориальному центру им. Роберта Кеннеди и мне.

Вечером, получив редкую возможность побыть просто в тишине и спокойствии, мы ели суп в опутанной виноградом беседке в доме наших друзей. Сахаров сказал, что ему понравилась моя речь в Лужниках. Это меня очень обрадовало, потому что до сих пор он еще не имел достаточно тесных контактов с рабочими, а союз между интеллектуалами и рабочими, по моему мнению, был необходим для победы над режимом, я говорил об этом в той речи. В конце вечера они с Еленой вспоминали об их столкновении с милицией у здания суда на моем процессе. Так он и запомнился мне — закутанный в

тигровую шаль моей жены в вечерней прохладе беседки, с чашкой чая в руке, шутливо описывавший стычку с милицией. Пятью месяцами позже он внезапно умер в своей квартире, накануне того, что должно было стать, как он говорил Елене Георгиевне, битвой на Съезде. Сахаров уже изменил течение советской истории. Проживи он больше, он бы изменил ее еще больше. К концу жизни он без всякого труда, одним махом овладел искусством высокой политики, вел тяжелые битвы на Съезде, встречался с рабочими, формулировал новую конституцию, которую я бы назвал «Конституцией прав человека». Единственный общественный деятель, приемлемый для всех частей этой слишком огромной страны, Сахаров мог бы стать у руля всего общества, смертельно уставшего от самого себя, но все еще способного слушать человека великой чести, великих профессиональных качеств, великих страданий и великой точности ума.

После смерти Сахарова я подумал, что, может быть, было бы полезно представить свою точку зрения на будущее политическое устройство страны на одном из собраний Межрегиональной депутатской группы, организованной еще Сахаровым. Уже было договорено о поездке в Москву, когда советское консульство в Вашингтоне начало свои обычные игры: вначале «Мы ждем разрешения из Москвы», а затем, в последнюю минуту перед отлетом, доверительное признание нанятому нами агентству путешествий, что имеется список лиц, которым визы давать запрещено, и Орлов — в списке. Что же, эти по крайней мере не грубили. Сотрудники же чешского консульства, отказавшие мне за месяц до того в визите к только что избранному президенту Чехословакии, в ответ на замечание, что Орлов получил приглашение от Вацлава Гавела, глумливо заявили: «А кто такой Павел, в конце концов?» Настолько, видно, эти идиоты были уверены, что власть президента-диссидента — недолгая!

Я полагаю, что кагебешный черный список временно подправят по случаю годичного собрания Международной Хельсинкской Федерации. Собрание было намечено провести в Москве в конце мая 1990, как раз перед Копенгагенской конференцией по правам человека («по человеческому измерению») — частично с целью проверить, готова ли Москва реально соблюдать условия свободного доступа, необходимые для проведения знаменитой Московской конференции по правам человека 1991 года. Министерство иностранных дел было уверено, что затруднений не возникнет, и заверило Федерацию, что все ее члены, а почетный председатель тем более, визы получат. Мой план был полететь вначале в Уппсалу, Швеция, где

Университет давал мне почетную степень за работу в физике и по защите прав человека, оттуда — в Москву на наше собрание, а оттуда — в Копенгаген на международную конференцию.

За несколько недель до вылета в Уппсалу мое агентство путешествий, нанятое также и Американской Хельсинкской группой, известило меня, что советские власти снова отказывают в визе. Я позвонил с просьбой о помощи в офис Розалин Картер, которая тоже собиралась участвовать в нашем собрании в Москве, а также к Кэрри Кеннеди, с которой мы вместе проводили кампанию по освобождению Фан Лижи, — не может ли сенатор Кеннеди вмешаться в это дело. Через неделю из агентства путешествий снова позвонили и сказали, что виза, да, у них на руках и что они вот сейчас высылают ее мне экспресс-почтой вместе с билетами на Скандинавию. Дни, однако, шли, и ничего не приходило, а время уходило. Я позвонил. «Мы пошлем вам завтра», — пообещало странное агентство. Моя жена позвонила завтра. «Мы послали». Ничего, однако, не пришло. А чтобы успевать, нужно было получить визу и билеты немедленно. Жена позвонила снова и услышала в ответ, что, к сожалению, произошла ошибка, ничего еще не было послано.

— Что в точности вы собираетесь посылать? — спросила она по внезапному озарению.

— Билеты вашему мужу и визу вам.

Визу ей? Но она отменила свою поездку много дней назад! Где виза Орлову?

— Консульство такой визы нам не выдало.

— Но вы же сказали моему мужу, что виза у вас на руках!

— Вы же знаете его английский. Он, видимо, не понял.

Они пообещали послать мои билеты и ее визу «сегодня же», но когда сотрудница вашингтонского отделения Хельсинкской группы подошла к ним проверить, оказалось, что ничего не было послано, поэтому, как я ее просил, она послала сама. В это же время в Нью-Йорке датское консульство также отказало мне в визе на Копенгаген на том основании, что у меня не было визы в Москву! Моей жене все это показалось странным, и она решила-таки сопровождать меня в поездке в Москву, если таковая состоится.

Пока я гулял по садам Линнея в Уппсале, встречался с коллегами да давал семинары по вытряхиванию ионов из пучка антипротонов и по правам человека, дурацкий фарс продолжался на обоих континентах. Хельсинкская группа в Нью-Йорке держала нас в курсе. МИД СССР настойчиво повторял нашей шокированной Федерации, что виза мне уже пожалована, но что они проверят. Основные сотрудники агентства путешествий,

через которое виза должна была проходить, оказались, однако, в этот момент не в Вашингтоне, а в Москве. Оставшийся вместо них молодой американец разъяснил сотруднице Американской Хельсинкской группы, что «Орлов сам во всем виноват, так как приносит советскому правительству слишком много неприятностей». МИД настаивал, что виза в Москву на четыре дня ожидает меня в Вашингтоне и в Стокгольме, тогда как советский посол в Швеции категорически это отрицал. Когда же ему позвонили из Уппсалы, было отвечено, что он сам выехал из страны, а другие ничего не знают.

В консульстве в Вашингтоне советская виза все-таки появилась, и в целях сохранности мы попросили сотрудников Хельсинкской группы переслать нам ее. Она появилась в большой университетской аудитории в момент ритуального залпа из старинных пушек, когда мне на голову надевали лавровый венок с настоящими душистыми листьями. Сразу после церемонии мы с женою помчались в гостиницу, я срочно сдал арендованный для торжественного ужина фрак, купил билеты и мы подоспели в Стокгольм точно к рейсу на Москву. В самолете я приготовил речь, запланированную расписанием на следующее утро. Никто, включая меня, не ожидал, что ее-таки удастся произнести.

«Шереметьево» было пустынным в два часа ночи. Молодой солдат-пограничник глядел сонно из своей стеклянной будки. Полистал мой белый, для лица без гражданства, паспорт и отомкнул барьер. Как мало формальности! Барьер автоматически захлопнулся позади. Солдат поглядел затем на мою жену, на ее американский паспорт, на дисплей и поднял телефонную трубку. В будку втиснулся еще пограничник, потом еще и еще — набилось, как сардин в банке. Озабоченно посовещавшись, поглядели на меня, позвонили куда-то, опять поглядели, опять посовещались. Через десять минут на моей советской стороне появился офицер, спросил снова паспорт и вежливо пригласил пройти побеседовать.

— Я не пойду. Зачем? Мы, между прочим, можем улететь обратно в Скандинавию, в Копенгаген на международную конференцию по правам человека.

Офицер ушел, затем появился снова с двумя солдатами:

— Пожалуйста, пройдемте с нами.

В этот момент жена на той стороне барьера собрала свой запас русских слов и бросила их ему в глаза. Офицер исчез, барьер открылся, и меня выпустили обратно на ту сторону. Нас попросили посидеть подождать. С десяток солдат слонялось вокруг, приглядывая за нами. Через сорок минут нам вернули паспорта, как будто ничего и не было, и мы счастливо добрались

до города.

К счастью, Брыксины были дома. Мы подъехали к ним на Новослободскую в пять утра. Все, кроме детей были уже одеты, на столе стояла закуска. Поспав три часа, мы направились в Дом туриста на Юго-Западе — комбинацию гостиницы, залов для собраний, ресторанов и мясной лавки, в которой продавались петушиные гребешки и лапки. Перед лестницей, ведущей в зал заседаний, молодые сотрудники «Мемориала» и Хельсинкской группы регистрировали участников и раздавали наушники. Это выглядело не хуже, чем на какой-нибудь физической конференции на Западе. Огромный зал был битком набит правозащитниками со всего Советского Союза, участниками Хельсинкского движения США, Западной Европы, Восточной Европы и СССР, политическими деятелями, журналистами; я увидел Розалин Картер и даже идентифицировал прибывших с ней охранников, а также чиновников Министерства иностранных дел «по контактам с общественностью». Карл Шварценберг, председатель Международной Хельсинкской Федерации по правам человека открыл собрание и затем предоставил слово мне.

Я начал с вопроса, почему новая русская революция, четвертая в XX столетии, проходит мирно в Российской Федерации и, скорее всего, будет мирно и продолжаться. Одна из причин, сказал я, состоит в том, что изменения, происходящие на наших глазах, являются результатом длительной активности диссидентов-демократов, которые были строго против насилия в принципе. В этом смысле ОНИ БЫЛИ АНТИРЕВОЛЮЦИОННЫМИ РЕВОЛЮЦИОНЕРАМИ.

Много лет назад мы обсуждали с Андреем Дмитриевичем Сахаровым наш подход к будущим политическим движениям и партиям в России и пришли к заключению, что правозащитное движение с его высокой этикой и преданностью ненасильственным методам должно предшествовать политической борьбе за власть, с тем чтобы дать будущим политикам и моральный пример, и пример уважения к международным нормам в области прав человека. В противном случае произойдет еще один поворот кровавого колеса российской истории.

В течение последней четверти века российская интеллигенция и часть рабочих имели возможность обсуждать и переобсуждать в частном порядке тот мощный поток самиздата и правозащитной информации, который был создан диссидентами-демократами. Они познакомились с их идеями о правах человека и демократии задолго до того, как была введена официальная

гласность и начата официальная перестройка. Это объясняет тот замечательный факт, что почти сразу же, как только была предоставлена некоторая свобода сверху, в России появилось огромное количество мирных политических движений и мирных политических партий. Это объясняет также теперешнюю моду, когда почти каждый «фронт» или партия желает продемонстрировать свое уважение к принципам прав человека. В этом наблюдается некоторая манерность, это лежит у многих людей лишь на поверхности сознания, но это неплохое начало, и от нас зависит продолжение. Все это было подготовлено в России в процессе четвертьвекового скрытого подводного развития.

Я кончил замечанием, что многие бывшие правозащитники стали теперь политиками и влиятельными членами парламентов. Это совсем неплохая трансформация и было бы замечательно, если бы в будущем все потенциальные политики проходили вначале практику в правозащитных движениях. Но это не значит, что все правозащитники должны становиться политиками. При тоталитарном режиме правозащитную деятельность на самом деле трудно отделить от политической, но в идеале должны существовать группы и отдельные люди, посвятившие себя исключительно правам человека, отдельно от всякой политики. Это люди с особыми «правозащитными» душевными талантами, готовые стать на защиту любых людей, преследуемых за убеждения или за ненасильственную борьбу за свои права — индивидуальные или коллективные, религиозные или политические, социальные или экономические. И неважно, находятся ли эти люди политически справа или слева, сверху или снизу, антикоммунисты или коммунисты. Наша задача до скончания света бороться за цивилизованные формы общения между людьми.

Наше годичное собрание было первой разрешенной при советской власти внеправительственной международной конференцией по правам человека.

— Вы гордитесь этим? Что вы вообще чувствуете? — спросила меня одна журналистка.

— Это ваше дело чувствовать, не мое, — ответил я понапрасну резко.

— У меня просто нет времени чувствовать что-либо дольше одной секунды. Мое дело слушать и работать.

То, что я слушал в течение двухдневных, с раннего утра до позднего вечера, докладов о ситуации справами человека в СССР, было ужасно. Из докладов, особенно пришедших из далеких областей и республик, рисовалась детальная картина невообразимых страданий миллионов: сверхвысокая смертность

детей, заражение детей СПИДом, незащищенность материнства, незащищенность детства, мертвые реки, мертвые озера, мертвые моря — моря без воды, территории, пораженные радиацией, люди, отравляемые промышленными газами, молодые солдаты, избиваемые, насилуемые и оскорбляемые в армии, старые инвалиды, оставшиеся без медицинской помощи. И так далее, и так далее, и так далее.

Западные правозащитники были потрясены услышанным. Я потрясен не был, все это было более или менее известно, однако свобода и злость речей действительно изумили меня. В прошлом году, оценивая свободу речей в Лужниках, я забыл, что нужно учитывать не только то, что люди говорили, но даже более важно, то, чего они не говорили. Несмотря на все возбуждение, вызванное гласностью, прививаемая с детства привычка к самоцензуре еще не совсем выветрилась в 1989. Теперь, в 1990, никаких запретных границ для дискуссий не существовало, а настроение было тяжко обвинительным. Может быть, думал я с надеждой, выслушивая обвинения, обрушиваемые на КПСС, на Маркса, на Ленина, на коммунизм, на социализм за геноцид, за геноцид, за геноцид, может быть, так как все в России боятся теперь гражданской войны, то на территории собственно России, Российской Федерации, гражданская война и не вспыхнет. Создавалось впечатление, что люди наконец поняли, что же было сделано с ними, с их жизнями, с их страной в ходе семидесяти революционных лет — и они начали люто ненавидеть. Дыхание этой ненависти, иногда горячей, иногда холодном, всегда напряженной, чувствовалось почти в каждом докладе. В наши гораздо более тяжелые годы, думал я, мы, диссиденты, чувствовали меньше ненависти, возможно, потому, что у нас было время упорядочить свои эмоции. Будет ли время у этих людей? Я писал много лет назад — в статье «Возможен ли социализм нетоталитарного типа?» — что если реформы начинаются слишком поздно, то они уже не уменьшают, а, наоборот, развязывают силы ненависти…

Однако все докладчики, за исключением одного отставного полковника и нескольких националистов с Кавказа, были принципиально против насилия. Вообще, разговоры с людьми на московских улицах и обсуждения ситуации со старыми друзьями — Сергеем Ковалевым, отцом Глебом, Львом Пономаревым, которые все теперь были депутатами Российского парламента — успокоили меня. Настроение большинства людей и их надежды на будущее снова повернулись в сторону оптимизма после того, как Борис Ельцин стал председателем Верховного Совета Российской Федерации, или, как люди предпочитали говорить,

президентом. Рабочие его поддерживали. Большинство простых людей вообще ожили на глазах после его избрания. Он имел, таким образом, некоторую фору, время, для того чтобы проводить реформы, пока люди ему доверяли и на него надеялись. После смерти Сахарова они практически никому уже, кроме Ельцина, не доверяли. «Горбачеву теперь никто не верит, — говорили мне. — Начал-то он хорошо, да не для народа, а для их там собственных целей. Потому и остановился на полдороге. А Ельцин другой человек. Он пойдет быстро. Ему мы верим».

Мне было ясно, что судьба России и всех других республик Советского Союза зависит от успеха российских демократов, и в особенности от Ельцина. Они должны действовать решительно и быстро. Ельцин высказывал эту же мысль дважды во время нашего часового разговора с ним 4 июня 1990. На встрече в его кабинете в Белом доме присутствовали, кроме меня, Розалин Картер, Джерри Лэйбер, Катя Фицпатрик, Джонатан Фантон и моя жена.

— Я знаю народ и знаю настроения людей, — говорил он в своем интенсивном самоуверенном стиле. — Или мы улучшим их жизнь за ближайшие два года или здесь будет Румыния!

Ельцин имел в виду судьбу Чаушеску.

Ну, если это придет сюда, — думал я, — если придет, это будет похуже, чем в Румынии. «Когда мы будем вешать всех коммунистов — всех! Понял? — мы первым повесим тебя, коммунистическая сволочь!» Это кричал мой солагерник, заключенный в соседней камере ШИЗО, дежурному офицеру. Фашист? Уголовник? Нет. Марксист, арестованный в 1982 году в Куйбышеве за попытку организации независимой марксистско-ленинской партии! Колокола начали бить в этой стране со всех сторон не сегодня, а годы и годы назад. Сегодня критически важный вопрос, думал я, что придет быстрее: не знающая пощады ненависть к коммунизму или полный демонтаж системы? Горбачев абсолютно не способен принять эту альтернативу. В этом и состоит главная разница между ним и российским президентом Ельциным. Ельцин — человек здравого смысла — разобрался в новой реальности: распад советской империи и крах социалистической экономической системы и государственной идеологии. Горбачев же остался пленником идеологии.

Русские всегда были глубоко идеологическим народом: жизнь для них не жизнь, если у нее нет специального предназначения. И в течение почти целого века коммунистическая идеология давала великий смысл жизни миллионам людей. Как ужасно открытие, что этот великий смысл сводился к великому дерьму, крови и грязи! Диссиденты обнаружили это давно, а теперь, после откровений гласности, к этому пришла фактически и вся нация.

Но еще остались люди типа Горбачева, не умеющие мириться с полным банкротством старой веры и неспособные по-настоящему понять смысл демократической альтернативы. В отчаянном замешательстве они взывают к миражам единого Советского Союза и центральной власти как панацеи от анархии и даже — к мессианской роли СССР!

27 июля 1990 года Горбачев при очевидной неудаче своей перестройки и почти полном отсутствии в ней содержания заявил на своей единственной встрече с советскими журналистами-радикалами: «Не будем скромничать. Наша перестройка должна переменить мир, если мы продержимся сначала эти полтора-два месяца, а потом еще некоторое время» (по отчету «Русской мысли», 10 августа 1990, № 3840).

Все это очень хорошо объясняет глубокую неопределенность Горбачева во внутренней политике и его странную неспособность увидеть очевидное противоречие в попытках сохранить и страну, и носителя идеологии — партию. Он отступал от этой позиции лишь под давлением обстоятельств и народа, неуклюже переопределяя понятие социализма на каждом шаге отступления. Этот «лидер» движется в арьергарде. Когда его Центральный комитет решился формально аннулировать однопартийную систему, продолжая настаивать на лидирующей идеологической роли коммунистической партии, весь народ уже ненавидел эту партию. Когда Горбачев признал, что необходима свободно-рыночная экономика, не указывая каких-либо сроков и одновременно упорно заявляя о социалистическом выборе, народ уже начало тошнить от самого слова «социализм». Когда он согласился с формированием конфедерации республик при сохранении почти всей власти в руках Москвы, уже несколько из них отклонили идею Союза в какой бы то ни было форме как эквивалентную имперской. Я вполне серьезно ожидал от него заявления «Капитализм, товарищи, это и есть настоящий ленинизм!» — в тот именно момент, когда последняя статуя Ленина летела бы на свалку или продавалась городу Бостону.

Лавируя между старыми мечтами и новыми реальностями, Горбачев всегда радикально опаздывал с принятием рекомендаций диссидентов и новых демократов. Однако он не медлил с концентрацией в своих руках такой огромной — формальной, правда — власти, какой никто после Сталина в СССР не обладал. И, конечно, никак не использовал ту власть против КГБ — органа тотального контроля, этой раковой опухоли советского общества. Правда, и после нескольких лет перестройки никто не знает, как удалить эту опухоль, не употребляя скальпеля. Но ни для кого в России не остался не замеченным

деликатный характер отношений между Горбачевым и КГБ. (Западные же советологи проигнорировали этот нюанс, долгое время занимаясь вычислениями, сколько дней, недель или месяцев будет еще КГБ терпеть этого немыслимого демократа Горбачева.

Нет сомнения, самые высшие чины КГБ и армии, эти любители «закона и порядка», всегда знали, как захватить власть в любой момент. Их проблема не в этом. В ситуации, когда весь набор коммунистических идей дискредитирован, позади моральные руины, а впереди не видать народной поддержки, неясно, что делать с властью после ее захвата. Поэтому, несмотря на все их войска, танки, ракеты, пушки, лагеря тюрьмы и охранников, они, к счастью, впали в состояние некоего полупаралича, взирая, пока бессильно, на полупаралич центральной власти.

Если в самой России не будет массового вооруженного бунта, думал я, то вероятность переворота КГБ и военных — с Горбачевым или без него — представляется все же небольшой.

Озабоченный этим самым бунтом, Ельцин наметил свой план политических преобразований в Российской Федерации. Он обрисовал его нам в общих чертах на встрече в Белом доме.

Вся власть, какую они захотят, перейдет к местным советам. Вышестоящие советы и сам российский президент получат только ту власть, которую им делегируют нижестоящие выборные органы. Мне показалась эта идея вполне разумной. Предложенная Ельциным иерархия снизу вверх могла бы направить в конструктивное русло быстро развивающиеся в России национальные амбиции. Кроме того, она помогла бы восстановить инфраструктуру, фокусируя внимание людей на их конкретных местных интересах и стимулируя локальную инициативу в сфере экономики, культуры и окружающей среды. Иерархическая структура сверху вниз — центрального планирования — отключила автоматически миллионы людей от принятия собственных личных решений и от личной ответственности. Результат — чудовищная деградация той инфраструктуры, которая определяет каждодневную жизнь людей.

Что касается движений за независимость в советских республиках, то Ельцин сделал поразившее и обрадовавшее меня заявление, что он будет сопротивляться всяким попыткам использовать солдат Российской Федерации для подавления этих движений.

Об экономике же он сказал нам немного, только то, что у него есть «бригада» специалистов, разрабатывающая экономическую программу и что имеется в виду постепенно

продавать людям фабрики и земли.

Знаменитый план «500 дней» для перехода к реальной рыночной экономике был объявлен несколькими месяцами позже. В ноябре 1990, после получения Нобелевской премии мира, Горбачев блокировал этот план и весь график перехода к рынку отодвинул на неопределенное время. Его постоянные откладывания фундаментальных экономических и социальных реформ уже привели страну к потере апокалиптически важного времени. После пяти лет его «перестройки» СССР только придвинулся к катастрофе. Отложить реформу еще раз, когда старая экономическая структура стремительно разваливалась, рвалась по всем связкам, по всей стране — поистине, этот человек не понимал, что происходило вокруг!

В декабре 1990, в следующем месяце, запах ползучего сталинистского переворота, во главе которого решил стать сам Горбачев, нельзя уже было спутать ни с чем. Казалось, он осознал нелогичность попыток спасти страну с помощью «буржуазных» свобод и в то же время держать ее под принципиальным коммунистическим контролем. (Бруно Понтекорво, не говоря уже о товарище Сталине, понимали это много лет назад.) Гласность, с помощью которой Горбачев хотел подпереть грозящую обвалом систему, лишь подтолкнула людей на полный разрыв с ней, чтобы начать строить нечто новое по собственному разумению. Как из-под земли выросли десятки независимых политиков, сотни независимых политических, социальных и прочих групп. Республики, автономные республики, автономные — и совсем не автономные — области начали объявлять свои суверенитеты. Российский парламент начал предоставлять новым и новым районам статус свободных экономических зон (что я предлагал еще в письме Брежневу в 1972 году). Этот же парламент начал, правда, робкое, движение к приватизации земли. Рабочие начали формировать независимые от коммунистов профсоюзы. Правительства республик и городов начали завязывать связи через голову Кремля, как если бы они уже давно жили в настоящем свободном мире: Ленинград заключил двустороннее соглашение с Эстонией, ельцинская Россия — со всеми Балтийскими республиками. Это могло бы стать эмбрионом конфедерации независимых республик, СОЮЗОМ ПРОТИВ СОЮЗА.

Размах и неумолимость этого несущегося потока демократизации подвели Горбачева к критической точке. У него оставался теперь только выбор: порвать с КПСС и вместе с демократами вести страну вперед или дать отбой и вместе с партаппаратом и генералами повернуть страну назад. Горбачев

выбрал поворот назад.

Впервые он разъяснил народу без недомолвок, что он принципиальный противник частной собственности и принципиальный противник независимости республик — чему на практике-то, без разъяснений, он сопротивлялся и раньше. Затем он мытьем или катаньем отставил с союзных постов умеренных демократов и окружил себя оголтелыми реакционерами.

Получив карт-бланш, банда оголтелых начала кампанию гиперболической лжи и фантастических обвинений, вытащенных из пропагандистской клоаки полоумной сталинской эпохи.

Глава КГБ Крючков, «либеральный профессионал» еще за неделю до того, обвинил Запад в посылке советским людям отравленной пищи под видом гуманитарной помощи. Министр обороны Язов обвинил советские республики в намерении захватить находящееся на их территориях ядерное оружие и — одновременно — в преступном намерении объявить их территории безъядерными зонами.

Наконец 13 января 1991 года, следуя старому ленинскому сценарию, известному любому ребенку в Будапеште и Праге, горбачевская команда сделала решающий шаг в кровавое ничто. В Прибалтике объявились анонимные «комитеты спасения», которые, отказав в законности демократически выбранным властям республик, обвинили их в создании обстановки «анархии» и «террора» и попросили вмешательства Москвы. В час тридцать ночи 13 января, когда Запад был занят подготовкой военной акции против Саддама Хусейна, военный гарнизон Вильнюса начал атаку на республиканский телевизионный центр, давя танками его безоружных защитников и стреляя в безоружную толпу. Было убито 15 человек, более сотни ранено, включая детей. Западные, прибалтийские и советские журналисты видели все своими глазами. Но, конечно, министр внутренних дел Пуго заявил по телевидению, что безответственные элементы напали на советские танки, и танкисты вынуждены были защищаться. Позже известный телекомментатор объяснил, что убит никто не был, просто кто-то умер от сердечного приступа, кто-то в уличном происшествии. Наконец, когда независимые журналисты опубликовали свои свидетельства, Горбачев попытался отменить свободу прессы, гарантированную его же законами.

Потерял ли Нобелевский лауреат свой ум? Или реакционные политики переиграли демократа? Или политический оппортунист сам расшаркался перед крайними правыми? Или, может быть, убежденный ленинец сделал один из тех крутых поворотов, за которые он хвалил Ленина в своих речах для неиностранцев? Или

его гласность-перестройка были лишь подобием ленинского НЭПа — временной либерализацией, которая свою роль отыграла?..

Ответные акции российских демократов последовали незамедлительно.

Уже днем 13 января тысячи москвичей провели демонстрацию протеста против государственного террора. Борис Ельцин призвал служащих в Прибалтике солдат и офицеров не подчиняться преступным приказам атаковать «законно избранные государственные органы» и «мирных граждан, защищающих свои демократические завоевания». Через шесть дней уже сотни тысяч граждан демонстрировали в Москве и других городах России. (Тогда как двадцать лет тому назад только восемь человек вышли на Красную площадь протестовать против советской оккупации Чехословакии!) Такая массовость протеста удивила даже меня: стало быть, уже много людей вдруг осознали наличие связи между нормальной демократической жизнью других народов и их собственной жизнью и собственной безопасностью.

Эпилог

Попробуем по крайней мере извлечь урок из прошедшего. Величайший и наиболее трагический из человеческих экспериментов почти доведен до конца. Общество «научного социализма», задуманное служить вечным человеческим стремлениям к общности и к равенству интересов, пришло к деградации своих граждан и оставило большинство из них без всяких стремлений вообще. Но ведь дух коллективизма живет в каждом из нас вместе с духом индивидуализма. И какие-нибудь народы в каком-нибудь другом столетии могут попытаться строить общество на противоположной идее одних лишь индивидуальных интересов и, может быть, будут готовы уничтожить всех, кто будет желать другого. А затем после такого «научного капитализма» или, может, кто знает, «научного анархизма» — маятник качнется в обратную сторону. Мы не в силах остановить колебания человеческого маятника, не искоренив самой природы человека. Но мы можем стараться делать эти колебания умеренными, постоянно напоминая себе и людям, что все имеют одинаковое право на выражение своих мнений, неважно каких, и одинаковое право жить своей собственной жизнью, неважно какой, — но не применяя насилия.

МЕТОДЫ ВАЖНЕЕ ЦЕЛЕЙ В ЦИВИЛИЗОВАННОЙ БОРЬБЕ ЗА ИДЕИ.

Наши мечты могут быть самыми прекрасными на свете, но если мы пойдем на кровь и террор, чтобы претворить их в жизнь, мы придем к нашей цели, разрушив самих себя.

Не убий!

1991

notes

Примечания

1

Бейкер ответил мне сразу очень дружественной запиской, из которой можно было, однако, понять, что переориентировать политику с Горбачева на Ельцина госдепартамент не планирует. Такова же была тогда и реакция в Белом доме.

2

После войны М. Осипов окончил институт и работал начальником цеха, затем начальником КБ этого же завода. Умер в 1989.

3

Я, к сожалению, забыл имя этого человека.

4

Мы не имели представления о том, что Капица был, в сущности, заключенный «большой зоны». Работая в Англии в Кавендишской лаборатории, он несколько раз отказывался от приглашений посетить родину, но, наконец, согласился. Попав в СССР, он уже не получил разрешения поехать на Запад. Нильс Бор и Эрнст Резерфорл, директор Кавендиша, тщетно пытались вызволить его. В конце концов Резерфорд передал в Москву лабораторию Капицы. Ничем другим он помочь ему уже не мог.

5

ИТЭФ формально (хотя и секретно) был военным подразделением. Поэтому партийная субординация у нас была как в армии: мы подчинялись не ближайшему райкому, а политическому управлению. Его начальник, Мезенцев, назначал политотдел института, а выборное партбюро существовало параллельно.

Так как братья были оба физиками, А. Л. Алиханов немного изменил свою фамилию, чтобы можно было различить их в публикациях.

7

Сегодня мы знаем, что вместе с Таней Баевой их было восемь.

8

Еще позже один рабочий из Новочеркасска сообщил мне дополнительные детали.

9

Теперь мы знаем, что их командир, генерал-лейтенант Матвей Кузьмич Шапошников приказал не стрелять. Он был уволен из армии.

10

Я встретил Костю в Москве после путча в 1991, он снимал документальный фильм о взрыве в метро в 1977 году. Это был поздоровевший и даже помолодевший Костя, жизнь снова приобрела для него смысл.

11

Письмо впервые опубликовано официальной прессой в СССР в сентябре 1989 (Огонек, № 35).

12

В ту же осень и зиму были сформированы исключительно эффективные правозащитные группы в Восточной Европе: Комитет защиты рабочих (КОР) в Польше (сентябрь 1976) и «Хартия 77» в Чехословакии (январь 1977).

13

Хотя после создания Хельсинкской группы чекисты полностью блокировали мой телефон и почту, они свободно пропустили приглашение из Норвегии выступить перед норвежским парламентом. Ясно, они надеялись, что я соглашусь и не вернусь, или они не дадут мне вернуться. Поэтому мне пришлось отклонить приглашение.

14

Пока я был в «Лефортове», Люда Алексеева эмигрировала в США. По пути ее пригласил в Лондон Дэвид Стил, лидер британской либеральной партии, и познакомил с Макдональдом. Люда связалась с Ириной. Ирина формально предложила Макдональду быть моим защитником, и он, отложив многие другие дела, начал безостановочную работу над моим делом — все, что должен делать советский защитник, и намного больше. Параллельно суду в Москве он проводил допросы в Лондоне, заслушивая свидетельские показания советских граждан, выехавших в Европу и Америку. Это делалось по каждому инкриминируемому мне в качестве «клеветы» документу Хельсинкской группы. После суда он послал в Москву формальное обжалование приговора (чего не сделал мой советский адвокат). Власти не ответили. Джон Макдональд продолжал борьбу вплоть до моего освобождения.

15

Такие речи против демократического социализма не помешали Емельянову при Горбачеве стать главным прокурором Москвы.

16

Только в 1989 году я узнал, что, когда Диму вытаскивали из суда, Сахаров пытался пробиться в суд. «Высокий, начинающий лысеть мистер Сахаров крикнул: «Пропустите меня! По закону всем гражданам разрешено присутствовать на чтении приговора». Полиция (милиция) пыталась навести порядок, но, как утверждают свидетели, возникла потасовка. Миссис Сахарова дала пощечину одному милиционеру, а ее муж ударил другого, пытавшегося задержать его. Милиционеры схватили мистера Сахарова за руки, втолкнули его и его жену в машину и увезли. «Нобелевскую премию Орлову!» — выкрикнул мистер Сахаров из автобуса. Их освободили через пять часов» (Интернейшнл геральд трибьюн, 19 мая 1978).

17

Виктор Тарасенко, видимо, его настоящее имя. «Человек и закон» (1989, № 3) писал, что, освободившись после 14 лет заключения, Монгол стал отмывать свои деньги в кооперативах.

18

Таня Векслер, мать Кати, была убита зимой 1990–1991.

19

Уолд приехал в Москву, чтобы передать Горбачеву обращение, подписанное более чем пятьюдесятью Нобелевскими лауреатами.

20

Крепостные в России были освобождены чуть раньше, чем рабы в США. В течение последующих шестидесяти лет Россия находилась под огромным прессом радикально-демократического общественного мнения, бедой которого было, правда, почтение перед левыми террористами. Что касается демократических институтов, то суд присяжных существовал с 1861 до октября 1917, парламент, отсутствие цензуры, свобода партий и профсоюзов — с 1905 до октября 1917, антимонархическое правление и даже выборы командиров в армии — с февраля по октябрь 1917.

21

Тяжелая вода содержит так называемый тяжелый водород (дейтерий), который в два раза тяжелее водорода обычного.

22

19 июня 1989 года, вскоре после того, как моя 70 статья была исключена из Уголовного кодекса, Верховный суд отклонил просьбу трудового коллектива ИТЭФ на том основании, что моя вина была доказана обстоятельствами дела и что я был осужден «в соответствии с действующим в то время законодательством». Через год, 29 августа 1990 года, Верховный суд РСФСР вынес противоположное постановление: «Приговор отменить и дело производством прекратить за отсутствием в его (Орлова) действиях состава преступления». В мае 1991 года мои друзья из ИТЭФ через адвоката Шальмана получили на руки копию этого постановления и передали мне, когда я приехал в Москву на 1-й Сахаровский конгресс.

23

Опубликовано в сентябре, в № 35.